

Алин Д. Е.

Мало слов, а горя реченька...: Невыдуманные рассказы.

- Томск: Водолей, 1997. - 224 с. :портр

ПРЕОДОЛЕТЬ ГУЛАГ. Тренин Б.П. ... (стр. 5)

АРЕСТ ... (стр. 11)

КАМЕРА №24 ... (стр. 18)

НАЧАЛО СЛЕДСТВИЯ ... (стр. 26)

В КАМЕННОМ МЕШКЕ ... (стр. 34)

"НАЖИВКА" ДЛЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ ... (стр. 39)

ЗИГЗАГИ СЛЕДСТВИЯ ... (стр. 45)

В КАМЕРЕ СМЕРТНИКОВ ... (стр. 51)

К НОВОМУ МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ... (стр. 57)

КАМЕРА №7 И ЕЕ ОБИТАТЕЛИ ... (стр. 65)

ПРЕКРАСНАЯ НЕЗНАКОМКА ... (стр. 76)

"УЛИКИ" СЛЕДОВАТЕЛЯ ОДИНОКОГО ... (стр. 80)

НЕОЖИДАННЫЙ ДОПРОС ... (стр. 87)

В КАПКАНЕ ... (стр. 94)

"ВЕСЕЛЫЕ" СОСЕДИ ... (стр. 107)

СУД ТРЕТИЙ И НЕ ПОСЛЕДНИЙ ... (стр. 111)

ЭТАП ... (стр. 117)

НОВОСИБИРСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ, ОНА ЖЕ ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕСЫЛЬНАЯ ... (стр. 121)

КАРЦЕР ... (стр. 127)

КОНЦЛАГЕРЬ ... (стр. 127)

ПОБЕГ ... (стр. 147)

ЖЕНЩИНЫ В ЛАГЕРЯХ ... (стр. 157)

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМБИНАТ ... (стр. 161)

"ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ" ... (стр. 171)

СОН В РУКУ ... (стр. 178)

КОЛЫМСКИЕ БУДНИ ... (стр. 181)

МАЛЬДЯК - ДОЛИНАСМЕРТИ ... (стр. 185)

БУЛЬДОЗЕР ... (стр. 192)

ВОЗВРАЩЕНИЕ ... (стр. 195)

ПЕРЕПИСКА Д.Е.АЛИНА И П.М.ПЛАСТИНИНОЙ. 1989 г

ПИСЬМО П.М. ПЛАСТИНИНОЙ ... (стр. 207)

ПИСЬМО ПЕРВОЕ ... (стр. 209)

ПИСЬМО ВТОРОЕ ... (стр. 211)

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ ... (стр. 213)

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ ... (стр. 215)

ПИСЬМО ПЯТОЕ ... (стр. 217)

ПИСЬМО ШЕСТОЕ ... (стр. 219)

Преодолеть ГУЛаг

... А может быть, людей разбудит

Тоска безвременных могил.

Уважаемый читатель! Перед тобой книга автобиографических рассказов-воспоминаний коренного сибиряка-томича, потомственного русского крестьянина Даниила Егоровича Алина. Подобно миллионам наших современников, он — из репрессированных. Лучшие годы его юности и молодости прошли в советских концлагерях. Тяжкие испытания выпали на долю нашего земляка. Настоящая книга — невыдуманная повесть о том, что он видел, пережил, что запомнилось.

Лагерный путь Даниила Егоровича начался осенью 1939 года, когда шестнадцатилетним школьником он был арестован, как тогда говорили, «по линии НКВД». Внезапный арест, тюрьма, с её бытом и нравами, насильственная разлука с родителями, всеми родными и близкими людьми, крушение надежд и планов прежней жизни — первые потрясения, пережитые деревенским подростком, безжалостно брошенным в адские жернова машины государственного террора. Затем были: долгое (полтора года) следствие, абсурдное обвинение в создании антисоветской повстанческой организации, избиения, пытки, реальная перспектива расстрельного приговора. Знаком Даниил Егорович и с камерой смертников в новосибирской тюрьме. Наконец — суд, приговор и рабский труд на встройках коммунизма». Его архипелаг ГУЛаг — Новосибирск, Колыма. Чудом оставшись в живых, домой Даниил Егорович вернулся через восемнадцать лет, в 1957 году. Ниже попытаюсь высказать несколько суждений по поводу той действительности, которая отразилась в его воспоминаниях.

Картины пережитого в лагерях и тюрьмах - материал и содержание книги — тема мрачная и трагическая. Многие сегодня, ссылаясь на это обстоятельство, громко призывают «закрыть» живую лагерную тему, стереть саму память о «страшных страницах прошлого», которая, якобы, мешает людям жить, лишает их надежды и оптимизма. Считаю, что этого делать никак нельзя. Потому что нет в мире ничего

- 6 -

более ценного, чем правда, какой бы, на первый взгляд, суровой и беспросветной она ни казалась.

А правда такова: Магнитка, Кузбасс, Турксиб, Беломорканал, Волгодон, Воркута, БАМ, Колыма, Норильск, Игарка, Комсомольск-на-Амуре, Северодвинск, тысячи других заводов и городов построены заключенными, на костях заключенных. Не было в те годы — «великих пятилеток» и прочих «достижений» — ни одной сколько-нибудь крупной стройки без использования подневольного труда арестантов, находившихся в условиях скотского существования, безмерной эксплуатации, приводивших их к духовному и физическому вырождению и гибели.

Автор «Колымских рассказов», замечательный русский писатель Варлам Шаламов писал: «Человек не должен знать, не должен даже слышать о лагере. Лагерь — отрицательный опыт, отрицательная школа, растление для всех — для начальников и заключенных, конвоиров и зрителей, прохожих и читателей беллетристики». Перед нами — приговор писателя лагерю как

социальному институту. Большую цену — жизнью и кровью — заплатил он за такое прозрение, отбыв восемнадцать лет лагерного срока.

Не забыть лагерную тему призывал Варлам Шаламов в приведенном отрывке из его письма Борису Пастернаку. Старый лагерник гневно протестовал против благоглупостей, распространяемых армией верноподданных режиму писателей - апологетов ГУЛага, взалхлеб живописавших лживые картины производственных успехов и трудового энтузиазма заключенных в советских лагерях. Усилиями многих, в том числе небесталанных людей, включая А. М. Горького, создавался миф о ГУЛаге как лаборатории по заботливому, гуманному и успешному воспитанию «нового человека» — строителя «светлого будущего».

И в самом деле: система «свободного труда» в лагере оказывала мощное воздействие на его обитателей. Но вопрос: какое это было воздействие, утверждению и проявлению каких свойств человеческой натуры оно способствовало. Не сладкоголосые певцы официальной мифологии, а живые участники и подопытные чудовищного эксперимента над людьми свидетельствуют: это была сатанинская система растления ума, души и сердца людей, заставлявшая человека забыть о том, что он — человек. Слово Варламу Шаламову: «... Огромному большинству, выясняется день ото дня все четче, можно, оказывается, жить без мяса, без сахара, без одежды, без совести, без любви, без долга. Все обнажается, и это последнее обнажение страшно. Расшатанный, уже дементивный (слабоумный. — Б. Т.) ум хватается за то, чтобы «спасать жизнь», за предложенную ему гениальную систему поощрений и взысканий. Она создана эмпирически, эта система, ибо нельзя думать, чтобы мог быть гений,

- 7 -

создавший ее в одиночку и сразу. Паек ... в зависимости от процента выработки... Пугающие штрафы и максимум поощрений - зачеты рабочих дней».

Согласимся с Варламом Шаламовым, завершившим свою исповедь словами: «Нет на свете ничего более низкого, чем намерение «забыть» эти преступления». Преступная система, используя естественное стремление человека выжить в адских условиях непосильного труда и голода, заставляла его отбросить такие «химеры», как совесть, мораль, любовь. Многие делали такой выбор. Волчий закон — «я хочу жить, поэтому ты должен умереть» — определял отношения между людьми. Последнее обнажение скрытого в человеческой природе зла, действительно, страшно.

В настоящее время опубликовано довольно большое количество материалов, раскрывающих тайну советской лагерной системы. Под их воздействием кардинально меняются современные представления об историческом прошлом страны. Но время неумолимо и возникла угроза запечатования. Уходят из жизни последние современники ГУЛага, знающие его не из книжек, а как факт своей биографии. Огромный пласт материалов устной истории уже потерян безвозвратно. Если бы эта работа началась сразу после XX съезда! Может получиться так, что будущие историки, лишённые свидетельств живых людей, вынуждены будут писать историю двадцатого века, опираясь лишь на официальные архивные документы. В этой истории будет отсутствовать главное — масштаб национальной трагедии затянувшегося на десятилетия братоубийства, гражданской войны государства с народом, заведшей великую страну не в планируемое «светлое будущее», а в исторический тупик. Будет отсутствовать мера страданий и унижений десятков миллионов людей, принесенных в жертву во имя достижения социальной

справедливости. Тем самым мы обрекаем себя на неверное понимание истинных причин исторического краха советского коммунизма.

Между тем и сегодня существуют серьезные люди и силы, которые пытаются объявить лагерную тему исчерпанной, а создание системы «лагеризации всей страны» оправдывают, в частности, объективной необходимостью решения насущных проблем ее экономического развития, в том числе хозяйственного освоения новых территорий. В такой трактовке разгул массовых репрессий, гибель миллионов людей подаются как не более чем временные «эксцессы», «ошибки», случившиеся в результате случайных отклонений от незыблемых предначертаний гениальных планов. Научная и нравственная несостоятельность такого подхода заключается в безальтернативности мышления, абсолютизации государственного террора как единственно возможного средства достижения благих целей. В таком подходе отрицается глав-

- 8 -

ное: энтузиазм, титанические усилия нескольких поколений строителей нового общества в итоге оказались безрезультатными прежде всего потому, что, взяв на вооружение массовое насилие и произвол, они принесли в жертву своим богам не только самих себя, но и будущее страны.

Мрачная сила противодействия исторической правде предстоит сегодня по-прежнему мощной и непобедимой. Не желая смириться с ней, считаю, что смысл изучения реальности ГУЛага состоит в том, чтобы понять: то, что с нами произошло, - не просто беда, временное отклонение. За годы работы террористической машины уничтожено такое количество людей, социальных слоев, хозяйственных и бытовых укладов, обжитых пространств, выжжена такая социально-этническая дыра, что, вероятно, не могла не произойти генетическая мутация. От трагедии глобального, планетарного масштаба невозможно отмолчаться, отомлиться, отступить. Требуется громадная работа не только ума — совести людей, чтобы преодолеть ГУЛаг в настоящем и не допустить его повторения в будущем.

Преодолеть ГУЛаг — значит, раз и навсегда отказаться от использования его при решении народно-хозяйственных задач. Например, производственно-экономическая цель «Дальстроя» была сформулирована в 1931 году так: «Разработка недр с добычей и обработкой всех полезных ископаемых; б) колонизация района разработок и организация всевозможных предприятий и работ в интересах первой задачи». А так выглядела директива для КарЛага: «Организованный в 1931 г. Карагандинский совхоз-гигант ОГПУ получает почетное и ответственное задание — освоить громадный район Центрального Казахстана». И так: колонизация, освоение регионов только посредством гулаговской системы. Все остальные пути оценивались как недостаточно революционные, идеологически «чистые», экономически эффективные. Альтернативы отсутствовали. И — один шаг до оправдания ГУЛага экономической необходимостью и целесообразностью.

Рассуждения о хозяйственной выгоде ГУЛага не только безнравственны. В экономическом смысле они являются попыткой доказать недоказуемое, что рабский труд производительнее свободного труда, что существует возможность достижения экономического прогресса за счет нравственной и общественной деградации. Уверен, что наступит время, когда незашоренные исследователи с цифрами и фактами в руках покажут, что Колыма, Казахстан, Сибирь, другие регионы были освоены не благодаря ГУЛагу, а несмотря и вопреки ему, что их индустриализация и колонизация с использованием «спецконтингентов» обошлись стране во много раз дороже, чем

должны были обойтись. О социальных, моральных, экономических, экологических издержках и говорить нечего: они просто неисчислимы. Везде, где

- 9 -

ступала нога охранника и заключенного, возводимое и созданное не стоило и малой доли того, что было истреблено, сожжено, пущено на ветер. Неволя, труд из-под палки, безнравственность вносят зло в любую сферу - экономику, природу, человеческие отношения — всюду.

ГУЛag не только в прошлом, он многолик и многообразен, поэтому с таким трудом поддается расшифровке и преодолению. Он — результат и символ бесконечной мощи государственного насилия, насилия без закона и предела. Его суть — планомерное подавление и уничтожение индивидуальных форм человеческой жизни. Мертвящее могущество ГУЛага нельзя понимать примитивно — пришли, арестовали, отправили в лагерь. Оно — в неподдающейся простому перечислению совокупности форм физической и духовной казни, актов оскорбления и убийства личности, уничтожения частного мира человека.

Террористическое пространство ГУЛага «на воле» меняет свои обличья, по сути, оставаясь тем же. Необходимо поставить под сомнение иллюзию, что, не выходя из системы, можно найти в ней сферы, не захваченные насилием. Человек не может быть свободным, когда он раб. Существенный вопрос: не являемся ли мы и сегодня все теми же «опущенными» персонажами ГУЛага? Многие из окружающей нас действительности диктует положительный ответ. Мы это чувствуем, переживаем, страдаем, но не можем понять, как независимо от нас воспроизводится эта система. Не можем понять еще и потому, что головы забиты той схемой представлений, в какой это не может быть понято.

Тем важнее для ныне живущих жизненный опыт тех, кто в мертвящей мгле ГУЛага сумел выстоять, выжить, сохранив в себе человеческую душу. А потом нашли в себе силы рассказать миру настоящую правду о том, что видели и пережили. Их опыт бесценен. Потому что, если сегодня есть надежда пробиться к новому качеству общественной жизни, то без преодоления последствий инфицированности ГУЛагом этой надежде не сбыться.

Долгие годы вернувшиеся из лагерей мало говорили о прошлом не потому, что страшно было, или боялись испортить жизнь близким, хотя, и потому — тоже. Но главное — жить хотелось, сшивать по лоскутику то, что разорвала неволя. Общность бывших заключенных была и есть - не от общих нар, а от общего желания наверстывать, догонять, восстанавливать самих себя, свою жизнь. И поныне тянутся они друг к другу, как сами признаются, не нары вспоминать, а друг друга поддерживать. Для них преодоление ГУЛага не закончилось после выхода за ворота лагеря, даже если удалось» до этих ворот дойти.

Даниил Егорович Алин родился в 1923 году в д. Каштаково Зырянского района ныне Томской области. Коренной

- 10 -

сибиряк, потомственный крестьянин. Когда подросток, зимой учился в школе в с. Чердаты, а летом работал в родном колхозе. В сентябре 1939 г. был арестован. Обвинялся по пп. 2,10,11 ст. 58 УК РСФСР — подготовка вооруженного восстания с целью свержения существующего строя в СССР и реставрации монархии, антисоветская агитация и принадлежность к контрреволюционной организации. Чудом избежал расстрела. Долгие 17 лет провел в ГУЛаге: строил промышленные

объекты в г. Новосибирске, затем добывал золото на Колыме. Реабилитирован только в 1989 г. Освободившись, жил в Томской области, работал в лесной промышленности. Сейчас пенсионер; живет в г. Асино. Писать начал после реабилитации. Воспоминания «Мало слов, а горя реченька...» публикуются впервые.

Даниил Егорович среди тех, кто в краях, куда привозили умирать, сохранили жизнь. Пройдя все круги гулаговского ада, он словами скромных воспоминаний передает нам свое искусство жизни, искусство сохранения человека. Низко поклонимся ему за это.

Б. П. Тренин

АРЕСТ

Прозвенел звонок, возвещающий окончание пятого урока. Схватив портфель, я выбежал из школы и отправился домой, вернее, к тете Евгении (сестра моей матери), у которой квартировал.

В нашей деревне Каштаково средней школы не было, поэтому нам, каштаковским пацанам, приходилось жить и учиться в селе Чердаты, что стоит в пятнадцати километрах ниже по течению Чулыма.

По дороге меня догнала Надя Алина, моя землячка, и сказала, чтобы я вернулся и зашел к директору школы.

Ну что ж, надо, так надо.

Директор в кабинете был не один. Кроме него здесь было несколько незнакомых мне мужчин, одетых в серые плащи с блестящими медными пуговицами.

Я, конечно, вежливо поздоровался, и наш директор Василий Кондратьевич Тришкин сразу представил меня серым плащам.

— Вот наш ученик Алин Даниил Егорович. И тогда один из них начал задавать мне вопросы. И начал он с того, что и так уже узнал:

— Фамилия, имя, отчество?

Я ответил, дивясь про себя его плохой памяти.

— Год рождения?

— 1923 год.

— Где родились?

— Родился в деревне Каштаково Зырянского района Новосибирской области.

— Фамилия, имя отца и матери?

— Отец Алин Егор Матвеевич, мать Алина Варвара Ивановна.

— Сестры, братья есть?

— Есть четыре сестры, а братьев нет.

— Социальное происхождение?

— Из крестьянской семьи.

— Есть ли в вашей деревне еще человек по фамилии Алин Д. Е.?

— Нет.

— Чем занимаетесь?

— Зимой учусь, а летом работаю в колхозе.

— Где в данное время проживаете?

— Живу на квартире у тети.

— Пройдемте на квартиру к вашей тете.

При этом все четыре плаща поднялись, и мы отправились на мою квартиру.

По дороге меня одолевали тревожные мысли. Я понимал, что влип в какую-то нехорошую историю, хотя и не чувствовал за собой никакой вины. Может, кто-то что-то напро-

- 12 -

казил, а свалил на меня? Не зря же этот плащ интересовался: нет ли в деревне еще такого же Алина?

Конечно, я знал, что серые плащи увезли немало ни в чем не повинных людей, объявляя их врагами народа. Но все это были взрослые мужики, притом самые работящие. А таких пацанов, как я, пока еще не трогали. Или теперь будут хватать всех подряд?

Едва мы вошли в избу моей тети, как все тот же энкаведешник, который опрашивал меня в кабинете директора школы, и, видимо, старший в этой группе, скомандовал:

— Покажите ваши вещи!

А вещей у меня почти и не было, кроме небольшого ящичка, в котором находились мои учебные принадлежности, несколько художественных книг и журналов, да еще дневник, в котором я отмечал все главные «вехи» моей, еще совсем коротенькой, жизни. Когда я выставил на стол свой чемоданчик, мои сопровождающие живо порасхватили его содержимое. С большим тщанием просматривали они мои книги и журналы, но основное внимание уделили дневнику, в котором, однако, так и не смогли обнаружить чего-либо криминального.

Закончив, наконец, изучение моих вещей, старший сухо предложил:

— Ну, а теперь пройдемте с нами до сельсовета.

На подходе к сельсовету я увидел грузовую автомашину, стоявшую на улице. Меня подвели к ней и старший скомандовал:

— Залезай в кузов и там ложись!

Когда я взобрался на борт и глянул в кузов, то сразу просто обомлел — там, вниз лицом, лежал мой отец! А с ним рядом еще двое наших односельчан — Алин Федор Ильич и Алин Савелий Степанович. Я молча лег рядом с ними четвертым.

И машина тут же тронулась. Ее ужасно трясло и бросало из стороны в сторону на колдобинах разбитого проселка. Нас подбрасывало вверх, и мы ударялись о дно кузова, перекатываясь от одного борта к другому.

Но вот мы выехали на поля, и машина остановилась. Все тот же главный «плащ» сказал:

— Вылезайте и наберите соломы себе на подстилку.

Шла как раз хлебоуборка, и соломы на поле было предостаточно. Набрав соломы, мы поехали дальше. На этот раз нам приказали сесть у заднего борта, а напротив расположились конвоиры с наведенными на нас пистолетами. Разговаривать, и даже смотреть друг на друга, было запрещено. Нас везли как опасных государственных преступников. И теперь я окончательно понял, что и я, и мой отец, и двое других Алиных однофамильцев оказались в числе врагов народа, и сердце мое сжалось. Я мысленно прощался с

- 13 -

родными зырянскими местами, не надеясь увидеть их когда-нибудь снова.

Лишь через много-много лет, пройдя все круги ада гулаговских концлагерей и чудом оставшись в живых при этом, я все же вырвался на свободу, и мне довелось побывать в родных краях. И мать, которую я застал еще в живых, поведала мне, что предшествовало аресту меня и моего отца.

В ночь с 12 на 13 сентября 1939 года в наш дом тихонько постучали. На вопрос матери: «Кто там?» ответили: «Из милиции».

Когда мама открыла дверь, в квартиру бесцеремонно ворвались те самые «серые плащи». Вся семья была поднята на ноги. Начался обыск. Мои младшие сестренки заплакали. Но ночные «гости» приказали им замолчать.

В доме все было перевернуто вверх дном. Постели с коек сброшены на пол, из сундука все белье выброшено тоже на пол. Конечно, предварительно все, что попадало им в руки, «плащи» прощупывали, а потом бросали в общую кучу. Открыли заслонку русской печи и долго разглядывали ее нутро, освещая его фонарем. С божницы были сброшены иконы, и тоже на пол. А потом началось простукивание стен. Били по штукатурке молотками, долбили ломиками. Затем, забравшись в подпол, принялись ковырять ломиками завалинки.

Так ничего и не найдя, старший заорал:

— Где оружие?

— Какое оружие? — не понял отец.

— Мы тебе покажем, какое оружие! Притворяешься, сволочь! Но ничего, там, у нас, ты все расскажешь, белогвардейская рожа! А теперь собирайся! Пять минут на сборы.

Но, прежде, чем увести отца, старшой обратился к маме:

— А где ваш сын?

На что мама ответила, что сын учится в Чердатах.

Утром, 13 сентября, отца вместе с другими мужиками увезли. А моя мать бежала следом за машиной все 15 километров. А с ней вместе бежала младшая моя сестренка Галя, которой шел тогда седьмой годик. Они не успели к моему аресту, им удалось лишь увидеть, как машина увозила отца и меня неизвестно куда и почему...

Но продолжим наш рассказ.

Зырянская КПЗ.

— Раздевайся догола!

Когда мы сняли с себя все, милиционеры обшарили все наше тряпье. Заглянули даже в рот, заставили нагнуться, а один из милиционеров по фамилии Иванов, о котором стоит рассказать поподробнее, даже толкал свою корявую руку между ног и ощупывал у каждого мошонку.

Забрав брючные ремни, у кого они имелись, нас растолкали по камерам. Так вот, можно сказать, трагически за-

- 14 -

кончилось мое учение. Вместо школы — КПЗ, вместо класса — камера.

Оказавшись в камере, мы довольно долго не могли в ней сориентироваться. Но потом, освоившись в полумраке, увидели впереди сплошные деревянные нары, а над ними небольшое оконце, снаружи которого был прибит козырек. Около двери стояло черное вонючее ведро — параша.

Присмотревшись, как следует, я обнаружил на стенах нацарапанные предшественниками такие плакаты: «Здесь сидел Жора, мне дали три года», «Входящий, не грусти, выходящий, не радуйся», «Пусть будет проклят тот навеки, кто думает исправить тюрьмою человека», — и еще множество подобных изречений.

Но вот загремели запоры, открылась дверь, и в нашу камеру вошел дежурный милиционер. Спросил: «Кто из вас Алин Д.Е.?» Я отозвался, тогда он передал мне холщовый узелок, в котором я обнаружил краюшку черного хлеба, соленый огурец, несколько луковиц, бутылку молока и щепотку соли. Уже выходя из камеры, надзиратель сообщил, что все это передал мне Егор Матвеевич, то есть мой отец.

Значит, тятя разделил пополам все, что брал в дорогу. Если можно назвать дорогой наш путь в неизвестное.

Наутро, 14 сентября, нас подняли очень рано, часов в 5, всем вручили пайки хлеба по 600 граммов и мы снова оказались все в той же машине марки ЗИС-5.

В Семеновке, во время переправы через реку Яя, тятя незаметно сунул мне 25 рублей и проговорил:

— Береги, сынок, деньги, может, тебя оставят в живых, а мне, наверное, уже не вернуться, расстреляют меня, как расстреляли моих двух братьев Андрея и Михаила.

Вот все, что я услышал в последний раз от моего отца. В Асино нас подвезли прямо к вокзалу и в окружении усиленного конвоя вывели на линию железной дороги. И тут командир приказал:

— Раздеваться догола!

И что была за мода у этих «органов» — то и дело раздевать нас догола! Но спорить с ним не приходилось. Трусов тогда мы не имели, и поэтому пришлось снимать и кальсоны. А утро было холодное, на рельсах сверкал иней. Мы босиком, прикрывая стыдливые места, отворачивались

от людей, которые находились на перроне. Среди них были женщины и дети, и молодые девушки, которые тоже старались не смотреть в нашу сторону, не желая обращать на себя внимание бдительных чекистов. Обшарив и ободрав все, что можно ободрать с человека, конвойные принялись пинками заталкивать нас, прямо нагишом, в так называемый столыпинский, а вернее в сталинский, вагон, крича:

— А ну, живей, быдлы!

А кто чуть замешкается — поддавали в спину прикладом.

- 15 -

Там, внутри вагона, нас рассадили по камерам по два человека. Я попал в одну камеру с Савелием Степановичем Алиным. Перед каждой камерой стоял отдельный солдат внутренних войск с пистолетом в руках. Наш надзиратель приказал нам садиться по одному на полку, не разговаривать между собой и не задавать никаких вопросов конвою. В камере-купе окон не было, и только под потолком имелось маленькое застекленное отверстие.

По утрам начальник конвоя подходил к камере и предлагал: «Кому надо на opravку — выходи». Я каждый раз выходил на opravку, но оправиться не мог. После opravки нам приносили пайки по 600 грамм хлеба и по одной ржавой селедке, маленький кусочек сахара и алюминиевую кружку воды.

Нас везли уже трое суток, за это время я ни крошки не съел, только малость употреблял водички. Мой сосед по купе тоже ничего не ел, только непрерывно курил самосад, набивая им свою огромную самодельную трубку. Когда выводили на opravку с других камер, нас заставляли отворачиваться к стене и ни в коем случае не оглядываться. Мне ужасно хотелось увидеть отца, но этого мне не удалось сделать, а увидел я его только через 18 лет уже глубоким стариком, а тогда ему шел только 53-й год.

На четвертый день, утром, во время непонятных маневров нашего поезда по путям, я нечаянно прочитал через тот волчок, что имелся в нашей камере — «Новосибирск». И, когда на минуту отвернулся солдат, я тихо шепнул Савелию Степановичу, что мы в Новосибирске. Долго еще катали наш вагон по путям, видимо, подыскивая место поукромнее, где можно незаметно выгрузить доставленный «груз». Но вот, кажется, нашли, вагон отцепили от паровоза. А часа через полтора началось движение в нашем вагоне — начали выгружать камеры, которые ближе к выходу. Наконец, очередь дошла и до нас.

Незадолго до выгрузки солдат сказал, чтобы я выпил молоко из бутылки, а то ее не пропустят. А куда не пропустят, оставалось только гадать. «Черный ворон» был подогнан вплотную к дверям вагона, прямо из тамбура мы с Савелием Степановичем попали внутрь этой зловещей машины. Дверь захлопнулась, и мы оказались в кромешной тьме. Лишь потом мы обнаружили узенькие лавки вдоль стенок фургона.

Машина шла по каким-то ухабам, и нас немилосердно то и дело подбрасывало. Я как-то случайно через маленький волчок увидел небо и верхушки деревьев. В городе я никогда раньше не был, потому не знал, что на городских улицах могут быть зеленые насаждения. Это и ввело меня в заблуждение. Придвинувшись к Савелию Степановичу, я сообщил ему, что нас везут по лесу, но он мне ничего не ответил,

лишь продолжал что-то шептать про себя. А я при виде леса почему-то решил, что нас сейчас расстреляют. За себя я не боялся, а только молил Бога, чтобы меня расстреляли первым. Я очень страшился увидеть падающим под выстрелами окровавленного отца. И еще мне было очень жалко свою бедную маму, осиротевших сестреноч, которые так никогда и не узнают, где и как погибли их муж, отец, брат и сын. Но вот машина остановилась. Открылись двери нашей душегубки, и последовала команда:

— Выходи!

Нас обоих ввели в одноэтажный каменный корпус. Ошеломленный всем происходящим, я даже и не заметил, как очутился в камере, в которой не было ни коек, ни нар. Стояла только одна табуретка, да под порогом в углу я увидел пахучее ржавое ведро.

Пробыл я в этой камере недолго. Минут через сорок мне предложили выходить и повели по коридору, который вывел нас с конвоиром в большой зал. Здесь я увидел пожилого человека в военной форме, который очень вежливо предложил мне раздеться. (Опять!) Место для раздевания мне было указано у какого-то открытого люка с лестницей, ведущей куда-то вниз, в подземелье.

Обшарив мою одежонку, этот очередной вершитель моей судьбы прошел к столу и начал что-то писать, а я стоял в чем мать родила и ждал, когда мне скажут спускаться вниз по лестнице. Но такой команды не последовало, наоборот, я услышал неожиданный вопрос:

— Почему не одеваетесь?

— А что, можно одеваться? — удивился я.

— Конечно.

Я не понимал, почему я должен одеваться? Ведь расстрелять можно и голого! А то, что меня сейчас расстреляют, у меня почему-то не было ни малейшего сомнения. Я уверен, что все приговоренные находятся в таком же состоянии, в каком находился и я в тот жуткий момент.

Когда я оделся, появился солдат и велел мне следовать за ним. Он вывел меня в какой-то двор, огороженный высокой каменной стеной высотой с двухэтажный дом. Навстречу нам попался солдат с винтовкой наперевес. И я вдруг решил, что он вот сейчас выстрелит мне в затылок. И с замирающей душой прощался с жизнью. Не выдержал, оглянулся назад. И увидел спину спокойно шагнувшего в противоположную сторону солдата. Пронесло и на этот раз...

У неискушенного человека, читающего эти строки, может возникнуть логичный вопрос ко мне, как автору этого не придуманного повествования: а почему это, мол, он (я, то есть) с минуты на минуту ждал смерти? В нашей деревне Каштаково, начиная с 1930 года, только одних Алиных было арестовано, по неполным данным, 24 человека. Да еще

пятеро или более Гусевых. И много еще людей самых разных фамилий. И никто из них не вернулся. Все они бесследно исчезли неизвестно куда. В те годы и наши районная и областная газеты очень часто писали об арестах разоблаченных «врагов народа». Нагнеталась суровая

атмосфера беспощадной классовой борьбы, теоретически обоснованной величайшим гением человечества, вождем и учителем мирового пролетариата товарищем Сталиным. Эта пропагандистская шумиха наводила на мысль, что все арестованные расстреляны, что, в общем-то, соответствовало действительности. Значит, и я подлежал уничтожению. Только я, желторотый пацан-шестиклассник, не мог знать о том, что сначала должен пройти следственную костоломку, а потом уже суд определит меру наказания: или расстрел, или направить на нашу гиблую каторгу.

Между тем конвоир завел меня в кирпичное двухэтажное здание. Пройдя по коридору, мы с ним оказались в очередном кабинете, где, как водится, сидел за столом человек в военной форме. Мой конвоир, подведя меня к столу, назвал только цифру «24», как какой-то пароль, и тут же удалился. Я не понимал, что означала та цифра, но человек, сидевший за столом, видимо, хорошо знал ее расшифровку. Впрочем, и я вскоре был посвящен в эту «тайну». Хозяин кабинета молча встал из-за стола и так же молча указал мне пальцем на выход. Он повел меня на второй этаж, где мы оказались в длинном коридоре, застеленном цветными половиками, скрадывающими шаги. По обе стороны коридора множество дверей. И вот мы остановились у одной из них, на которой красовалась цифра «24». Это была дверь камеры, где мне предстояло провести довольно долгие и очень страшные месяцы.

- 18 -

КАМЕРА № 24

(Внутренняя тюрьма НКВД, г. Новосибирск)

Итак, я переступил роковой порог, за которым начиналась моя новая арестантская жизнь, ничуть не похожая на предыдущую. Теперь мне предстояло коротать свои дни в ограниченном четырьмя стенами пространстве, именуемом камерой.

На койках сидели двое. Один пожилой, лет 45, мужчина, второй помоложе — лет 25. При моем появлении оба поднялись мне навстречу.

— Ну что, парень, будем знакомиться? — предложил пожилой, протягивая руку.

— Давайте будем знакомиться, — согласился я.

— Моя фамилия Никифоров.

— Алин, — назвалса и я, пожимая протянутую руку.

— Буйневич Степан Корнеевич, — более полно представился второй сокамерник.

— А я Даниил Егорович, — и мы тоже обменялись рукопожатием.

Тем временем Никифоров подошел к правой стенке, повернул деревянную вертушку и, опустив полку, объявил:

— Это будет твоей койкой.

Затем он пригласил меня присесть и предложил:

— А теперь давай знакомиться более капитально. Начнем с меня. Я инженер-мостовик, работал

на строительстве железнодорожных мостов. Объездил всю страну. Последнее время жил и работал в Новосибирске. А здесь сижу уже десятый месяц. Ну вот, основное я доложил.

Затем в разговор вступил Буйневич, который поведал мне о том, что он по специальности бухгалтер. Последнее время работал в Абакане на строительстве горбольницы главным бухгалтером.

— Ну, а теперь ты расскажи о себе.

— Я из деревни Каштаково Зырянского района, — сообщил я. — Это километрах в двухстах от Томска. Летом работал в колхозе, а зимой учился. Начал ходить уже в шестой класс. Меня арестовали прямо в школе.

— Я не понял тебя, парень, — с недоверием заметил Никифоров. — Это что же, прямо с парты и сюда?

— Да, прямо с парты и сюда, к вам, — подтвердился.

— Ты веришь ему, Степан? — обратился он к Буйневичу.

— Тоже что-то не совсем понял, — пожал плечами тот.

— Да ты знаешь, где ты находишься? — опять приступил ко мне Никифоров.

— Откуда мне знать? — возразил я.

— Это же доблестная внутренняя тюрьма!

— Ну и что?

- 19 -

— Да ты знаешь, кто здесь сидит?

— Не знаю.

— Так вот, слушай. Вон, напротив нашей камеры, сидит комендант Московского Кремля. Сидит Эйхе. Слышал о нем?

— Да, слышал. Это бывший секретарь обкома Новосибирской области. А в последнее время он работал наркомом земледелия СССР.

— Правильно, молодец! Ты, оказывается, политически подкованный малый, — рассмеялся Никифоров, а затем, уже серьезным тоном предложил: — А теперь расскажи, за что тебя посадили?

— Не знаю.

— То есть, как это не знаешь? Так не бывает. Уж если попал сюда, то должен знать за что.

— Ну, а вы знаете, за что сюда попали?

— Конечно, — охотно подтвердил Никифоров, — например, я был связан с троцкистской организацией. А если сказать откровенно, то я являлся активным участником той организации. А

вот Степан Корнеевич вел вредительскую работу на стройке, где работал. Правильно я говорю? — обратился он к Буйневичу.

— Да, да, правильно, — последовал ответ.

— Вот видишь, мы с тобой откровенны, а ты не хочешь платить тем же. Нехорошо, парень, нехорошо.

— Но я действительно не знаю пока, за что меня арестовали. Вы уж извините, если что не так. Я же к вам не просился, меня привели.

— Да ты, Даниил Егорович, не обижайся, — сразу сбавил тон Никифоров, — в тюрьме существует такое правило, что мы должны знать друг о друге все, коли злой рок свел нас в этом злом месте.

Позже я узнал, что Никифоров неправильно информировал меня о том, что при каждой камерной встрече мы должны знать все друг о друге. Наоборот, нельзя выкладываться перед каждым встречным. Ведь в камерах бывают разные люди. Среди них встречаются такие твари, которые кроме подлости ни на что не способны. В этом я имел возможность убедиться воочию.

Теперь коротко о нашей камере. Это было прямоугольное помещение размером примерно 3 на 4 метра. При входе с правой стороны — толчок или по-современному унитаз, слева — умывальник, а дальше по стенам — две койки с каждой стороны. В передней стенке отопительная батарея, а над ней продолговатое окно с толстой стальной решеткой. С наружной стороны окна прибит жестяной козырек, позволяющий видеть лишь небольшой клочок неба. Над толчком — ниша в стенке, прикрытая деревянной дверкой, где мы хранили пайки, ложки, кружки. Вот и вся мебель, что положена арестантам. На стене висел распорядок дня, где

- 20 -

указано, что тебе разрешено делать, а что нет. Например: подъем в 6 утра, отбой в 22, в 8 — завтрак, в 12 — прогулка, в 13 — обед, в 18 — ужин.

После подъема ты должен койку поднять, зафиксировать ее вертушкой и до отбоя не имеешь права ее опускать. Ты обязан поддерживать чистоту в камере, каждое утро протирать пол влажной тряпкой, а перед отбоем должен проветривать камеру, открывая форточку. Арестант не имел права: громко разговаривать, писать на стенах, создавать шум, петь песни, перестукиваться с соседними камерами, грубить с надзирателями и т.д.

Тем временем подошло время ужина. Открылась кормушка. Никифоров с Буйневичем кинулись к окну и получили миски, наполненные супом. Я не подходил к кормушке, но раздатчик кричит:

— А почему вы не получаете ужин?

Но я не знал, положен мне ужин или нет. Никифоров объяснил раздатчику, что, мол, это у нас новенький.

— Ничего, что новенький!

Затем он взял наш чайник и наполнил его кипятком. Все, ужин подан, кормушка захлопнулась.

Суп — черная жижа, чуть тепленькая, но зато круто посоленная. На дне просматривались несколько зерен чечевицы. Я есть этот суп не стал, вылил его в «толчок». Смотрю, сокамерники последовали моему примеру. Потом Никифоров предложил пить чай. Он достал из шкафчика полбулки белого хлеба, кулек сахара, грамм 200 сливочного масла, разложил все это на своей койке, подстелив чистое полотенце и пригласил:

— Подсаживайтесь. Я сегодня вас угощаю в честь прибытия этого молодого человека. Мы, конечно, тебя сегодня не ждали, ты так внезапно нагрнул, что мы не успели подготовиться, как следует, к встрече. Так что не обессудь нас, Даниил Егорович, — балагурил Никифоров, разливая чай по кружкам. За четыре дня я впервые поел, да еще в таком благородном обществе.

— Что-то сегодня долго нет нашего Володи, — вдруг вспомнил Никифоров, — задерживается на допросе.

— А кто такой Володя? — заинтересовался я.

— Да это сейчас уже четвертый житель нашей камеры. Его каждый день таскают на допросы, а иной раз даже ночью вызывают. Он, видимо, не признает себя виновным, в чем его обвиняют, а зря. Все равно поего не будет. Я за девять месяцев нагляделся на таких, как Володя. Сначала человек запирается, что, дескать, ни в чем не виноват, а потом, смотришь, и раскололся.

— Товарищ Никифоров, — встрял я в его монолог, едва он сделал паузу, — я прочитал в правилах тюремного распорядка, что после подъема наши койки пристегиваются

- 21 -

к стенке и до отбоя их опускать нельзя, а вот мы сидим на опущенных койках. Как это понимать?

— Объясняю. Мы со Степаном сидим на койках потому, что у нас у обоих следствие закончено, а ты сидишь на койке потому, что у тебя следствие еще не начиналось. А вот, когда тебя начнут таскать на допросы, тогда ты увидишь, что будет. Но есть и исключения из этого правила. Если подследственный признает себя виновным и все подписывает, тогда по разрешению следователя ему могут сделать поблажку. Я, например, с первого дня во всем признался, поэтому в любое время имею возможность сидеть или лежать на койке. А как ты, Степан? — обратился он опять к Буйневичу как бы за поддержкой.

— Вначале я немного посопротивлялся, — признался Степан, — но быстро понял, что мое сопротивление глупо, и все пошло нормально.

— Ну, хорошо, а если мне вот признаваться не в чем, тогда как быть? — возразил я.

— О, голубчик, таких людей сюда не приводят. Мы в этом уверены.

— Послушайте, товарищ Никифоров, мне ваше утверждение, что сюда невиновных не приводят, кажется странным.

— В чем, Даниил Егорович, видишь ты странность в моих объяснениях?

Я не понимал, почему Никифоров называет меня по имени отчеству, и подозревал, что он тут

просто иронизирует, но решил пока не обращать на это внимания.

Ответить на его вопрос я не успел. Открылась дверь, и двое военных втащили в камеру человека, бесцеремонно бросив его на пол. Буйневич быстро поднялся и склонился над ним:

— Что с тобой, Володя?

Но тот ничего не ответил. Он только тихо стонал и кашлял. Тогда Степан попытался его приподнять, но это ему не удалось. Тогда он жестом показал, чтобы я откинул четвертую койку и помог ему. Когда я подошел к лежащему на полу человеку, то сразу увидел кровь, которая обильно шла у него изо рта при отхаркиваниях. Вдвоем со Степаном мы положили его на «койку», он так и остался лежать без движения. Я взял тряпку и подтер кровь с пола.

Я не понимал, что произошло с этим самым дядей Володей, и не знал, чем ему помочь. А всезнающий Никифоров тем временем молча сидел на своей полке и даже как будто улыбался. Я спросил у Степана, кивнув на дядю Володю:

— Что это с ним?

— Его часто притаскивают вот так с допроса. Он, видимо, ни в чем не признается, и его жестоко избивают.

— Здесь что, всех так бьют? — растерянно обратился я к своим более опытным сокамерникам.

- 22 -

— Я тебе, молодой человек, уже начал отвечать на твой вопрос насчет коек, — отозвался Никифоров с двусмысленной ухмылочкой, — но я не полностью тебе на него ответил...

Дальнейший разговор был прерван неожиданным стуком в дверь.

— Отбой! — рявкнул надзиратель. — Ложитесь и прекращайте разговоры!

Так вот потом и пошла моя жизнь по командам: Отбой! Подъем! Развод! и т.д. Часа в три ночи мой сосед по камере чуть дотронулся до моей головы (мы лежали голова к голове). Я вскочил и, склонившись над ним, услышал просьбу подать ему воды. Говорил он шепотом, и при этом внутри его что-то булькало, как будто переливалась жидкость из одной емкости в другую. Я поднес к его губам алюминиевую кружку с водой, он жадно стал пить. На его губах я увидел засохшую кровь, которую он старался облизать.

Когда я потом прилег, то заснуть уже так и не смог. Очень уж мрачные мысли будоражили мою голову. Неужели и мне предстоит испить «чашу сию»?

Но вот стук в дверь и голос надзирателя:

— Подъем! Произвести уборку в камере!

Я решил, что уборку в камере должен производить я, как новичок и самый молодой из сокамерников.

В 8 утра открылась «кормушка», и тот же голос надзирателя возвестил:

— Получайте завтрак!

И подал 4 пайки хлеба по 600 граммов, по 10 граммов сахара и чайник кипяченой воды.

После завтрака Буйневич постучал в дверь и, когда подошел надзиратель, попросил его разрешения сводить больного к врачу.

Часа через два открывается дверь и надзиратель командует:

— Ведите вашего больного к врачу.

Мы со Степаном взяли беспомощного дядю Володю под руки и отвели в медпункт. А примерно через час мы привели его обратно.

В 12 часов дня снова стук в дверь. Надзиратель предупреждает:

— Приготовиться на прогулку!

И вот мы трое — я, Никифоров и Буйневич — в прогулочном дворе. Это совсем небольшой пятачок, огороженный со всех сторон бетонным забором высотой наравне с двухэтажным тюремным корпусом.

В одном углу этого забора — вышка, на которой маячит охранник с винтовкой. Прежде чем вывести нас в прогулочный двор, выводной предупредил, чтобы мы во время прогулки не шумели, не разговаривали, не стояли на месте

- 23 -

и ходили только по одному, в затылок друг другу. Время прогулки — 15 минут. А в заключение пристращал:

— За нарушение режима вы будете лишены прогулки на 10 дней. Ясно?

— Ясно.

Мы и не заметили, как пролетели 15 минут. А, вернувшись в камеру, мы не обнаружили дядю Володю. Минут через пять открылась кормушка и надзиратель, держа бумажку перед глазами, поинтересовался:

— Кто тут у вас на букву «эн»?

— Я, — отозвался Никифоров.

— Выходи на допрос!

Оставшись вдвоем со Степаном, мы стали гадать, куда подевался наш дядя Володя? Если в тюремную больницу, то почему он не забрал свои вещи и пайку? Если на допрос, то в таком состоянии он не может даже самостоятельно передвигаться. Степан рассказал мне, что дядю Володю бьют уже целую неделю и всю эту неделю он ничего не ест и не разговаривает. Правда, он и раньше говорил мало. Из его разговоров можно было понять, что он арестован в Томске, а до ареста работал каким-то большим начальником. Ему, вроде, приписывают какую-то диверсию, что он намеревался взорвать какой-то завод. Фамилию свою он не называл, а может, Степан запомнил. Степан только заметил, что дядю Володю начали избивать с приходом в

камеру Никифорова. Он отметил еще такой факт, что Никифоров почему-то не называет своего имени.

— Слушай, Степан, — подхватил я, — вот у тебя в туфлях, а у меня в ботинках шнурков нет, а у Никифорова есть и даже брючный ремень. И второе, почему у Никифорова есть матрац, подушка и одеяло, а мы с тобой валяемся на голых нарах? И откуда у него продукты — белый хлеб, масло, сахар и даже копченая кета? Мне, например, это очень даже непонятно.

Степан объяснил, что, по словам самого Никифорова, он помогает следственным органам в их работе тем, что рассказывает им о методах вербовки, которыми он в свое время пользовался при вовлечении новых членов в свою троцкистско-зиновьевскую организацию. Никифоров говорит, что таких методов существует много. Вот за все это он, якобы, и получает вознаграждение.

— А может за какую-то другую работу он получает вознаграждение? — намекнул я Степану.

— А черт его знает! Снаружи-то душу человеческую не видно.

Между прочим, дядя Володя в нашей камере больше так и не появился. И за вещами его тоже никто не пришел. Если бы его перевели в другую камеру или отправили в больницу, или на этап, то вещи обязательно должны были забрать.

- 24 -

— Наверное, его добились до смерти на следствии, — высказал предположение Степан.

... Никифоров вернулся с допроса часов в 12 ночи и принес с собой булку белого хлеба, с полкилограмма сливочного масла и большой кулек сахара-рафинада. Гостеприимно пригласил нас пить чай. За чаем рассказал, что задержался долго из-за того, что делился опытом по вербовке иностранцев в троцкистскую организацию. Ну, а энкаведе-шники, дескать, расчувствовались и щедро одарили его на прощанье. Они посулили, что еще будут вызывать его, поскольку заинтересовались его опытом.

Верили ли мы ему? Я лично подозревал, что тут что-то неладно. Мне почему-то казалось, что слишком щедро оплачиваются рассказы Никифорова. А, в общем-то, кто его знает, может он правду говорит.

Назавтра мы снова вернулись к той же теме: куда делся наш дядя Володя? Теперь мы со Степаном решили послушать, что скажет по этому поводу Никифоров.

— Вы, ребята, правильно думаете, что его могли и добить, — согласился он. — Здесь частенько это делают — просто убивают, а потом составляют акт, что скоропостижно скончался от сердечной недостаточности, или пытался убить следователя и при этом был застрелен. А бывает и так: человек, доведенный до отчаяния, выбрасывается из окна следственного кабинета и разбивается насмерть. Были и такие случаи. Конечно, все это глупо. Уж коли тебя изловили, то не рыпайся, а честно признавайся во всем. Плетью обуха не перешибешь...

Говоря все это, Никифоров выразительно посматривал не меня, дескать, слушай да мотай на ус.

Так вот коротали мы свои тюремные дни, и каждый думал о том, что его ожидает впереди. А

однажды я обратился к нашему всезнающему Никифорову с таким вопросом:

— Почему меня так долго не вызывают на допрос?

И он мне все как есть разъяснил:

— Из твоих разговоров, товарищ Алин, я понял, что ты по делу арестован не один, кроме тебя арестовано еще трое?

— Да, — подтвердил я, — в том числе арестован и мой отец.

— Так вот сейчас пока допрашивают тех, других, а потом и до тебя дойдет очередь. Так что не торопись. Пока адаптируйся, привыкай к новой обстановке. И запомни мои слова: зря сюда не сажают. Ты еще совсем молодой, поэтому я хочу тебя предостеречь от того страшного, что может ожидать тебя, если начнешь артачиться. Ты видел, что сделали с нашим дядей Володей?

— Конечно.

— Так вот, ничего этого могло не быть, если бы он вел себя благоразумнее, то есть признал бы все предъявленные

- 25 -

ему обвинения, то, конечно, имел бы шансы остаться в живых.

— Товарищ Никифоров, а как же насчет лозунга, который гласит: «Если враг не сдается, его уничтожают», который подписал Горький?

— Я об этом тебе и толкую, что чистосердечное признание своей вины наш советский суд рассматривает как разоружение врага, то есть враг сдался, а повинную голову меч не сечет, как гласит русская народная пословица.

— Ну ладно, товарищ Никифоров, вы очень толково мне все объяснили. Но вы говорили о врагах, а если человек не враг? Я думаю, надо сперва доказать, что он враг, тогда и решать, что с ним делать — уничтожать или миловать.

— Слушай, мальчик, или ты непонятливый или морочишь мне голову? Я тебе не раз уже говорил о том, что безвинного не привезут. Прежде, чем арестовать человека, НКВД разнюхает о нем все, кто он вплоть до седьмого колена. И, если подтвердится поступивший сигнал, вот тогда и везут его сюда.

— Вот теперь мне почти все понятно. Только я не понимаю одного: уж если НКВД разнюхало, как вы выразились, все о человеке вплоть до седьмого, колена, тогда зачем же следствие? Зачем заставлять человека признаваться в том, что следствию и без того известно? При этом еще и избивая его. Я думаю, его надо сразу ставить к стенке и делу конец. Или я неправильно рассуждаю?

— Нет, ты кое в чем прав, я тоже — за. Но тут есть еще большое «но». О тебе-то следствию известно, но ему неизвестно, кто стоит за твоей спиной!

— Вот теперь я понял. Получается цепная реакция: я должен потащить кого-то другого, а тот, в свою очередь, потащит других. И так может длиться без конца. Ведь человека бьют и бьют

очень крепко, а человеческое терпение не безгранично.

— Да тебе, парень, пальца в рот не клади, ты, оказывается, не так прост, как показалось вначале.

— По-моему, во мне нет никакой сложности. Я просто рассуждаю, как должно быть.

— Ну, ну, посмотрим, как ты будешь рассуждать ТАМ.

Через несколько месяцев после этих разговоров в мою камеру посадили молодого паренька, который сообщил мне, что Никифоров являлся самой простой камерной «наседкой». Все, что он слышал от сокамерников, сообщал туда, где фабриковались дела на «врагов народа». А при удобном случае старался психологически обработать неискушенных новичков. Но об этом разговор несколько позже.

НАЧАЛО СЛЕДСТВИЯ

После обеда открылась кормушка и надзиратель, глядя в бумажку, спросил:

— Кто у вас на букву «А»?

— Я, Алин.

— Тогда собирайся на допрос.

Пятиэтажный корпус был покрашен в какой-то темно-серый мрачный цвет. Выводной подвел меня к одному из кабинетов, постучал в дверь. В ответ послышалось: «Войдите!» Кабинет был просторный. В глубине его стоял канцелярский стол, за которым сидел в кресле человек лет тридцати. Не обращая на нас внимания, он перебирал на столе какие-то бумаги. Выводной подошел к нему и положил на стол сопроводилку, тот прочитал ее, подписал и вернул выводному. Выводной откозырял и вышел из кабинета. А я все стоял под порогом, ожидая указаний.

Покончив с бумагами, хозяин кабинет поднял, наконец, голову и предложил:

— Садитесь вон на ту табуретку. — Я сел. — Будем знакомиться. Моя фамилия Похилько. Мне поручено расследование по вашему делу. И сразу вас предупреждаю, когда заходите в кабинет следователя, надо здороваться. Это во-первых, во-вторых, меня вы должны называть «гражданин следователь». И последнее, когда садитесь на табуретку, кладите обе руки на колени. Ясно?

— Ясно.

— А теперь я буду задавать вам вопросы, на которые вы обязаны отвечать. Ясно?

— Ну, само собой.

— Фамилия, имя, отчество?

— Алин Даниил Егорович.

— Год рождения?

— 1923.

— Где родились?

— В деревне Каштаково Зырянского района Новосибирской области.

— Социальное происхождение?

— Из крестьян.

— Чем занимались до ареста?

— Зимой учился, летом работал в колхозе.

Записав мои ответы, следователь поднялся из-за стола, подошел ко мне вплотную, долго рассматривал меня, а потом проговорил:

— Хочу еще раз предупредить, чтобы на все мои вопросы давали четкие, исчерпывающие ответы. Вы должны честно и добросовестно признать все, в чем мы вас обвиняем. И, если вы это сделаете, то тем самым облегчите свою судьбу,

- 27 -

а суд учтет ваше чистосердечное признание при определении меры наказания. Вы это поняли?

— Гражданин следователь, из всего сказанного вами я абсолютно ничего не понял, — возразил я.

— Что вам непонятно?

— Во-первых, мне непонятны такие ваши слова, что я должен честно и добросовестно признать все, в чем меня обвиняют. Я думаю, прежде чем обвинять человека в чем-либо, нужно доказать его виновность. Во-вторых, прежде чем арестовать человека, надо точно знать, что он совершил какое-то преступление. Или вы делаете наоборот — сначала арестуете, а потом стараетесь найти состав его преступления?

Следователь схватил со стола пресс-папье и впился в меня взглядом.

— Смотрите на меня, — приказал он.

В этот момент он очень смахивал на ядовитую змею. На его скулах заиграли желваки, кожа на лице приобрела темно-коричневый цвет. «От такого человека ждать пощады не приходится: убьет, раздавит, размажет по полу», — пронеслось у меня в голове. Много позже я узнал, что у каждого следователя есть свои методы психологического воздействия на подсудимого. Один начинает со слащавых речей, другой берет ревом, запугиванием, третий, как вот этот мой следователь, многозначительным молчанием старается показать, что с ним шутки плохи. Есть еще множество приемов и методов психологической обработки, о которых я расскажу чуть позже. Сколько времени длилось вот такое смотрение — глаза в глаза — я сказать не могу, но мне показалось, что оно длилось бесконечно долго. Наконец, Похилько резко отвернулся от меня и вернулся на свое кресло.

— Слушай, Алин, я вижу, ты взял слишком высокую ноту, — заявил он, — советую тебе понизить

ее на целую октаву. Ведь ты начал обвинять даже наши советские следственные органы, поэтому считаю своим долгом предупредить тебя, чтобы в дальнейшем это не повторялось. Ты понял меня?

Чтобы отвязаться от его «нравоучений», я сказал, что понял.

— Прежде, чем арестовать вас, — продолжал мой следователь, — мы провели тщательное расследование по вашему делу. И то, о чем мы были осведомлены, полностью подтвердилось. А теперь требуется, чтобы вы чистосердечно во всем признались. Короче говоря, прошу ответить на несколько конкретных вопросов. Вот вы мне рассказали, что зимой учились, а летом работали в колхозе. Но нам известно, что вы занимались еще не менее важной работой. Что вы скажете по этому поводу?

— Я не понимаю, о чем идет речь? — пожал я плечами.

— Ах, ты не понимаешь, о чем я веду речь? — возмутился

- 28 -

следователь.

— Нам известно из достоверных источников, что вы в колхозе и в школе занимались антисоветской агитацией среди окружающих вас людей.

— Гражданин следователь, вы не можете уточнить ваш вопрос, где, когда и кого я агитировал против Советской власти?

— Ты подожди, не торопись, я еще не кончил свои вопросы. Кроме того, нам известно, что вы занимались вербовкой молодых людей в вашу повстанческую организацию, целью которой являлось насильственное свержение существующего строя в СССР и реставрация монархии. Кроме того, вы планировали физическое уничтожение, то есть убийство многих членов ВКП(б), в частности председателя колхоза имени Ворошилова товарища Мельникова и оперуполномоченных, работающих в лагере Каштаковского ОЛП и живущих у вас в деревне Каштаково.

— Это все? — спросил я.

— Нет, не все. Есть еще кое-что, — возразил Похилько.

— Но вы, гражданин следователь, можете ответить мне на два вопроса? Откуда вам известно, что я занимался антисоветской агитацией? Второе — где, когда и кого я агитировал, где, когда и кого я вербовал?

Следователь долго молчал, зло глядя на меня, а потом спросил:

— Вы что, действительно не знаете где, когда и что делали?

— Да, я этого не знаю.

— Тогда будем уточнять детально. Вы знаете Алина Александра Петровича?

— Да, знаю. Это мой односельчанин.

— Какие у тебя с ним были взаимоотношения?

— Нормальные.

— Расскажи подробнее о ваших взаимоотношениях.

— За все годы, как я помню себя, у меня с ним не было особо дружеских отношений. Бывали даже и ссоры, но мы мирились, какое-то короткое время мы дружили, но долгая дружба у нас не получилась. Он парень со скандальным характером. С ним, как я помню, никто из наших деревенских ребят не дружил. Я же человек веселый по натуре, а он замкнутый, неразговорчивый. Он давно бросил школу, поскольку, как он объяснял сам, учеба ему не шла и рано пристрастился к выпивке, я же никогда не брал в рот хмельного. Так что у нас не было ничего общего, но и каких-то ссор, вражды тоже не существовало.

— Скажите, арестованный, только честно, что вы делали 17 апреля в 11 часов вечера?

— Гражданин следователь, я не понял вашего вопроса. Вы мне сказали число, месяц и время суток, а о каком годе идет речь, я не услышал.

- 29 -

— Сукин сын! Значит, ты не знаешь, о каком годе идет речь?

— Да, не знаю.

— Знаешь что, молокосос, ты меня не выводи из терпения! А то ведь я заставлю тебя вспомнить все со дня рождения и до сегодняшнего дня. А теперь я в последний раз повторяю свой вопрос: что ты делал 17 апреля 1939 года в 11 часов вечера?

Я знал, о каком дне идет речь, но делал вид, что не могу вспомнить. (Чуть ниже я объясню, почему я это делал.) А тогда я дал понять следователю, что кое-как я все же вспоминаю, что я делал в интересующее его время.

— 17 апреля 1939 года, как я помню, было воскресенье. Был прекрасный теплый и солнечный день. Мы, молодежь, собрались на площади около трибуны. Это было наше любимое место, где проводились все мероприятия выходных дней, если позволяла погода. В 1939 году в Сибири наступила ранняя весна. В деревне, да и на полях снегу почти не было. Я говорю о 17 апреля. Часа в 4 дня к нам подошел бригадир Николай Худобнн и объявил: «Все ребята бригады № 1 должны собраться в 9 часов вечера у Николая Куренькова, провьем собрание о выезде на поля, поговорим о посевной кампании». Собрание длилось примерно до двух часов ночи. Постановили, что завтра выезжаем на поля, на культстан. Возвращался я с собрания вместе со своим приятелем, счетоводом колхоза Яковом Ермаковым. Время было позднее, молодежь с толчка у трибуны уже разошлась, мы с Яшей распрощались и пошли по домам. А наутро, в понедельник, выехали на поля. Вот все, что я могу рассказать вам, гражданин следователь, о 17 апреле.

— Честно говоря, не ожидал от тебя, Алин, что ты займешь такую странную позицию по отношению к следственным органам, — недовольно поморщился Похилько. — Ты что думаешь, мы собираемся в бирюльки с тобой играть? Да ты знаешь ли, что к нам сюда попадают люди не тебе чета? Но все они понимают очень быстро, что с нами шутки плохи, поэтому почти все

честно признают свою вину. А ты... Ну кто ты такой есть? Для меня ты просто щенок, который ничего еще не смыслит, в какую серьезную историю попал, поддавшись чьему-то злему умыслу. Поэтому еще раз хочу предупредить тебя, чтобы ты не валял дурака, а честно признался во всем. И, если ты меня не поймешь, то пеняй на себя. Я из тебя отбивную котлету сделаю. Учти, что за таких, как ты, здесь никто никакой ответственности не несет. Вон видишь, на стене висит лозунг? Прочти его и хорошенько запомни. Справа под самым потолком висел красочный лозунг: «Если враг не сдается, его уничтожают». И подпись — Горький. Вот так Алексей Максимович снабдил органы под-

- 30 -

ходящей цитатой! А нам-то в школе на уроках литературы его нахваливали как величайшего гуманиста нашей эпохи. Он, этот «великий», еще немало чего наговорил такого, что и подумать страшно.

— Ну, а теперь пока, до свидания, — заключил Похилько. — Советую в камере хорошенько обдумать свое поведение, а завтра продолжим разговор.

Как только я вернулся в камеру, ко мне кинулись Никифоров с Буйневичем и закидали меня вопросами:

— Ну, что там у тебя? Какой разговор был у тебя со следователем? Кто следователь? В чем тебя обвиняют? и т.д.

Однако мне было не до разговоров. Я упал на свою полку и молча пролежал часа два. А когда немного пришел в себя и поднял голову, Буйневич предложил мне пообедать. Моя миска с баландой стояла в шкафчике. Степан принес ее мне, но есть я не стал — не до еды было.

— Ну, а теперь, Данил Егорович, можешь рассказать нам, что произошло на допросе? — поинтересовался Никифоров.

— Меня обвиняют в том, что я занимался в своей деревне антисоветской агитацией. А кроме того, еще вербовал людей в контрреволюционную организацию, которая ставила своей целью поднятие восстания и свержение существующего строя в СССР.

— Ну и что ты ответил следователю?

— А что я мог ответить, если ничего этого не было и быть не могло.

Тогда Никифоров подсел поближе ко мне и повел такой разговор:

— Знаешь что, друг, уж если они предъявляют тебе такое обвинение, то думаю, имеют на это основание. Ни с того, ни с сего они не могут ничего никому предъявить. Правильно я говорю?

Никифорову, видимо очень хотелось, чтобы я с ним согласился. Но я этого сделать не мог.

— Знаешь, — продолжал собеседник, — ты еще совсем молодой и совсем еще неопытный, а я за свои девять месяцев нагляделся на всяких. Многие тут пытались доказать что-то свое, но все их потуги кончались неудачно. Потом они же подписывали за милую душу все, что отрицали вначале и даже больше того. Ты видел того человека, которого вы со Степаном называли дядей Володей? Так вот он, если бы не был дураком, то наверняка остался бы живым. А так видишь,

что с ним произошло? Вот возьми Степана или меня, например. Если бы мы пошли по линии всеотрицания, то и нас постигла бы участь дяди Володи. Из прежних наших разговоров, сынок, я понял, что ты парень неглупый и все поймешь правильно.

— По-вашему я должен взять на свою душу все, что мне приписывают? — удивился я. — Но это значит, что я

- 31 -

действительно враг народа! Нет, я считаю, что этого делать не имею права по отношению к моей жизни и совести.

— Возможно, ты в чем-то прав, но за время, что я сижу здесь, еще никому не удалось выйти на свободу, — гнул свою линию Никифоров. — Поэтому ты забудь и думать об этом. Ты сейчас должен думать о том, как сохранить свою жизнь.

— Но если я начну все и вся брать на свою шею, то это значит, что я враг народа. А нам известно, что сказал великий пролетарский писатель: «Если враг не сдается, и т. д...», поэтому я не хочу умереть врагом народа. Вот в чем дело, товарищ Никифоров.

— Слушай, мальчик, ты думаешь, что всех, кто признает свою вину, уничтожают? Это не обязательно. Ты знаешь, что у нас есть еще лагеря, где сидят такие вот, как мы. Конечно, это твое дело, Данил Егорович, как поступить. Но, признавшись, ты получишь больше шансов на жизнь.

И я начал думать. Думал всю ночь. А когда меня одолевал сон, мне снился окровавленный дядя Володя, который хрипел и все просил воды.

А назавтра на очередном допросе я рассказал следователю Похилько то, что услышал с 18 на 19 апреля 1939 года. В тот день бригадир нашей первой бригады Николай Худобин приехал из деревни очень поздно, когда уже все спали. Я проснулся потому, что спал на общих нарах у самой двери.

Бригадир первым делом спросил поднявшегося ему навстречу конюха Андрея Гусева:

— А Даниил здесь?

— Вон он спит, — показал в мою сторону Андрей. Тогда бригадир, понизив голос, начал рассказывать Андрею:

— Ты знаешь, что произошло в воскресенье ночью? Так вот, Данил, оказывается, вербовал Шурку.

— Куда вербовал? — не понял Андрей.

— Как куда? В какую-то организацию, которую он создает, чтобы поубивать оперативников, которые живут у нас в деревне, а работают в лагере, чтобы освободить заключенных. И с теми заключенными поднять восстание против Советской власти. Понял?

— Да ты че, Николай, это же надо сойти с ума, чтобы додуматься до такой фантазии, — не поверил Андрей.

— Да ты пошто не веришь-то? Об этом знает уже вся Каштаковка. Из Зырянки приехали сотрудники НКВД, начальник Жаров лично допрашивал Шурку и еще многих ребят. Например, дружка Шуркина — Сашку Фокина.

— Дык это где и когда было-то? — недоверчиво уточнил заинтригованный Андрей.

— Да, говорят, часов в 11 вечера Данил взял Шурку под ручку и повел к берегу Чулыма и там его завербовал. Говорят, Шурка, вроде, спросил Данила: «А как мы их

- 32 -

убьем?», а Данил ответил: «Ночью залезем к ним в окно и зарубим топорами, а трупы побросаем в колодец». А потом Шурка спросил еще: «Разве мы одолеем Советскую власть?» Данил ответил: «Наше дело только поднять народ, а потом услышит заграница и нам поможет».

— Слушай, Николай, ты говоришь, что это было в 11 вечера, а Данил-то в это время и до самого конца был на нашем бригадном собрании. И ты это знаешь не хуже меня.

— А черт их знает. Я тебе рассказал, что от людей слышал.

— Это же надо! — удивлялся Андрей. — Разве подумаешь такое на Данила? Ведь он же всегда выступал с трибуны на 1-е Мая, на 7-е Ноября и всегда хвалил Советскую власть. А оказывается, вон он, какой на самом деле!

— Да они, энти люди, всегда стараются влезть в доверие советской власти. Вон, в Москве, и то недавно разоблачили врагов народа. Среди них оказались Егоров, Тухачевский, Блюхер. А ты говоришь, что наш Данька активист, — подытожил более политически подкованный Николай Худобин

— Ну, теперь его наверняка забарабают, — уверенно предположил Андрей.

— Конечно, — согласился бригадир.

Но ни завтра, ни послезавтра меня не «забарабали». Почему-то отсрочка мне вышла аж до самой осени, до памятного дня 13 сентября...

— Ну, вот видишь, — сразу оживился мой следователь Похилько, выслушав мой рассказ очень внимательно, — выходит, ты знаешь, что делал 17 апреля 1939 года.

— Выходит, знаю, — покорно согласился я, полагая, что этим своим признанием я спасаю себе жизнь.

Похилько с самодовольным видом потирал руки. Еще бы! За такой короткий срок он сподобился разоблачить столь матерого преступника! Это тебе не баран чихнул. Он заранее предвкушал то счастливое мгновение, когда на его петлицах появятся вторые заветные кубики. А может, последует и повышение в должности? Кстати сказать, кубики, блестящие на его красных петлицах, Похилько носил незаконно. Они соответствовали званию «младший лейтенант», а в протоколе он расписывался: «Старший сержант НКВД города Прокопьевск Похилько». Но в «органах», видимо, самоповышение в чине не считалось предосудительным.

Вернемся, однако, к следствию. С этого дня оно пошло как по маслу. Я признавал все, что мне

говорил Похилько, он едва успевал записывать мои показания. Примерно через неделю я подписал предъявленное мне обвинение, согласно которому я привлекался к уголовной ответственности сразу по нескольким пунктам статьи 58-ой: пункт 2 — подготовка к вооруженному восстанию против существующего строя в

- 33 -

СССР, пункт 8 — террор, пункт 10 — антисоветская агитация и, наконец, пункт 11 — контрреволюционная организация. В общем, полный «букет» 58-ой статьи. Даже один из этих пунктов грозил расстрелом, а уж в совокупности они просто не давали права суду оставлять в живых такого преступника. А я по своей наивности полагал, что получу лет пять лагерей, не более. Лишь значительно позже я узнал, что натворил — сам себе подписал смертный приговор.

В КАМЕННОМ МЕШКЕ

Итак, прошло уже десять дней, как я подписал себе смертный приговор, не подозревая об этом. В ожидании отправки в лагерь, я лежал себе, когда желал, на своей койке-полке. А как же! Ведь я все подписал на себя, поэтому мог пользоваться такой льготой хоть сутки напролет. Но лежать я долго не мог. С утра протирал пол, проветривал камеру, а потом ходил взад-вперед. Четыре шага от дверей к окну и столько же обратно. На прогулку я ходить не мог, поскольку уже трещали морозы, а я был в летнем одеянии. Я позволял себе прилечь лишь после обеда. А потом опять — четыре шага туда, четыре обратно. Но было у меня и развлечение. Каждый вечер ко мне в гости прилетали вольные воробушки — самец и самочка и, усевшись на козырек, перекрывший мое тюремное окно, принимались оживленно чирикать промеж себя. Орнитологи утверждают, что воробьи паруются только на летний брачный период, но, видимо, у некоторых «супружество» бывает и более продолжительным, о чем говорит тот факт, что ко мне прилетали зимой одни и те же воробей с воробьиной. Вот так я коротал свои дни, думая, что следствие закончено и самое страшное теперь позади. Но я очень заблуждался...

На одиннадцатый день, сразу после завтрака открывается «кормушка», и опять я слышу:

— Кто на букву «А»?

Что за дурацкая процедура! Я в камере сижу один, а надзиратель спрашивает, как будто кроме меня в камере есть еще кто-то. И вот я в кабинете Похилько на пятом этаже здания внутренней тюрьмы.

— Так, Алин, то, что ты нам рассказал, все подтверждается, и это очень хорошо, — с довольной улыбкой констатировал следователь, — но надо уточнить еще один небольшой вопросик: кем, когда, где и при каких обстоятельствах вы были завербованы в эту повстанческую организацию? Вы называете мне фамилию этого человека, я записываю и мы тихо-мирно расходимся.

Вот это да! Я, признаться, и не предполагал, что может возникнуть такой страшный вопрос. От такого вопроса можно сойти с ума. Вот она, начинается та самая цепная реакция, о которой я упомянул в разговоре с бывшим сокамерником Никифоровым, тем временем Похилько достал из шкафа пистолет, засунул его в карман брюк и подошел ко мне вплотную. Схватив меня за подбородок, он вздернул мою голову лицом вверх и уставился на меня долгим недобрый

взглядом. Тонкие губы его начали бледнеть, на скулах появились желваки, мне показалось, что вот сейчас он начнет меня рвать зубами или душить. Он молчал, я тоже молчал. Горло сдавил спазм, мне трудно стало

- 35 -

дышать, сердце учащенно билось, словно хотело вырваться из грудной клетки.

— Ну, долго я буду ждать?

Мне показалось, что эти слова доносятся откуда-то из подземелья.

И тут же Похилько сильно ударил меня под дых. Я, задыхаясь, глотнул слюну, но никак не мог захватить воздуха. А когда я наклонил голову, он ударил меня вторично. На этот раз по шее, в то место, где начинаются позвонки. Это очень уязвимое место у человека. Я не знаю, сколько пролежал на полу, а очнулся от холодной воды, которую лил на меня из графина мой заботливый следователь. А когда я пришел в себя, опять последовал тот же вопрос:

— Кто ОН?

В ответ на мое молчание Похилько выхватил из кармана пистолет, сунул его дуло мне в рот и зарычал мне в лицо:

— Считаю до трех!

Глаза его налились кровью, на губах выступила пена. Он был страшен! и вдруг кабинет, вроде накренился вправо, а из моих глаз полетели очень крупные голубые искры, которые с треском разлетались в разные стороны. Пол поехал под моими ногами, я судорожно ухватился за табуретку и тут же, вместе с ней, полетел в какую-то черную яму.

И снова я очнулся от холодной воды, которую лил мне на лицо Похилько из того же графина. Потом он отошел от меня и долго молча сидел за столом, видимо, отходя от своего припадочного состояния и, наконец, проговорил:

— Ладно, иди пока в камеру и там хорошенько подумай над своим поведением. А на следующем допросе ты должен сказать мне ЕГО фамилию. Ты, стерва, понял меня? Или ты, сывка, скажешь, или я тебя скормлю крысам. У нас есть такое место, где находится тысяча крыс, и они голодные. И когда мы их выпускаем в камеру, они пожирают все живое. Учти, я не пугаю тебя, а просто предупреждаю, что ждет тебя, если ты будешь упрямяться. А пока до свидания.

Вот так наступило то, о чем предупреждал Никифоров. Теперь днем опускать свою полку я уже не мог — надзиратель запретил. И почти каждую ночь меня вызывали на допрос, где каждый раз я подвергался жестоким избиениям.

Следователь был убежден, что я не смогу долго выдержать столь интенсивные пытки — ночные избиения и дневные бодрствования. Я не имел права даже присесть на пол (другого сидения в камере просто не было). А как только я пробовал привалиться к стене стоя, так сразу раздавался стук в дверь камеры, который служил сигналом, чтобы я прекратил дремать. Даже обедать я должен был стоя. И так весь день. Как только раздавалась команда надзирателя: «Отбой!», я быстро опускал полку, падал на нее и момента-

льно засыпал. Но долго спать мне не давали — полчаса или самое большое — час.

В конце концов, я пришел к трезвому выводу, что долго я не выдержу, и потому твердо решил, что при первой возможности я выброшусь из окна следственного кабинета. И только молил Бога, чтобы его не перевели с пятого этажа на первый или второй. Пятый этаж — это все-таки надежней. И весь этот день я посвятил обдумыванию моего плана. При окончании допроса я обязан подойти к столу следователя, а стол его стоял возле окна. Я должен сегодня вести себя смиренно, чтобы не злить своего злодея следователя. Таким образом, я рассчитывал притупить его бдительность. И хорошо, что на пятом этаже нет решеток на окнах. Не доходя до стола, я делаю прыжок прямо в окно и лечу вниз головой туда, где уже не будет ни допросов, ни страданий. Как все это я ловко придумал!

В десять часов отбой. А через час меня разбудил надзиратель и опять:

— Кто на букву «А»?

На этот раз я шел на свою Голгофу почти в веселом настроении — наконец-то наступает конец моим мытарствам! Но судьба распорядилась по-своему. Моему очень хорошо продуманному плану не суждено было сбыться. И вот почему: в кабинете следователя, кроме моего Похилько оказались еще трое энкаведешников. Когда я вошел, они о чем-то оживленно беседовали и не обратили внимания на мое появление. Разговор был веселый, то и дело прерывался громким хохотом. По их очень румяным лицам я определил, что все четверо были в хорошем подпитии. Возможно, заявили с какой-то вечеринки или из ресторана. А что им не гулять, не веселиться? Работа не пыльная, а получают хорошо, одеты-обуты — лучше не надо, за казенный счет. Все в габардиновых гимнастерках, в шерстяных галифе лучшего качества, на ногах хромовые сапоги со скрипом, сшитые лучшими мастерами. Перетянуты вдоль и поперек новенькими скрипучими ремнями. На правом боку висит пистолет, на левом кинжал. Вооружены, как говорится, до зубов. А как же иначе? Ведь они имеют дело с ярыми врагами Советской власти, от которых можно ожидать чего угодно.

Закончив веселый разговор с приятелями, Похилько резко повернулся ко мне.

— Садись! — рявкнул он.

Вместо табуретки, на которой я всегда здесь сидел, стоял стул с высокой спинкой.

— Ну что, будешь говорить?

— Буду, — согласился я.

— Ну и кто ОН?

— Гражданин следователь, я вам категорически заявляю, что нет на свете человека, который мог бы меня завербовать.

— Ах ты, гаденыш! Ты опять за свое? — и, схватив меня за голову, он перегнул ее через спинку стула и предложил одному из трех соратников врезать мне по горлу. Я не помню, сколько было

нанесено мне ударов, только запомнил, что изо рта моего фонтаном хлынула кровь, которой окатило габардиновую гимнастерку моего палача.

— Это же надо, какая наглость — вымазать кровью новенькое обмундирование! Ах ты, сука!.. — заревел тот и выхватил пистолет, но его успел вырвать у него Похилько. Но тому все же удалось нанести мне несколько ударов ногой в живот. Очнулся я опять от воды, лившейся мне на лицо.

— Ну что ж, если у тебя нет желания жить, то я тебя сейчас устрою в одно хорошее место, — зловеще пообещал мне Похилько и отошел к столу, за которым двое его сослуживцев играли в шашки, не обращая никакого внимания на то, что происходило в кабинете. А мой истязатель куда-то исчез, пошел, видимо, замывать испачканное моей кровью обмундирование.

... Выводной привел меня в какое-то подземелье. Дежурный, открыв одну из дверей, скомандовал:

— Забирай гроб!

У противоположной стены действительно стояло несколько самых настоящих гробов, сколоченных из неструганных досок. Забрав один из них, я втащил его в указанную мне камеру и поставил на мокрый пол. Потом дежурный заставил меня раздеться до белья и снять носки. Он забрал мои ремни и захлопнул железную дверь. «Все, амба! — подумал я, — только бы побыстрее все это кончилось». Никаких других мыслей у меня не было. Моя очередная камера представляла из себя бетонный колодец метровой ширины, пятиметровой длины и метров пяти в высоту. Под потолком мигала маленькая электролампочка, зарешеченная густой черной сеткой. Все стены были покрыты какой-то бурой слизью. Под ногами тоже хлюпала вонючая жидкость. «А для чего же этот гроб?» — недоумевал я. Но потом все же догадался, что это мое спальное ложе! Сообразив это, я упал в гроб и моментально заснул. Не знаю, сколько я проспал, а проснулся от скрежета открываемой двери. Надзиратель, стоя на пороге, скомандовал:

— Выноси гроб и получай пищу!

Мне сунули пайку хлеба граммов на 300, кружку холодной некипяченой воды, и дверь снова захлопнулась. Наступила воистину могильная тишина. Позавтракав, а оказалось, что это был мой обед и ужин, я ощутил, что в моем новом жилище очень и очень прохладно. Да это и понятно — откуда взяться теплу в неотапливаемом железобетонном подвале?

От холодной воды меня начало помаленьку потрясывать, и я сообразил: чтобы не околеть, я должен весь день и всю ночь шевелиться. А если бы у меня появилось желание

- 38 -

отдохнуть, то присесть было не на что. Гроб я затаскивал только на ночь в десять вечера, а утром в шесть я его выносил в «кладовую».

После той «процедуры», которую произвели со мной накануне в кабинете Похилько, я не мог повернуть голову, очень болела шея и позвоночник. Попробовал издать звук — ничего не получилось. И я очень засомневался: а смогу ли я вообще разговаривать? А придется ли мне вообще с кем-либо разговаривать, хотя бы даже со следователем? Этого я тоже не знал. Вот такую жизнь устроил мне мой «гражданин следователь»! Впрочем, я уже не сомневался, что и

этой жизни мне осталось совсем немного. Вечером опять скрежет и опять:

— Забери гроб!

Вот только по этим командам: «вынеси» — «забери», я и ориентировался, когда было утро, а когда вечер. Других ориентиров не было и не могло быть в этом каменном мешке.

Не помню, сколько я отсидел в нем, помню только, что меня время от времени навещали огромные рыжие крысы с толстыми длинными хвостами. Они очень высоко подпрыгивали и старались ухватить меня за горло. Я изо всех сил отбивался от них, а когда крыса падала на пол, старался придавить ее ногой. Мне не раз мерещился дядя Володя, который все пытался подняться на ноги с пола, но это ему не удавалось. Тогда он поворачивал ко мне окровавленное лицо и шептал: «Воды..., дай воды...» Эти галлюцинации говорили о том, что я был на грани помешательства.

Очнулся я от нашатырного спирта. Я лежал на кушетке, а рядом сидела миловидная женщина-врач и щупала мой пульс. Потом смерила температуру и, покачивая головой, проговорила:

— По существу вас надо бы госпитализировать, но мы не имеем такой возможности — у нас нет стационара, поэтому попытаемся лечить вас своими силами. На допрос вас вызывать не будут, я категорически запретила, пока вы не придете в нормальное состояние.

Лежа на своей полке, я только и думал о том, что же мне делать дальше. Я понимал, что лечение — это только отсрочка. А дальше все начнется сначала. Надо было кого-то назвать следователю, кто меня «завербовал», иначе я так и сгину в этих застенках. Но назвать надо такого, чтобы никому не навредить. Теперь от моей сообразительности зависела моя судьба и моя жизнь. А жить, несмотря ни на что, ох как хотелось! Ведь мне было всего 16 лет, и весь мой молодой измученный организм всеми своими клеточками протестовал против смерти в таком возрасте. И, в конце концов, я все же отыскал в своей памяти имя того человека, которого можно было назвать следователю.

«НАЖИВКА» ДЛЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ

У одного из маститых советских писателей я как-то прочитал: «Строго говоря, не существует страданий физических. В страдании всегда заключен элемент сознания, и, чем выше сознание, тем устранимое боль». С этим можно согласиться лишь в том случае, если ты уверен, что вот сейчас тебе удалят зуб и боль кончится. Хотел бы я спросить у автора того высосанного из пальца утверждения: «Как можно включить элемент сознания, когда тебя зверски избивают и окровавленного, в бессознательном состоянии, бросают в холодный, сырой подвал, в жуткий гроб, где ты должен дрожать от холода и, вдобавок, отбиваться от свирепых крыс до утра? А потом все опять повторится сначала». И завтра, и послезавтра — до бесконечности. По собственному печальному опыту знаю, что человеческий организм имеет предел физических страданий, когда никакие включения «элемента сознания» помочь не могут.

И вот, когда я опять оказался в камере, передо мной встал вопрос: каким образом я могу прервать дальнейшие пытки? А они мне были страшнее смерти. Я уже писал, что решил покончить жизнь самоубийством, но этого сделать мне не удалось. План о самоубийстве я держал, как основной способ избавиться от нечеловеческих мучений, которым подвергал меня безжалостный следователь. Но был и второй вариант — это назвать того человека, который

меня «завербовал». И я решил попробовать этот второй вариант. Но прежде, чем говорить о человеке, которого я надумал «заложить» следователю в качестве наживки, надо вернуться в мое колхозное прошлое.

... 1938 год был для меня знаменательным. Как-то так получилось, что в том году я обогнал по росту всех своих сверстников и так потяжелел, что боронить верхом на лошади уже не годился. Наши заморенные лошаденки и без того еле таскали ноги. И мне пришлось стать за чапиги конного плуга. Помню, мы пахали пары, то есть готовили пашню для посева озимой ржи. В те годы почему-то все колхозы сеяли очень много ржи и совсем мало пшеницы.

Середина лета — самое жаркое время года. Одолевал гнус. А наши колхозные лошади еще не оклемались от зимней бескормицы. Упадет иная в борозду, ты ее бичом, а она, бедняга, только вздрагивает от удара да повернет к тебе голову и смотрит со слезами и с укоризной в глазах. Только не скажет, что мол, ты делаешь, подлец, неужели не видишь, что нет у меня моченьки, чтобы подняться, а не то, что плуг волочить? А бригадир требует норму. Вечером кричит: «Почему ты, Данилка, мало пахал?» Не работа, а сплошное расстройство.

- 40 -

Вот где-то во второй половине июля приезжает наш бригадир на культстан и во время обеда объявляет, что пахать мы больше не будем.

— Как не будем? Почему не будем? — посыпались вопросы.

— Наш председатель договорился с администрацией лагеря о том, что они нам будут пахать пары на тракторах, а мы на своих лошадях будем убирать для них сено, — пояснил бригадир.

Лагерь имел мощные гусеничные трактора марки ЧТЗ, непригодные для работы на сенокосе. На них зимой заключенные трелевали лес из тайги к берегу Чулыма, а летом они стояли без дела. Сообщение бригадира нас очень обрадовало. Работа на сенокосе тогда считалась легкой и чистой. Да и гнуса на лугах было поменьше.

И вот мы не сеноуборке. Наша бригада была сформирована в основном из молодежи. Поселились мы в балаганах на берегу Чулыма. Питание общее, колхозное, главное, без нормы — ешь, сколько влезет. И ели мы помногу, поскольку пища наша колхозная была не сытная, постная. На сенокосе было хорошо еще и тем, что после работы можно было искупаться в реке в свое удовольствие, а по вечерам девки водили хороводы, плясали «Подгорную» или «Сербияночку». Парни стояли тут же, образовав круг, и не спускали глаз со своих зазнок. А потом, попозднее, все расходились парочками и упивались любовью чуть не до утра. Это было самое счастливое время в моей жизни, оно будило потом во мне самые светлые воспоминания. По договоренности с администрацией лагеря мы должны были грести сено конными граблями и складывать его в копны, а заключенные уже метали его в стога. Работа была организована так, что мы, вольные, не могли иметь контактов с заключенными. Мы гребли и копнили с большим опережением, так что между нами и зеками был большой разрыв и во времени, и в расстоянии.

Работа уже подходила к концу. Тех, кто постарше, бригадир отозвал с сенокоса на другие работы, нас осталось совсем немного. Кормить нас стали все хуже и хуже. И вот, однажды, бригадир поехал в деревню за продуктами, а меня оставил вместо себя. Уехал и не вернулся. Несколько дней мы питались оставшейся мукой, варили из нее затируху. Для непосвященных

могу пояснить, что это было за блюдо. В ведре кипятили воду, подсаливали ее, потом засыпали муку, хорошенько разбалтывали и, когда вся эта масса закипала, густела, затируха была готова к употреблению. Вот такая бурда нам заменяла и первое, и второе, и хлеб.

После работы к нашим шалашам приходил заключенный-бесконвойник. Он выполнял роль прораба, и мы с ним обсуждали план работы на завтра.

- 41 -

В тот раз я ему сообщил, что у нас кончились продукты и назавтра мы не сможем работать, поскольку есть нечего.

— Да, дела у вас неважные, — посочувствовал собеседник. — Но ничего, ребята, не расстраивайтесь. Я сегодня уйду пораньше с работы и попробую договориться с начальником лагеря, чтобы помочь вам с продуктами.

Назавтра утром к нашим балаганам подошла машина, и прораб крикнул мне:

— Забирайте хлеб!

А потом, соскочив на землю, он обратился ко мне с просьбой ускорить греблю и копнение, поскольку метать зекам уже почти нечего.

Когда моя бригада ушла на работу, прораб сказал мне, что когда подвезут обед заключенным, все мы должны идти туда же. Он обещал договориться с конвоем, чтобы тот не препятствовал нам. Вот так впервые за все время нашей совместной работы мы пошли в «гости» к зекам. Когда мы приблизились к ним почти вплотную, нас встретил прораб и сказал, чтобы мы шли к бочке, из которой разливали баланду зекам. Он сам налил нам большое ведро супа, а на второе наложил каши. Заключенные уже все пообедали и теперь издали наблюдали за нами, недоумевая, откуда это мы тут взялись. К нам подошел один из зеков, поздоровался и спросил:

— Ну, как, ребятки, вкусный обед-то?

И сам же ответил:

— Конечно, вкусный. Вишь, как вы его уплетаете, даже жмуритесь от удовольствия, как котята. Ну, кушайте, кушайте на здоровье, не стесняйтесь, да говорите спасибо дяде Жоре. Я человек добрый, вот поэтому и угощаю вас.

Он был высокого роста, широк в плечах. Массивный раздвоенный подбородок придавал ему вид мужественный и серьезный. Левую щеку его украшал глубокий рваный шрам. Все в облике этого человека говорило о том, что ему довелось побывать в переплетах. На левой руке его я увидел татуировку «Жора». И сразу догадался, что это и есть тот самый бандюга, о котором как-то говорил прораб, что ему дали помощника из уголовников и что это страшный человек. Последний срок он получил за то, что где-то на Украине вырезал целую семью — мужа, жену и троих детей. Ему дали расстрел, но Верховный Совет его помиловал.

— Его боится вся зона, — рассказывал прораб. И вот этот человек разговаривает с нами, деревенскими пацанами.

— Слушайте, господа колхозники, а почему вы все ходите и работаете босиком? У вас что, обувь

ничего? — посочувствовал он.

Мы смущенно молчали.

— Но если это так, то я вас завтра всех обую, а то нехорошо получается — на сенокосе и босиком, ноги-то у

- 42 -

вас, небось, не дубленые. Так что не горюйте, ребятаки. Только прошу помнить дядю Жору Цыбулю. Я человек добрый.

Он совсем уж, было, собрался уходить, но вдруг обратил внимание на одного из наших парней по имени Егор, но его по имени никто не называл, а все в деревне звали «Халтуриным». Почему его так называли, я уже не помню, а помню только, что он смахивал на дикобраза. Он никогда не подстригал и не расчесывал свою шевелюру, волосы торчали на его голове свалывшимися клочьями в разные стороны. Лица его никогда не касалась бритва, жидкая рыжая щетина на его редко мытой физиономии походила на щетку, которой расчесывали лен наши деревенские женщины. Одет он был в заплатанную холщовую рубаху с чужого плеча и такие же порты. Наш «благодетель» Жора, проходя мимо Халтурина, заметил, что по его рубахе ползет крупная черная вошь. Жора наклонился к Халтуруину, как бы желая поближе рассмотреть безответного колхозника и что-то, видно, шевельнулось в его бандитской душе.

— Как звать тебя, мил-человек?

— Ягор, — понуро назвался Халтурин.

— Ягор, — передразнил Цыбуля. — Слушай, Ягор, ты когда-нибудь хоть харю-то мыл?

— Не знаю, — честно признался Егор.

И это похоже было на правду. Зимой Халтурин топил печку в колхозной конторе, там же и спал на русской печи, которую почему-то не выбросили после того, как хозяина дома раскулачили и расстреляли в 1930 году, а семью выслали в верховья Чичка-Юла.

— Слушай, Егор, а ну быстро снимай с себя всю одежду, — скомандовал Цыбуля.

Наш Егор не понял, что хочет от него этот непонятный зек, и смотрел на него с недоумением и даже со страхом.

— Я тебе говорю, — уже кричал Цыбуля, — немедленно раздевайся догола!

Бедный наш Халтурин никогда ни в чем и никому не прекословил, потому и на этот раз беспрекословно подчинился неожиданному требованию незнакомца. И, глядя снизу вверх на Цыбулю, принялся покорно стаскивать с себя вшивое рваньё. Когда он разделся, Цыбуля подцепил на вилы этот хлам и бросил его в костер. Затем, отлучившись ненадолго, он преподнес Халтуруину почти новое белье: брюки и верхнюю рубаху.

— Бери, сынок, носи на здоровье, да помни дядю Жору. Я человек добрый.

И тут же поспешил к своим зекам.

— Кончай перекур! — заорал он. — Обед закончен! Часа через два мы наблюдали такую картину: по сенокосу бежит зек, а за ним с огромной палкой гонится Цыбуля и

- 43 -

бьет его на ходу по голове, спине со всей силы, видно, за какую-то провинность. Вот тебе и «добрый дядя Жора».

Потом мне не однажды пришлось встречать таких подонков вроде Цыбули, которые могут и покуражиться для понта, а могут вырвать тебе глотку ни за понюх табака. А в тот раз мы, каждый про себя, конечно, завидовали Халтурину. А как же — нежданно-негаданно привалило такое счастье человеку!

Назавтра прораб принес нам лапти. Оказывается, Цыбуля не забыл своего обещания. А еще через день мне прораб сообщил, что прошедшей ночью Цыбулю убили сами зеки в жилой зоне. Убили люди кавказской национальности. Кому-то из них, видать, он крепко насолил. В тот же вечер за нами приехал наш бригадир, и мы вернулись в свой родимый колхоз имени Ворошилова...

И вот я снова на допросе у моего следователя Похилько. На этот раз я знал, какую ему подкинуть «наживку». Глядишь, клюнет. А потому и держался более независимо, чем обычно.

— Почему это ты, арестованный Алин, перестал здороваться? — с удивлением заметил Похилько.

— Гражданин следователь, я не могу желать вам здоровья, — дерзко возразил я, — в то время, когда вы желаете превратить меня в инвалида или даже убить.

— Ну ладно, ладно, свои обиды ты будешь высказывать потом, а сейчас все тот же вопрос: кто ОН?

— Цыбуля, — вот его фамилия, — спокойно выложил я. Похилько даже поперхнулся дымом папиросы от неожиданной радости. Он быстро схватил ручку.

— Алин, повтори фамилию!

И я отдельно ему продиктовал:

— Цыбулько. А вот имени и отчества его я не знаю. Но я видел на его руке татуировку «Жора».

— Кто он?

— Заключенный. В данное время находится в Каштаковском ОЛП ТомАсинЛага.

— Когда, где и при каких обстоятельствах произошла вербовка?

И я рассказал следователю о встрече с Цыбулько на колхозном сенокосе и о, якобы, состоявшейся там «вербовке». И обрадованный следователь клюнул на эту «наживку»! Я даже и сам не ожидал, что так легко обведу его вокруг пальца.

Конечно, я шел ва-банк. Следователь в этой игре ничего не терял, а я ставил на карту свою жизнь. Если рассуждать логически, то получается абсурд. Ну, разве можно было поверить, что

какой-то бандюга-мокрушник по уголовной «специальности», который всю жизнь сидит в тюрьмах и лагерях, лет 50 от роду, вдруг предложил мне, 15-летнему

- 44 -

пацану такое! Если даже допустить, что нам каким-то образом удалось побыть наедине, как бы он мог мне довериться, не зная, кто я такой? А может, я тут же побежал бы в НКВД и сообщил о его антисоветской агитации? Между прочим, в то время я скорее всего так и сделал бы. Ведь нас с самой соски воспитывали быть такими, как знаменитый Павлик Морозов. Расскажи я кому другому даже в те страшные времена, что я был завербован в повстанческую организацию вот таким человеком, каким был Цыбуля, надо мной бы только посмеялись или сочли бы сумасшедшим. Но мой следователь Похилько, старший сержант по воинскому званию, старший следователь Прокопьевского горотдела НКВД по должности ПОВЕРИЛ! Просто уму непостижимо. И ведь поверил в эту мою сказку не только он, а и другие его коллеги: старший следователь группы областного управления НКВД капитан Ястребов, начальник следственного отдела управления майор Кудрявцев, помощник прокурора по Новосибирской области Рогов. Все они поставили на моих показаниях единогласную резолюцию: «СОГЛАСЕН».

Так что никакая логика тут, наверняка, была ни при чем. Им было важно, что найден субъект, а объект они ему завсегда подберут. И, конечно, находили и подбирали. И стряпали миллион приговоров. Разыгрывался кровавый спектакль сплошных абсурдов. Итак, проработав с полмесяца над моей версией, мы с Похилько закончили труд. Похилько был ужасно доволен таким результатом. Наконец-то у него все концы сходились с концами. И теперь он с полным основанием мог рассчитывать на какое-то поощрение со стороны чуткого руководства за свое усердие. А мне предстояло ожидать решения своей дальнейшей судьбы.

ЗИГЗАГИ СЛЕДСТВИЯ

Казалось бы, муки следствия были позади. Я подписал на себя все, что нафантазировал следователь Похилько. Назвал я ему человека, который меня «сагитировал» на поднятие восстания против родимой Советской власти в масштабах всего необъятного Союза.

Но вот я опять в кабинете моего следователя и мне предлагается неожиданный вопрос:

— Это ваш журнал?

— Что за журнал вы имеете в виду?

— Вот он, лежит у меня на столе. Можете взять его и посмотреть.

Я взял и посмотрел. Это был журнал «Партийное строительство», изданный в 1938 году. И он действительно до ареста принадлежал мне. В этом номере были напечатаны призывы ЦК ВКП(б) к празднованию 1 Мая. Начиная с 1 класса, я постоянно выступал на праздничных вечерах, посвященных 1 Мая, очередной годовщине Октября. Выступал как представитель школы. И, между прочим, готовился к своим выступлениям самостоятельно, подбирая подходящие случаю цитаты из периодики. С той благой целью я и купил в книжном киоске данный журнал, который почему-то заинтересовал следователя. При подготовке к выступлению я наоставлял в журнале немало всяких пометок. Так вот Похилько и заинтересовался: что значат вот эти подчеркивания? Что значат вот эти скобки? Что означают замечания: «нужно?», «не

нужно» и т.д.

И вот я должен был дать по каждой пометке исчерпывающие объяснения.

— Значит, журнал ваш?

— Да, мой.

— Все слова и все подчеркивания сделаны вашей рукой?

— Да, это делал я.

— А почему вы писали вот здесь «нужно», а вот здесь «не нужно»?

— Но, гражданин следователь, я же вам уже объяснял, что, если я хотел какую-то цитату вставить в свое выступление, я писал: «нужно», а в других случаях «не нужно» и т.д. Вы что, усматриваете в этом какой-то криминал?

— Об этом мы еще поговорим, разберемся, — ничего доброго не обещающим тоном возразил Похилько. — Вот скажите лучше, арестованный, что означает ваша запись на последней странице журнала: «Народные массы должны сплотиться и вооружиться. Сталин». Эта запись сделана вашей рукой?

— Да, это писал я.

— А что ты скажешь о содержании этого призыва?

— Я эту цитату Сталина где-то вычитал.

- 46 -

—Прошу уточнить: когда, где вы могли вычитать такое?

— Я уже не помню — не то в «Кратком курсе Истории ВКП(б)», не то вот в этом же журнале. Разве все упомнишь? Я ведь очень много читал, несмотря, что еще такой молодой.

— Да, это видно, что вы читали много, — признал следователь. — Только вот мне непонятно: для чего вы читали так много?

Следует заметить, что допрос по этому журналу на том был закончен. Между прочим, этот партийный журнал был арестован вместе со мной в 1939 году и пролежал в моем следственном деле до 1989 года как вещественное доказательство моей контрреволюционной деятельности!

В 1989 году я был реабилитирован, и этот злополучный журнал мне вернули. Теперь он хранится у меня дома как семейная реликвия.

Поинтересовавшись, нет ли у меня чего добавить к сказанному по поводу журнала, Похилько предложил мне подписать протокол, а потом, как бы, между прочим, заметил:

— Если я предложу тебе написать письмо родителям, ты не будешь возражать?

— Гражданин следователь, я не понимаю, к чему вы клоните, — заподозрив подвох, возразил я.

— Почему такое недоверие? — ехидно улыбнулся Похилько. — Если у тебя есть желание

написать домой письмо, то пожалуйста. Я предоставлю тебе такую возможность без всякого подвоха. Я даю тебе ручку, чернила, бумагу, садись за мой стол и пиши. Ты ведь ходишь-то в летней одежде, а сейчас уже конец декабря. Лишнего ничего не пиши, особенно про следственные дела и проси родителей, чтобы выслали посылкой тебе теплую одежду. А вот продукты пусть они тебе не посылают. Ты все понял?

— Да, понял.

— Тогда садись и пиши.

Я сел за стол и написал маме письмо о том, что «я пока жив и здоров, чего и Вам желаю. Прошу выслать мне посылку с теплыми вещами, но продуктов не кладите — нельзя. А пока — до свидания, целую всех сестер, (у меня их было четыре) и особенно тебя, мамочка! Твой сын Даниил».

— Все, идите в камеру, — распорядился Похилько. — Я сам запечатаю ваше письмо и отправлю. До свидания.

И больше я его никогда не видел. А жаль. Хотелось бы повстречаться, но только не на допросах, а при других обстоятельствах, на нейтральной почве.

Потом я долго ломал голову над тем, что же произошло с моим тираном? Я никак не мог поверить, что вот такой злодей, как Похилько, мог превратиться в благодетеля, который проявил заботу обо мне, что я хожу в летней одежде, а на улице мороз под сорок жмет. Я не мог поверить,

- 47 -

что мой следователь вдруг из садиста превратился в порядочного человека. Этого никогда не было и быть не могло. Такое чувство меня не обмануло, в чем примерно через месяц я и убедился. Но об этом несколько позже. А сейчас я хочу сказать несколько слов о другом человеке, имевшем непосредственное отношение к моему делу. Да и не только моему, а к делам других людей. Я думаю, этот человек являлся эталоном всей карательной системы большевистского кровавого произвола. Фамилия этого человека Ястребов. Когда он входил в кабинет моего следователя, мне казалось, что он своим огромным телом заполнял все пространство помещения. Двухметровый гигант врывался в кабинет с удивительной легкостью, с приплясом, словно продолжал выкидывать коленце «цыганочки», начатое еще на просторе огромного коридора. И обычно напевал единственную и, наверное, очень любимую им частушку:

Вы для меня — тарелку супу,

А я для вас — тарелку щей.

Когда вы здесь, то я скучаю,

Когда вас нет, мне веселей.

А потом долго и громко смеялся от удовольствия, которое ему явно доставлял его же опус. Затем он подходил ко мне, хватал за горло и говорил:

— Ну что, щенок, попался в наши лапы? Значит, захотел завладеть царской короной и править всей Русью? Не вышло, гаденыш, и ни у кого не выйдет, ты это запомни!

А потом обращался к своему подчиненному Похилько и кричал:

— Сколько же ты будешь валандаться с этой соплей? Все твои сроки кончились, и мне опять придется обращаться к прокурору РСФСР с просьбой о продлении срока следствия!

Этот Ястребов занимал пост старшего следователя группы следственного отдела НКВД. Следственный отдел был разбит на несколько групп, каждый из которых руководил опытный костолом. Он являлся вроде дирижера в этом слаженном ансамбле. Он очень часто приходил в кабинет под турахом и тогда любил рассказывать разные истории из своей или тюремной жизни. Одна история особенно мне запомнилась.

— Ты знаешь, коллега, — обращался он к Похилько, — произошла такая комедия. Коробка этой тюрьмы была уже готова, пол настелен, но наступили уже холода, а тюремный двор был забит до отказа этими врагами. Что делать, куда их, гадюк, девать? Область-то большая. Расстреливать не успевали, а их все прут и прут. И тогда решили камерные перегородки сделать вместо кирпичных деревянными, в качестве временной меры. Так что они придумали? Прodelали дырки в досках и сначала переговаривались, а потом эти дырки увеличили и пошло у них, сам знаешь что.

- 48 -

— А что, женские камеры находились рядом с мужскими что ли? — заинтересовался Похилько.

— Да, тогда некогда было разбираться. Но потом мы их по-быстрому тово, короче говоря, расстреляли всех. И женщин и мужчин. А потом тройка задним числом проштамповала на всех расстрельное постановление.

Все свои рассказы Ястребов всегда сопровождал громким хохотом. И хохотал он так громко и с таким упоением, что тряслись оконные рамы. А мне казалось, что от таких страшных историй должен бы рухнуть потолок. Но ничего не рухнуло. Кабинеты НКВД прочные, они повидали многое. Похилько тоже слушал эти рассказы с огромным вниманием и, наверное, жалел, что он такой еще молодой и ему не представилась возможность видеть столь интересные картинки из человеческой трагикомедии.

Примерно через полмесяца я снова в кабинете следователя. Но не Похилько. На этот раз за столом сидел пожилой человек в очках. Он предложил мне присесть и начал разговор вполне вежливо:

— Так, гражданин Алин, будем знакомы. Моя фамилия Никитин. Ваше дело поручено мне, чтобы я его закончил и передал в суд. Но прежде я должен представить вам ваше дело для ознакомления согласно закону УПК РСФСР. А сейчас садитесь вот за этот стол и читайте все, что вы наработали с Похилько.

Когда я увидел свое дело, то очень удивился его толщине. Это была папка, заключающая в себе 370 листов! Откуда только и чего тут набралось столько?

И вот смотрю первый лист. Вот характеристика Чердатской средней школы: «Алин Д.Е., обучаясь

в нашей школе, проявил себя с отрицательной стороны по части дисциплины. На уроках часто вступал в пререкания с преподавателями. С некоторыми научными работами был не согласен и часто высказывал свое личное мнение, которое противоречило нашей советской науке. Однажды одной из преподавательниц он задал такой вопрос: «Нина Сергеевна, скажите мне, почему обезьяна, породив человека, сама предпочла остаться обезьяной?» Это говорит о том, что он не верит в учение Дарвина. Он часто высказывал свое несогласие с политическим курсом нашей коммунистической партии. Алин однажды исключался из школы за половую распущенность...»

А вот с какого класса меня исключили, в характеристике почему-то не было указано (может, с первого или со второго класса?), и в чем конкретно выражалась моя половая распущенность — тоже молчок (может, кто от меня забеременел?) Словом, наплетено было в этой характеристике такое, что ни в какие ворота не протолкнешь. На самом деле, я никогда из школы не исключался и в половой распущенности грешен не был. В 1979 году мне довелось встретиться с

- 49 -

человеком, который подписал ту характеристику. При нем я начинал учиться, при нем и было прервано мое учение по причине ареста. Это Мельников Андрей Моисеевич. Во время беседы я его спросил:

— Что заставило вас написать такую, мягко говоря, необъективную характеристику?

— Я писал то, что диктовал мне твой следователь, — откровенно признался Андрей Моисеевич.

— Ты же был объявлен врагом народа, а у врага народа не могло быть положительной характеристики. Так мне объяснил следователь.

Вторая характеристика была из колхоза. Она гласила следующее: «Алин Д.Е. является сыном колхозника-белогвардейца (!), к труду относился недобросовестно, часто не выходил на работу». И подпись: председатель колхоза — такой-то. Ну, тут уж вообще накручено сверх всякой меры. Взять хотя бы это удивительное словосочетание «колхозник-белогвардеец», которого вообще не существовало, и существовать не могло даже при уродливых понятиях нашего тоталитарного государства. А потом в характеристику для «объективности» надо было вставить, что зимой я вообще не работал в колхозе, поскольку учился в школе. Это было бы совсем хорошо для НКВД. А по существу: я ведь тогда и колхозником-то не мог считаться по причине малолетства, а жил на иждивении родителей. Третья характеристика была написана в сельсовете: «Алин Д.Е., работая учителем в ликбезе, самовольно прекратил занятия и своими действиями сорвал дальнейшее обучение наших колхозников». Таким образом, я сознательно тормозил дальнейшее просвещение наших советских людей. Так квалифицировал мои действия следователь Похилько. На что я ему пояснил, что на мои занятия с неделю ходили три старухи и два старика, которые не захотели больше обучаться в ликбезе, поэтому я и прекратил занятия. Но Похилько оставил мои пояснения без внимания. Читая дальше мое дело, я обнаружил два любопытных документа. Один из них гласил: «За недоказанностью улик производством по делу расследования гр. Алина Д.Е. прекратить и последнего из-под стражи освободить. Зам. прокурора Рогов». Однако второй документ перечеркивал первый: «Улики не доказываются, а собираются, поэтому производство по делу расследования гр. Алина Д.Е. продолжить. Прокурор области. Такой-то». Следующий лист дела:

«На ваш запрос отвечаем, что з/к Цыбуля действительно находится на ОЛП ТомАсинЛага, но

этапировать его во внутреннюю тюрьму гор. Новосибирска невозможно потому, что он находится на излечении в стационаре. Травма головы (рубленая рана)». И подпись: начальник спецчасти, такой-то. «На ваш запрос, был ли з/к Цыбуля на бесконвойных работах летом 1938 года, отвечаем, что з/к Цыбуляна

- 50 -

бесконвойных работах никогда не был». И опять подпись начальника спецчасти. Стало быть, меня тот прораб на сенокосе информировал неверно. Оказывается, Цыбулю рубили, но не дорубили. И последнее, что я увидел к моему удивлению, — это мое письмо. Оно все было испещрено какими-то цифрами, градусами. На мой вопрос по этому поводу следователь Никитин мне объяснил, что следователь Похилько направлял мое письмо на графическую экспертизу для установления идентичности почерка в письме и пометок в журнале «Партийное строительство», приобщенного к моему уголовному делу. Только теперь я понял, что никакой «метаморфозы» с моим Похилько не произошло. Это была очередная подлость с его стороны. А вот, надо отметить, Никитин отправил мое письмо родителям.

Ознакомившись с делом, я подписал 206 статью об окончании следствия. Но прежде, чем попрощаться со следователем, я обратился к нему с просьбой:

— Гражданин следователь, нельзя ли меня перевести в другую камеру? А то я сижу в одиночке уже пять месяцев.

— Ладно, я разберусь с этим и узнаю, почему вас держат в одиночке, — пообещал Никитин, — пока до свидания.

И вот тогда-то и открылся весь ужас моего положения...

В КАМЕРЕ СМЕРТНИКОВ

Дня через четыре после того, как я подписал 206 статью, в мою камеру втокнули молодого человека. Знакомимся. Звали моего очередного сокамерника Андрей Бауков. Сидел тоже в одиночке, через три камеры от моей — в 27-ой. Из дальнейшего разговора выяснилось, что он уроженец села Чердаты, то есть мой земляк. Но в 1931 году их семью выслали на Чичка-Юл, где до того не ступала нога человека. Жили в землянках, питались в основном колбой, ели ее и в сыром виде, и в вареном. Подбалтывали отрубей, которые выдавала комендатура по три килограмма на человека в месяц.

— Но мы там долго не прожили, — рассказывал Андрей. — Малые дети все повымерли, а мы с матерью сбежали на плоту вниз по Чулыму. Отец был арестован в 1930 году, еще до ссылки. Вот таким образом мы добрались до Чердат. Жили у родственников, скрываясь в подпольях, на полатах, в бане. Потом перебрались в Семеновку, куда вернулся отец из тюрьмы. И уже вместе подались в Томск, осев в поселке Черемошники, где и были арестованы вместе с отцом.

Сидел мой сокамерник уже 11 месяцев, его обвиняли в том, что он знал о контрреволюционной деятельности отца и не сообщил об этом в органы НКВД. Дали Андрею за недоносительство 58 статью пункт 12. Недолго нам пришлось посидеть вдвоем. Через неделю Андрея куда-то увели, а я снова остался один. Я рассказал об этом человеке потому, что наши судьбы, оказывается, были тесно увязаны в недрах НКВД — арест его отца непосредственно повлиял на мой арест, также моего отца, Савелия Степановича и Флора Ильича. Но об этом поподробнее несколько

позже.

Я снова в кабинете моего нового следователя Никитина. Когда я вошел, то сразу увидел посылочный ящик, стоявший на столе. Никитин взял нож и при мне вскрыл посылку. В ней сверху лежал конверт. Никитин, не читая, передал его мне. Распечатав письмо, я увидел почерк моего отца. От огромной радости, сразу охватившей меня, я впервые за полгода, проведенные в застенках НКВД, заплакал. Значит тятя на свободе! Ну разве это не радость? Следователь, видя мое душевное состояние, деликатно отвернулся, делая вид, что ничего не заметил. Но он, конечно, догадывался, почему я плачу. Кстати надо сказать, когда я освобожден через семнадцать лет, отец мне рассказал, что его дело вел следователь Никитин. Он же его и освобождал. Вот если бы и я попал к такому следователю, то и меня наверняка освободили бы. Были все же и в те страшные времена порядочные люди в бесчеловечных органах.

Месяц меня потом никто никуда не вызывал. Немало километров я прошагал за это время по своей тесной камере

- 52 -

— четыре шага от двери до передней стенки и столько же обратно. И, наверное, прошел, таким образом, путь, равный половине длины экватора. Я до сих пор удивляюсь: почему не заболел душевной болезнью, научно именуемой клаустрофобией (боязнь замкнутого пространства). Может быть, меня спасло то, что я каждый день посещал тюремного врача. Это очень симпатичная доброжелательная женщина, которая самоотверженно боролась с моими чирьями, осыпавшими все тело. Чирьи были очень мелкие, но весьма болючие. Появились они в результате деятельности Похилько, после пребывания в холодном сыром подвале, да еще при полном истощении и при жестоких истязаниях. Но вот открывается «кормушка» и опять:

— Кто на букву «А»?

Я нарочно не подхожу к двери, а надзиратель с удивлением смотрит на меня и, похоже, ничего понять не может. Минут пять продолжалась эта немая сцена. А потом он поманил меня пальцем и, когда я приблизился к кормушке, спросил, почему это я не реагирую на его вопрос.

— А я, гражданин надзиратель, думал, что в моей камере есть еще человек на букву «А», — с самым серьезным видом пояснил я.

Он понял меня и заговорщически подмигнул. Видимо, и ему не представлялась умной эта дурацкая процедура: «Кто на букву «А»?», когда в камере сидит всего один человек.

— Ладно, собирайся на допрос!

Теперь я уже не боялся мороза, поскольку был одет в зимнее одеяние, присланное мне родителями в посылке. Выхожу. Но ведут меня не туда, куда я привык ходить, а совсем в другую сторону этой цитадели зла. И садят в «Черный ворон», на котором привезли сюда полгода назад. Я оказался на огромной территории, огороженной колючей проволокой. Передо мной огромное красное многоэтажное здание, куда и ввел меня конвоир. Он усадил меня на диван в коридоре, а сам удалился, приказав ждать его и с места никуда не сходить. Минут через 20 открывается одна из дверей, выходит очень высокого роста человек в военной форме и приглашает меня в свой кабинет. Это был очень большой кабинет. Посреди его — стол,

накрытый красной скатертью. По обе стороны стола мягкие кресла.

— Садитесь.

И вот я, впервые за всю мою жизнь, сел в мягкое роскошное кресло.

— Вы знаете, где вы находитесь? — обратился ко мне хозяин кабинета.

— Нет, не знаю, — ответил я.

— Вы находитесь в штабе Сибирского военного округа, а я являюсь заместителем главного военного прокурора СИБВО. Моя фамилия Додон. Ваше дело поступило к нам

- 53 -

для последующего его направления в суд военного трибунала, обстоятельно пояснил мне собеседник и тут же поинтересовался:

— Вы служили в рядах РККА?

— Я не мог служить в РККА, — возразил я, — потому, что, когда меня арестовали, мне было всего 16 лет, и я учился еще в шестом классе.

Прокурор очень внимательно посмотрел на меня и продолжил свои вопросы. Этот допрос или собеседование продолжалось два часа. А в конце разговора мой собеседник поинтересовался:

— На допросах вас били?

— Да, — подтвердил я.

А он, наверное, и сам знал об этом. На том допрос был окончен. И опять я в камере № 24. Теперь я ежедневно хожу на прогулку, гуляю по каменному мешку по 15 минут. Однажды на прогулку меня вывели сразу после обеда и я, впервые за полгода, увидел солнце. От такой неожиданности я даже остановился и залюбовался нашим светилом, о существовании которого стал уже забывать. Но тут же последовал окрик часового:

— А ну, прекрати стоянку!

Я попытался уговорить его, чтобы он разрешил мне полюбоваться на солнце, которое я не видел целых шесть месяцев. В ответ часовой угрожающе передернул затвор винтовки и закричал:

— Продолжай ходить!

... 1 марта 1940 года. Вечер. Дружные воробушки все продолжали прилетать к окну моей камеры. Им, видимо, понравилось это облюбованное место. А может прилетали потому, что я, ожидая их, открывал форточку, из которой они получали желанное тепло. Значит, перезимовали благополучно милые птицы, чудные божьи создания. Любуясь в этот раз моими пернатыми друзьями, я и не подозревал, что это было последнее наше свидание. Назавтра после обеда надзиратель объявил, чтобы я приготовился с вещами. И вот я в третий раз в «Черном вороне». Передо мной очень красивое белое здание. Это фасад огромной областной тюрьмы. Значительно позже, когда я оказался в Новосибирском концлагере, узнал, что эту тюрьму зеки именовали «белым лебедем». Оказывается, бывает юмор и такого пошиба.

После бани и очередного шмона я очутился в камере № 8 особого корпуса. Длина камеры 5 метров, ширина 1.2, высота потолка тоже не менее 5 метров. Там в особой нише горела лампочка, защищенная толстой стальной решеткой. Осмотревшись, я обнаружил в передней стенке камеры отопительную батарею, закрытую жестью в 3-4 мм толщиной. Небольшой железный столик был наглухо забетонирован в пол всеми своими ножками, очень прочная стальная

- 54 -

койка тоже вбетонирована в пол. Все здесь было сделано очень основательно, на века. На столе стоял чайник, наполненный кипятком, рядом с чайником лежала совсем свежая, чуть початая пайка хлеба, а около нее размятая головка чеснока и щепотка соли. Значит, кто-то совсем недавно собирался потрапезничать за этим столом, но кто-то или что-то помешало ему это сделать. В моей голове промелькнула страшная мысль. И эта догадка подтвердилась через несколько часов. На койке было расстелено почти новое и прекрасного покроя мужское пальто. Значит, его владельцу оно больше уже не потребуется. А под койкой я обнаружил небольшую лужу крови... Боже ты мой! Куда я попал? Нетрудно было догадаться, что совершилось в этой одиночной камере несколько часов назад. Какое злодейство!!!

К этому времени я уже немного отошел от шока, в котором находился в первые дни моего пребывания в тюрьме, а тут на меня снова навалилась прежняя безысходность и смертельная тоска. Меня заколотил нервный озноб, и охватила какая-то злая истерика. Я начал судорожно хватать все, что попадет под руку, и швырять в распроклятую стальную дверь камеры. Туда полетели пальто и пайка моего предшественника, чайник с чаем, наделавший грохоту. А потом я повалился на стальную решетку тюремной койки и безутешно зарыдал.

Очнулся я оттого, что кто-то усиленно тряс меня за плечо. Приоткрыв глаза, я увидел, что это был надзиратель. А в дверях камеры стоял человек, тоже в энкаведешной форме с четырьмя кубарями в петлицах. Это был, как выяснилось, дежурный по корпусу.

Увидя, что я открыл глаза, надзиратель заорал во всю глотку:

— В чем дело? Что за бардак в камере?! И почему это ты не встаешь, когда в камеру входит ответдежурный?!

Я быстро вскочил с койки и в свою очередь заорал так громко, как только мог:

— Я не хочу видеть вещи человека, которого вы, гады, тут уничтожили!

Ответдежурный молча подошел ко мне, внимательно посмотрел прямо в глаза и так же молча вышел из камеры. Вслед за ним выскочил и надзиратель. Через дверь я услышал такой разговор:

— Что, товарищ капитан, его в шизо?

— Пока не надо, — возразил капитан. — А когда придет смена, передай своему сменщику, чтобы он понаблюдал хорошенько за этим парнем всю ночь. Мне кажется, он невменяем. Кстати, уберите из камеры все вещи его предшественника.

Голоса удалились, а я опять упал на железную сетку кровати. Не знаю, сколько я проспал, а

когда проснулся,

- 55 -

услышал мягкие шаги нескольких человек, которые вскоре затихли в глубине коридора особого корпуса. А через несколько минут я опять услышал такие же шаги и сопение проходящих... И такое хождение продолжалось до самого утра. И тогда до меня дошло, что это уводят людей в подвал, где их расстреливают.

Так повторялось каждую ночь. Я, конечно, не спал и все прислушивался к происходящему в коридоре, с минуты на минуту ожидая, когда придут и по мою душу. Но пока моя Смерть проходила мимо...

Как-то днем, после обеда, в соседнюю камеру посадили, а вернее сказать, приволокли какую-то женщину. Она громко, навзрыд, кричала, приговаривая:

— Я ни в чем не виновата! За что меня сюда?! Мой отец — герой гражданской войны! У меня трое малых детей! А вы меня под расстрел!

Весь Особый корпус слышал этот душераздирающий крик несчастной женщины. И этот крик не прекращался до глубокой ночи. Но вот я слышу опять в коридоре те же тихие зловещие шаги, и мне показалось, что на этот раз они остановились около моей камеры. Сердце у меня замерло. Но я ошибся. Гремели затворы соседней камеры. И там дико закричала женщина, но тут же смолкла на полкрике, видимо, в рот ей всадили резиновый кляп. А через несколько минут затихшую узницу проволокли по коридору в направлении расстрельного подвала.

И наступила мертвая тишина, которую вскоре нарушили знакомы вкрадчивые ШАГИ. Особый корпус продолжал жить своим порядком. Я до сих пор не могу понять, как я все это выдержал и не сошел с ума? Правда, мои виски тогда засеребрились сединой. Это в те годы мои семнадцать лет! Под впечатлением всего пережитого я сочинил в один из тех жутких дней такое вот стихотворение, которое и нацарапал ногтем на стене камеры:

За кирпичной тюремной стеной,

В камере номер восьмой,

Один в том в подвале холодном

Сидел арестант молодой.

Бедняга, он долго томился —

С Москвы все кассации ждал

Верховный ответил отказом,

Но узник об этом не знал.

Тюремная дверь отворилась,

За парнем явился конвой.

И сердце, как птица, забилося

В горячей груди молодой.

- 56 -

Поверь, незнакомый товарищ,

Как горько в тюрьме погибать.

Но вот уж: «На выход!» — сказали,

И поздно теперь горевать.

Винтовочный выстрел раздался,

Он черную ночь разбудил.

Упал арестант, распластался

И очи навеки закрыл.

И мать никогда не узнает,

Где похоронен сынок,

И не принесет на могилу

Дешевый бумажный венок.

Дорогой читатель, прошу не судить меня строго за эти горькие, бесталанные вирши. Это не стихи, это голос вопиющего в пустыне. А внизу под ними я нацарапал на память другим узникам камеры: «1940 год, 21 марта. Д. Алин». Здесь может возникнуть вполне резонный вопрос: почему я, «злостный враг народа», обреченный на смерть целым «букетом» расстрельных статей и уже, будучи помещен в Особый корпус тюрьмы, откуда была только одна дорога — на тот свет, расстрелян все же не был? Мне и самому это долго было непонятно. Каждую ночь я ждал вывода на расстрел, но его так и не последовало...

Много позже я узнал, что мое дело тогда попало в руки удивительного по тем временам заместителя главного военного прокурора Додона, стоящего на букве закона. Он сразу определил, что состряпанное на меня следователем Похилько уголовное дело является филькиной грамотой и завернул его обратно туда, откуда оно к нему поступило с соответствующим заключением. А в следственном отделе НКВД, не долго думая, решили переправить забракованное дело к его истокам, то есть в Зырянский район, где я был арестован.

Вот поэтому 25 марта после обеда надзиратель объявил мне, к моему немалому удивлению и радости, чтобы я приготовился с вещами на этап. Это означало продолжение жизни.

Надолго ли?

- 57 -

К НОВОМУ МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

25 марта 1940 года после обеда мне объявили, чтобы я приготовился с вещами на этап. В 3 часа дня я покинул это страшное заведение и очутился в коридоре, где надзиратель вручил мне булку хлеба и три ржавые селедки. Это был этапный паек на три дня. При выходе на улицу я еще раз оглянулся и в мыслях послал проклятие по адресу восьмой камеры. Мало людей остается в живых при посещении этих камер. И вот я в «отстойнике», где формируются этапы. Небольшая площадка, огороженная колючей проволокой, около тюремных ворот. В этом «отстойнике» уже находилось человек 150, а может, и больше. Но вот открылись главные тюремные ворота. Ответдежурный по тюрьме зачитывал фамилию арестанта, и тот должен быстро подойти к дежурному и назвать: год рождения, статью, по которой привлекался, а если уже осужден, то и срок. По списку я оказался последним и единственным человеком, который имел политическую статью. Так уж мне повезло: по списку последний, значит, и в черный ворон последним. А наше «такси» уже было забито под завязку, поэтому конвою пришлось изрядно потрудиться, чтобы втолкнуть меня в эту живую человеческую массу.

Примерно через час или полтора «ворон» остановился, открылись двери, меня вытолкнули из той душегубки, и я упал на железнодорожное полотно. Падение мое получилось удачным, хотя я сильно ушибся, но кости мои остались целыми. Зато сейчас я оказался в выгодном положении: поскольку первым вылетел из ворона, то и первым заскочил в камеру сталинского вагона и занял лучшее место в «купе». Я устроился на нижней полке в углу около задней стенки. Втолкнув свой «сидор» под нары, я мог спокойненько наблюдать, как военный конвой с остервенением пинками да прикладами вталкивал людей в переполненный вагон. Кажется все уже забито, но конвой считал, что еще можно с десятков-второй втиснуть и втискивали прикладом в спину последнему, а последний изо всей мочи старался влезть во внутрь камеры. А на улице около вагона еще стояли люди, ждали своей очереди, чтобы быстрее попасть в то людское месиво. А в соседней камере уже кого-то били блатные, били конечно, фраеров. Это они во всем виноваты, считали блатные. Это они построили такие неудобные вагоны, которые не расширяются и не растягиваются. Вот поэтому им, блатным, так тесно, так не комфортно. «Что, гадюка, зенки вылупил? Хочешь, чтобы я шнифты тебе выстеклил? Так это я могу! А я тебе говорю — прыгай вниз! Не видишь, что здесь люди находятся?! А твое место там, под нарами!» А тот фраер-то, наверно никак понять не мог, почему это его место оказалось под нарами. Сразу видно, что был новичок

- 58 -

непротертый еще. Ну, ничего, к концу срока все поймет и во всем разберется...

Но вот вроде все устроились и не важно, что люди на полу сидят один на другом, постепенно все рассосется, все устроится. Ведь не животных же везут, а людей. Человек все понимает, все видит. Уж коли надо потесниться, он потеснится, это скотина ничего не понимает. Так что в этом отношении с людьми легче работать: если слово не понимает, то его и по печенке можно угостить. Тогда быстро поймет.

— А что же ты хочешь? Вот ты, например, сколько тебе от роду лет-то? Говоришь, сорок? Да в эти годы-то ты должен детей растить-кормить да воспитывать, а ты в тюрягу устроился. Сколько у тебя сроку-то: восемь, говоришь? А за что же это такой срок-то?

— Да я троих зарубил.

— Кого это ты угрохал?

— Да жену, тещу, а сына-то я как-то нечаянно, просто попал под замах.

— А сколько лет сыну-то было?

— Три года.

— Ах ты, гадюка! И не жалко тебе было сына-то?

— Жалко конечно, да теперь что сделаешь, не вернешь.

— Ну, а жену-то за что?

— Да я ее сволочь прямо в койке с другим прихватил. Жалко, что хахалю ее не успел зарубить, он в окно выпрыгнул. Прямо без штанов и улег.

— Ну вот, а ты плачешь, что много дали. Да тебя надо было разменять, а ты еще живешь, дышишь чужим кислородом.

Вот такой разговор происходил между двумя каторжанами с верхних нар. Разговаривали они потихонечку, чтобы не разбудить других. От Новосибирска до Томска нас везли трое суток, другие крепко спали, а я все это время уснуть не мог, не привык еще. Ну, ничего, привыкнешь! Ко всему привыкнешь, придет время — на ходу будешь спать!

Наконец-то добрались до Томской легендарной тюрьмы. С малых лет я был наслышан об этой тюрьме. В те времена, наверное, не было семьи, в которой кто-то из родственников не сидел бы в ней. Лично в моем родстве в ней начали сидеть в основном с 1929 года. Первым был арестован родной брат моего отца — дядя Андрей. Вслед за ним арестовали двоюродного брата отца — дядю Михайла. А через месяц мы получили весть о том, что они оба расстреляны. За что, ты спросишь? А кто знает за что? В то время миллионы расстреляли и не известно за что.

В 1930 году был арестован мой родной дедушка Иван Ильич. Да не один, а вместе с сыном, моим дядей Петей, которому шел 19-й год. Красавец, весельчак, гармонист! Второго такого гармониста в деревне не было. Но дедушку

- 59 -

не расстреляли, а дали вечную ссылку в далекие таежные места. А дядя Петя сбежал с тюрьмы и скрывался до самой войны, убит на фронте. В 1931 году арестован второй сын дедушки Ивана, дядя Яков, у которого осталось трое маленьких детей. Дяде Якову дали пять лет, а жену его сослали в верховья реки Чичка-Юл в Тегульдетский район. Маленькие-то все там умерли, а жене дяди Якова удалось сбежать с сыном. В 1936 году дядя Яков освобожден, а в 1937 его снова арестовали и расстреляли. Моя старшая сестра Аниса в 29-м году вышла замуж, в 30-м арестовали ее свекра Федора Петровича, через месяц его расстреляли все в той же Томской тюрьме, а мужа Анисы забрали в трудармию, а вернее сказать, на каторгу. И он до 1936 года безвылазно проработал в шахтах Анжеро-Судженских угольных копей. А мою сестру с грудным ребенком вместе со свекровью сослали тоже в верховья реки Чичка-Юл. Выгрузили их с баржи прямо в дремучую девственную тайгу, где еще не ступала нога человека. Поселились они в шалаше и давали им 3 кг отрубей на члена семьи. Это была месячная норма-пайка. По 100 грамм в день. Основную пищу составляла колба, которую они варили и подбалтывали отруби.

Сын-первенец, конечно, умер с голоду, а Анисе удалось убежать и долгие годы скрываться под чужим именем, работая в леспромхозах. В том же 31-м году был сослан туда же второй младший брат нашего отца, дядя Семен, который похоронил там трехлетнего сына и жену. В конце 1932 года был арестован наш отец Егор Матвеевич за то, что колхоз не успел убрать ле, н и часть его завалило снегом. За это было арестовано все правление колхоза во главе с председателем. В 1933 году они были осуждены сроком по 9 лет каждому. А маму исключили из колхоза и не отдали то, что было заработано моими родителями за год. Вот далеко не полный перечень моих родственников, которые в какой-то степени имеют отношение к «знаменитой» Томской тюрьме. И вот теперь я, можно сказать, «последний из могикан», продолжаю осваивать равелины этой тюрьмы.

А теперь продолжу свой рассказ. Не буду описывать всю процедуру приема вновь прибывшего этапа, сейчас об этом написано много, только скажу несколько слов о тюремной бане. Открывается моечное отделение — тут не зевай! В этот момент надо вложить всю силу, всю энергию, всю хитрость для того, чтобы прорваться туда, хотя бы не первым, но обязательно не последним, ибо последнему тазика не достается, а это значит, что у тебя не будет шансов помыться. И вот огромная масса людей врывается в моечное отделение, и каждый старается оттолкнуть тебя в борьбе за тазик. Те, кому удалось прорваться туда в первых рядах, норовят схватить по два, а то и по три тазика. Это для своих друзей. И если тебе удалось обзавестись этим инструментом, то

- 60 -

держи его крепко в руках, да и сам держись на ногах крепко, иначе сомнут и затопчут в банной слизи. Баня кончается быстро, горячая вода отключена. Не важно — успел ли ты смыть с себя мыльную пену или не успел. Обслуге бани на это наплевать. Влетает мордovorот и зычно орет: «А ну, гадюки, быстро вылетай! Размылись тут! Надо было на свободе мыться, это вам не курорт!» А там уже выкидывают твои вещи из прожарки прямо на пол в общую кучу. Тут тоже требуется физическая сила и тюремный опыт. На эту раскаленную кучу тряпья сразу бросаются десятки людей, хватают, рвут друг у друга эти тряпки, каждый ищет свое, а из газовой камеры вылетает со свистом пар, перемешанный с газом, от которого разъедает глаза, ничего не видно, ничего не слышно, кроме матерщины да треска раздираемых лохмотьев. Вот двое схватили одну рубашку и тянут ее каждый к себе. Дело заканчивается тем, что один рукав в руках у одного, а второй — у другого. А вот там кого-то бьют за то, что он обжег другого или за то бьют, что он оторвал штанину у чужих брюк. Вот уж действительно: попал в крошечный ад!

Слава Богу, кое-как кучу растащили, оделись, обиды и зла нет. Все знают — в каждой тюремной бане Советского Союза происходит так же, а бывает и почище. А теперь мы сидим смиренно, ждем выводного надзирателя. Вот и он наш «ангел-хранитель». Первым по списку оказался я, а иначе и быть не могло. Во всех тюрьмах выводные стараются отделить контриков от «друзей народа», а то, не дай Бог, еще кого сагитируют.

Наконец я попадаю в особый корпус (опять особый корпус!). Дежурный надзиратель подводит меня к камере № 7. Вхожу в камеру — на нарах сидят три старика. Среди них оказался двоюродный брат отца, дядя Федор Ильич, о котором я уже рассказывал в первой главе моих воспоминаний. Я бросился к нему, обнял и поцеловал его, а дядя Федор заплакал. Он, конечно, не ожидал того, что мы повстречаемся с ним в Томской тюрьме. Мы с ним расстались на станции Асино, когда после шмона нас рассадили по камерам столыпинского вагона. И с тех пор

я о нем ничего не слышал, и вот встреча.

— Дядя Федор, а ты давно прибыл сюда?

— Да меня сюда привезли сразу же после Нового Года, возили в Зырянку уже три раза на следствие. Там я видел свою жену и твою мать, она, наверное, думала, что и тебя привезли в Зырянку.

— Дядя Федор, а ты знаешь, что мой тятя находится на свободе?

— Откуда же ты узнал, что твой отец на свободе?

— Я в Новосибирской тюрьме получил из дома посылку с зимними вещами, и в этой посылке было письмо, написанное тятей, я его почерк сразу узнал.

- 61 -

— Ну что ж, слава Богу! А то, шутка ли, сразу арестовали мужа, сына. Это же какой удар для твоей матери.

— Дядя Федор, а ты ничего не слышал про Савелия Степаныча? Мы ведь с ним ехали в одном вагоне до Новосибирска.

— Нет, Данил. Я про него ничего не слышал.

Поговорив еще немного, мы услышали стук в дверь. Дежурный предупреждает, чтобы мы ложились спать. Я быстро подскочил к двери и попросил у него разрешения поужинать, новоприбывшему это разрешалось. Я развязал свой мешок с сухарями, которые засушил, находясь во внутренней тюрьме г. Новосибирска, и мы вчетвером хорошо подкрепились. Потом я упал на нары и сразу уснул, так как не спал трое суток. Я проспал подъем, старички меня разбудили, когда надзиратель объявил, чтобы мы приготовились на opravку. В отличие от новосибирских тюрем здесь в камере стояла параша, которую заключенные обязаны утром и вечером выносить в общую уборную, да там же и умываться.

После завтрака начали знакомиться. «Кто вы такие?» — обратился я с таким вопросом к тем двум старичкам. «Да мы из деревни Кучуково, ваши земляки. До ареста оба жили в своей деревне, работали в колхозе. Здесь сидим уже шестой месяц, арестованы в ноябре месяце 39-го года. Вот у моего брата остались дети сиротами при живом отце: 7 детей — один меньше другого, а у меня осталось дома пятеро детей. Теперь вот не знаем, как они жить-то будут, нынче хлеба-то, наверное, нисколько не дадут в колхозе — неурожай, собранного хлеба не хватило даже рассчитаться с государством, а уж про колхозников-то и говорить нечего. Да нам и не привыкать голодовать-то, сколько лет уже ничего не получаем на трудодни, вся надежда на картошку, капусту, да еще брюкву, турнепс», — говорил один из них, видимо, старший годами, у которого семеро детей, его брат, отвернувшись к стене, плакал.

Господи Боже ты наш! На этих колхозников страшно было смотреть: оба низенького роста, худущие, кости так и выпирают из тел. На лицо братья смахивали на наших причудлымски-хасных: оба черноволосые, с увеличенными скулами, кончавшимися остреньким подбородком, покрытым реденькой черной щетиной. На ногах обуты наши сибирские сродни, сшитые из самодельной кожи. Верхняя и нижняя одежда сшита из колета, к

тому же вся в заплатках. Да и я в своем одеянии недалеко ушел от них.

— За что же вас сюда определили?

— Да следователь говорит, что мы хотели локомобиль взорвать.

— Локомобиль? Слово-то какое-то совсем незнакомое для меня. Что за локомобиль?

- 62 -

— Да наш колхоз купил в чердатском льнозаводе старый паровой котел, его хотели отремонтировать и запустить в работу, чтобы он крутил мельницу, а при необходимости еще и молотилку. Но потом про него как-то забыли. Так он и стоял за кладбищем и постепенно зарос мелким березняком и крапивой. Так вот следователь говорит и пишет, что мы с братом собирались его взорвать.

— Как взорвать? Чем взорвать? — не понимал я.

— Да мы ведь тоже не знаем, как и чем мы хотели его взорвать, — ответили старики.

— Слушайте, дяденьки! А я ведь видел тот ваш локомобиль: каждую субботу проходили мимо него. Мы, каштаковские, учились в Чердатах, поэтому каждую субботу после занятий возвращались домой через ваше Кучуково. И всякий раз, проходя мимо кладбища, обращали внимание на этот огромный и странный агрегат.

— Вот этот агрегат и называется локомобиль, — пояснил один из братьев.

— Ладно, братцы, теперь мне кое-что известно о вашей жизни, а обо мне вы, наверное, уже кое-что знаете?

— Да, нам Федор Ильич рассказал, что ты сын Егора Матвеевича, которого мы знаем как хорошего человека, да мы еще с ним и немного родня, правда, такая дальняя, что трудно разобраться.

Мне не терпелось узнать приключения дяди Федора в Новосибирской внутренней тюрьме. И вот что он мне поведал: — В Новосибирской внутренней тюрьме я сидел в 27 камере, где вместе со мной сидели еще четверо. Все они жители Новосибирска. Те четверо на свободе работали какими-то большими начальниками, даже один из них раньше работал преподавателем в каком-то институте. Ты же, Данил, знаешь, что я-то безграмотный, поэтому не могу все тебе объяснить. Но как мне показалось — все они очень хорошие ребята, ко мне относились с уважением и очень сожалели, что вот меня тоже посадили, совсем безграмотного человека, и ни за что. Через три дня меня вызвали на допрос. Следователь оказался совсем молодым по фамилии Похилько.

— Постой, дядя Федор! У меня ведь тоже следствие вел Похилько.

— Что ты говоришь, — удивился дядя Федор, — злой и противный человек. Он с первого дня меня начал бить, а по годам-то я ему годился в отцы.

— И за что же он бил тебя? — спросил я.

— Бил он меня за то, что я не хотел признаваться в том, что я, работая прорабом в леспромхозе,

был завербован Бауковым в какую-то повстанческую организацию.

— Дядя Федор, я совсем не понимаю, о чем ты говоришь. Я же тебя знаю с моих малых лет и знаю о том, что ты

- 63 -

первым вошел в колхоз и до самого ареста неотлучно работал в колхозе. Так когда же ты мог работать прорабом в леспромхозе? Ведь ты же, как я знаю, не даешь ни одной буквы.

— Вот и я об этом говорил следователю, а он, то есть Похилько, говорит, что я все вру. «Знаем мы вас. Вы сейчас все притворяетесь безграмотными». Вот таким образом он бил меня чуть ли не целый месяц да садил голого в холодный и мокрый подвал.

— Дядя Федор, а ты вообще-то знал того Баукова?

— Да, я слышал, что жил в Чердатах какой-то Бауков, но видеть его ни разу не видел.

И вот однажды привели меня на допрос; взбитого, больного, смотрю — сидит незнакомый мужик примерно в моих годах, лет 55 от роду и так внимательно смотрит на меня. А следователь Похилько с ехидцей спрашивает: «Ну, что, Алин, знаешь своего дружка?» Я ответил, что не знаю, что впервые его вижу. «Да это же Бауков», — Закричал следователь, подбегая ко мне с кулаками. А потом следователь подбежал к нему (как я потом узнал — к Бажову). «Бауков, ты знаешь этого человека?» «Нет, не знаю», — ответил Бауков. Что же произошло с Похилько? Он выхватил пистолет из стола, весь затрясся, губы его посинели, глаза стали какими-то дикими и, подскочив к Баукову, закричал: «Да ты что, сука? Да это же Алин Федор Ильич, которого ты завербовал в леспромхозе!» «Да, я вам говорил, — ответил Бауков, — что завербовал Алина Федора, только того Федора отчество не Ильич, да и обличье не То. Этот Федор смуглый, а тот белый и выше ростом.» Тайна я вспомнил, что действительно работал в леспромхозе десятником Алин Федор Николаевич. И вот когда я упомянул про Федора Николаевича, Бауков сразу же подтверди, что это тот Федор Николаевич. Следователь моментально составил отрицательный акт очной ставки. И более того злодея Похилько я не видел. А он же, злодей, бил меня чуть ли не целый месяц. Спрашивается — за что?

Теперь уважаемый читатель знает, что произошла трагическая ошибка и можно вполне предположить, что Алина Федора Ильича надо бы освободить. Да не тут-то было! Из лап НКВД вырваться не так просто, как мы думаем. Я тоже кое-что знал о Баукове. Однажды в мою 24 камеру посадили паренька по фамилии Бауков Андрей. Разговорились. Оказалось, что мы земляки — он родился в Чердатах. Последнее время их семья жила в Томске в рабочем поселке Черемошники. В июле месяце его отца арестовали, в августе и его тоже. Ему предъявили обвинение в том, что он знал о контрреволюционной деятельности своего отца, но не пришел в НКВД и не заявил, что его отец — враг. То есть предъявили ему статью 58 п. 12.

- 64 -

— Ну, а ты действительно знал, что твой отец враг? — задал я такой вопрос Андрею.

— Да откуда я-то мог это знать. Я и сейчас уверен в том, что мой отец никогда не был врагом. Правда, во время гражданской войны он воевал на стороне белых, да тогда кто знал, кто окажется прав — красные или белые, особенно сибиряки-крестьяне безграмотные. Попал он к

белым, ну и воевал за белых, попал бы к красным — воевал за красных. Ведь как было-то: отец за красных, а сын за белых. А кто из них прав? Попробуй, разберись!

Но долго мне с ним сидеть не пришлось. Через неделю его увели из камеры, и больше я его не видел. Тогда, после рассказа дяди Федора, я понял, что же произошло со всеми нами. На следствии Бауков заявил, что он завербовал Алина Федора, но отчество последнего забыл. Но он знал, что Алин Федор житель деревни Каштаково. НКВД делает запрос в Каштаково — проявляется ли такой человек там? Сельсовет отвечает, что да, есть такой человек. И далее пошло-поехало. Как по маслу. Алин Федор Ильич работает вместе с Алиным Егором Матвеевичем, а у него есть сын Данил. Так вот: Федор вербует Егора, а Егор вербует своего сына, потом Федор заодно вербует и Алина Савелия Степановича. Таким образом, получается группа из четырех человек, которая является продолжением той повстанческой организации, которую создавал Бауков. Поэтому нас четверых и забрали.

Следствие предполагало, что наша группа принадлежит к организации Баукова. После очной ставки в областном НКВД встал вопрос: что теперь делать с нами. И придумали: в Зырянское НКВД идет срочная шифрованная телеграмма — собрать улики на всех четырех, которые в той или иной мере могут компрометировать каждого в отдельности. Через короткое время приходит ответ, что на Алина Федора Ильича кое-какой материал найден, а также на Алина Савелия Степановича, а вот на Алина Егора Матвеевича ничего нет и на Алина Данила Егоровича тоже. НКВД решило и постановило: завести дело на обоих Алиных (Федора и Савелия), а Егора освободить. А Данил еще совсем зеленый, поэтому нужно попытаться запутать и запугать его. И дело пошло: дела Алина Федора Ильича и Алина Савелия Степановича выделяют в отдельное производство, а Похилько получает задание нажать на Алина Данила, да так нажать, чтобы он не смог выдержать. И Похилько нажимает. О том, как он это делал, я уже рассказал.

- 65 -

КАМЕРА № 7 И ЕЕ ОБИТАТЕЛИ

Итак: весной 1940 г. в камере № 7 особого корпуса № 1 Томской тюрьмы оказались четыре врага народа, типичные контрреволюционеры — двое братьев-диверсантов Манеевых из деревни Кучуково Зырянского района, которые готовились взорвать заросший бурьяном обгоревший паровой котел; Федор Ильич из деревни Каштаково — антисоветская агитация и местный Пугачев — шестнадцатилетний мальчик Алин Д.Е., который готовился поднять восстание с целью свержения существующего строя в СССР. Из этих четырех врагов народа я один успел изучить азбуку и таблицу умножения, остальные расписывались в протоколах допроса оттиском большого пальца правой руки.

Через неделю в нашу камеру садят пятого врага народа. При знакомстве он отрекомендовался Колосниковым Афанасием Ефимовичем. Кадровый военный, служил в интендантстве где-то на Волге, имел звание капитана, сидел уже два года, осужден по статье 58 п. 8 — террор — на пять лет ИТЛ. Приговор отменен по его жалобе, и он направлен в Томскую психиатрическую больницу на врачебную экспертизу по поводу болезни эпилепсией. В нашу камеру он попал ненадолго — пока на него не придет вызов из больницы.

— Ну что, мужички, приуныли-то? Давайте капитально знакомиться. Да поднимите же вы головы выше! Вы осуждены или не осуждены еще?

— Да нет еще, — ответил я за всех.

— Вот видите, не осуждены еще, а уже вроде умирать собрались. Ничего, ребята, не горюйте, а может еще, бог даст, выкарабкаетесь на свободу. Вот ты, например, в чем тебя обвиняют? — обратился он к старшему брату Манееву. И тот рассказал то, что нам уже известно. — Ерунда все это, какой же суд этому поверит? Так что вы, братцы, особенно не расстраивайтесь, ваше дело правое и будем на это надеяться. Ну, а ты, — обратился он к Федору Ильичу.

— Да на меня наш деревенский мужик показывает, что я, якобы, не верил нашим газетам. Ну, там еще кое-что по мелочам. Одна бабенка показывает, что я очень жадным был на работу. В обед не успеют бабы вздремнуть, а Федор Ильич уже кричит: «Ну, бабоньки, поехали!» Во время жатвы я всегда работал машинистом на жатке самосбросе. Еще кто-то что-то показывает, я уже и не помню.

— А ты, оголец, что успел натворить?

Разговор со мной получился затяжной по времени. Я ему рассказал почти все, о чем я рассказывал в предыдущих главах. Афанасий Ефимович слушал меня с большим вниманием, а под конец не вытерпел и спросил:

— Слушай, Данил Егорович, ты что же все это подписал и признал себя виновным?

- 66 -

— Да, — ответил я.

— Да ты что, с ума сошел что ли? Да ведь тебя, сукиного сына, расстреляют, как пить дать, ты это понимаешь или нет?

— Афанасий Ефимович, — взмолился я, — ты-то разве не можешь понять, что я не смог выдержать всего того, что творил со мной следователь Похилько?

— Не могу понять, не могу! Короче говоря, завтра же утром проси у дежурного бумагу и пиши заявление прокурору по надзору, что ты от всех показаний своих отказываешься и укажи все, что заставило тебя наговорить на себя, ты понял меня?

— Да ведь может снова начаться то, что я уже пережил.

— Возможно. Но я считаю, что лучше умереть в борьбе за правду, чем умереть врагом народа.

На следующий день после проверки нашу камеру посетил начальник особого корпуса тюрьмы лейтенант Вальков. Как всегда, он, войдя, поздоровался, сел на краешек нар и нас пригласил, чтобы и мы сядились. Такое поведение начальника корпуса, я думаю, являлось грубым нарушением всего тюремного порядка. А он плевал на всех остальных, он делал так, как подсказывала ему его человеческая совесть. Он запросто сел на нары и начал спрашивать нас: «Ну, как, ребята, живете? Какое самочувствие? Не болеет ли кто из вас? и т.д.» На наши вопросы отвечал вежливо и внимательно выслушивал наши претензии, обещал по возможности их удовлетворить.

— Скоро ли будет ларек? Завтра или послезавтра будет, я дал распоряжение нашим торгашам,

так что не горюйте, скоро у вас появится и курево, и все остальное. Может, какие жалобы есть?

— Да нет, гражданин начальник, — ответили мы. Но вот поднялся на ноги наш капитан — высокий, стройный и красивый мужчина лет тридцати от роду и заговорил. Речь его была ровной, четкой, словом, чувствовалась военная аккуратность во всем.

— Гражданин начальник, мы просим вас снабдить нас настольными играми — шашки, шахматы, домино и книгами. Будьте добры.

— Пожалуйста. Ваша камера еще ни разу не обращалась ко мне по этому поводу, поэтому я в этом не виновен. Да я вижу, вы новенький? Я впервые вас вижу.

— Да, я прибыл только вчера.

Начальник корпуса тоже поднялся на ноги.

— А как ваша фамилия?

— Колесников Афанасий Ефимович, — ответил капитан.

— Вы что, прямо с армии?

— Да, я арестован прямо на службе.

— И в каком звании вы служили?

- 67 -

— В звании капитана.

— Ну, вот и познакомились. Я со всеми так знакомлюсь, так что извините.

— Гражданин начальник, еще я попрошу у вас листик бумаги, надо написать заявление.

— Все будет. Я сейчас дам распоряжение. Ну, а теперь — до свидания.

Каждый его приход был для нас праздником. Приятно все-таки услышать человеческий голос здесь, в тюрьме. Ведь такое обращение — явление редкое. После обеда нам принесли шашки, шахматы и домино. Домино мы впервые видели и, разумеется, играть в него не умели. Но ничего, через несколько дней мы эту игру освоили, а в шашки-то я мало-мало играл, в школе эту игру освоил.

— Афанасий Ефимович, а вы-то за что сюда попали?

— Во-первых, я кадровый военный, окончил Киевское военное училище, прослужил в армии уже 7 лет. Женат. Имею семью, сына трех лет, жена сейчас живет в городе Аткарск. Это небольшой городок на Волге. Моя родина — Саратовская область. Однажды на одной из вечеринок я поссорился с одним лейтенантом, а через неделю меня арестовали органы НКВД и предъявили мне обвинение в том, что у меня не дрогнет рука снять голову с наркома Ворошилова. Якобы, я это заявил в той ссоре с лейтенантом. И еще следствие там что-то наковыряло и, таким образом, Военный трибунал судил меня по статье 58 п. 8 — террор и воткнул мне 5 лет и 3 года поражения в правах. Я написал много жалоб по прокурорскому надзору и вот по последней жалобе приговор отменен, а меня отправили на экспертизу к вам, в

Томск. Вот и все, в чем меня обвинили. Я нигде на следствии ни единой бумажки не подписал и виновным себя нигде и никогда не признавал и не признаю. Потому что все, что он наплел на меня,— все ложь. В своих жалобах я указывал, что я болею эпилепсией и, если психбольница это подтвердит, то меня должны освободить.

Просидел с нами в камере Афанасий Ефимович недолго, но за то короткое время он сделал очень многое. Во-первых, он настойчиво нам объяснял, как нужно вести себя на следствии. Основное — не надо бояться следователя. Подследственный имеет право в случае нарушения следователем правил ведения следствия отказаться от следователя, и его заменят другим. Он может требовать присутствия прокурора, который наблюдает за следствием по его делу. В случае отказа следователя выполнить требование подследственного он может объявить голодовку и держать ее до полного удовлетворения своих требований.

— Основное, сынок, не идти на поводу у следователя и вовремя распознавать его авантюрные замыслы, а на это они очень способны.

- 68 -

Разговоры на такие темы он всегда обращал ко мне, я ему, видимо, нравился, а может, еще и потому, что обвинение-то мне предъявлено страшное. Шутка ли — восстание, террор, антисоветская агитация и организация.

— Таких «врагов народа» я за свои два года отсидки в тюрьме встречаю впервые. Так что держи ухо востро и все, что я тебе говорю, хорошенько запомни.

И я оказался послушным его учеником. Я неукоснительно следовал его наставлениям в дальнейших моих мытарствах по следственным кабинетам наших доблестных органов НКВД.

— Алин Даниил Егорович и Алин Федор Ильич, приготовьтесь с вещами.

И вот мы вдвоем шагаем по городу Томску по улице 1-ая Привокзальная, чуть позади два милиционера — наш конвой. Я сразу узнал милиционеров. Наши, зырянские. Значит, нас гонят в Зырянку на следствие. В 11 часов ночи мы прибыли в Асино. Наши конвоиры долго договаривались с начальством КПЗ г. Асино, чтобы они пустили нас ночевать. Все утряслось, и мы устроились на голых нарах со всеми «удобствами».

Утром, чуть свет, вновь тронулись в путь. Конвой на санях, а мы впереди пешочком. Мне-то ничего, я молодой, а вот каково топтать старику по раскисшему весеннему снегу 50 км до Зырянки? Но ничего, пока идем нормальным шагом. Вот уже промелькнула Б. Дорохо, следующая станция Семеновка. Остановились в заезжем доме, надо покормить лошадь, да и самим подкрепиться. Милиционеры за столом пьют чай, а мы с Федором Ильичом сидим под порогом около лоханки, глотаем слюнки. Вчерашнюю пайку мы съели. вчера, а сегодня пайки нет, в дороге-то какая пайка? Подкрепившись, двинулись дальше. Поздно вечером мы доплелись до родной КПЗ села Зырянка. Я-то ничего, не так страшно, а вот мой компаньон через силу дополз до нар и упал на них. Несколько человек из сидящих в камере проснулись и безо всякого интереса глазели на нас.

— Откуда вы появились, ребята? — слышался голос из дальнего угла.

— Из Томска, — ответил я.

— А че это вас из Томска-то сюда? Что там таких не принимают что ли?

— Принимают всех и вас там ждут давно уже.

— Но ты, парень, не пугай, мы пуганые. Ты, наверное, пешком под стол ходил, а мы уж там прописывались.

— Слушай, дяденька, ты бы лучше сначала нас угостил, как положено по христианскому обычаю, а потом и разговор пошел бы шустрее.

— Утром начальник вас угостит шестиграночкой, а я вас, братцы, сегодня не ожидал, поэтому извиняйте, господа хорошие.

- 69 -

— Ты, бык, хватит тебе балабонить, чего прицепился к пацану, отстань, — вступил в разговор другой обитатель камеры.

— На, парень, держи, — и подает мне полбулки черного-пречерного хлеба, — вон на тумбочке чайник с водой. Ешьте, больше нет ничего.

— Спасибо и за это.

Я поднял дядю Федора, эти полбулки мы проглотили и моментально заснули. В шесть утра подъем. Не зря в песне поется: шесть утра, а город еще спит, не спит тюрьма, она давно проснулась... Оправка, уборная на улице, хватай парашу и вылетай туда, на улицу. И в мороз, и в жару, и в дождь, и в пургу. Вот тут, на улице, я и разглядел того, с кем беседовал ночью, кто «угостил» нас тем, чем «утром начальник вас угостит». По голосу можно было подумать, что со мной разговаривает гигант, голос-то «шляпинский» бас, а по внешнему виду-то он оказался лилипутом.

— Так это ты ночью со мной разговаривал?

— Да, я. А что тебе надо-то?

— Да ты не бойся, я тебя бить не буду, — проговорил я, — только думаю: не хорошо так разговаривать с уставшим и голодным человеком, особенно в тюрьме, это не принято. Ты понял меня, дяденька?

— Спасибо за совет, племянничек.

На этом наш диалог закончился. «Заходи», — закричал дежурный. Я шел последним. Вдруг один из милиционеров взял меня за плечо, улыбнулся и проговорил: «Во! Парень вернулся! А я-то думал, что тебя и в живых уже нет!» Когда завтрак был закончен, открылась дверь камеры, и дежурный позвал меня на минутку зайти к нему в дежурку. Когда мы оказались вдвоем, он проговорил:

— Ты, парень, помнишь меня?

— Конечно, помню, — ответил я, — прошлую осень, после ареста я ночевал у вас в КПЗ. Я

хорошо помню, что именно вы меня тогда обыскивали.

— Правильно. Я даже помню, что я отнял у тебя. И он открыл ящик и достал оттуда мой ремень, перочинный складной ножичек и шнурки от ботинок.

— Вот видишь, я все твое «добро» берегу и надеюсь все это тебе вернуть, когда освободишься.

— Спасибо вам за добрые слова, гражданин дежурный.

— Слушай, а где же вы были все это время? — понизив голос, спросил он. И я коротенько рассказал ему, что произошло со мной за это время. В общем, расстались мы с ним чуть ли не друзьями.

В последующие дни, когда он дежурил, он всегда выводил меня в коридор, где я разрезал булки хлеба на пайки и разносил их по камерам вместе с чаем. В обед я тоже разливал тюремную шлюмку и также разносил по камерам.

- 70 -

Таким образом, все камеры знали о том, что я пользуюсь особой привилегией среди других несчастных, сидящих в КПЗ. А мой «друг» меня называл старостой КПЗ и, когда в камере возникал какой-нибудь шум, дежурный подходил к волчку и кричал: «Алин, а ну прекрати безобразия». И в камере восстанавливался порядок. Фамилия того милиционера Хамидулин. По национальности татарин. Прекрасный молодой человек. Он недавно отслужил армию и, чтобы снова не попасть в колхоз, пошел работать в милицию. Он часто говорил мне, что эта работа ему не нравится и он думает уволиться как только кончится договор. Однажды при его дежурстве у нас с ним произошло довольно смешное событие. Об этом я расскажу в другой раз.

Утром я был вызван на допрос. Когда я вошел в кабинет, то увидел за столом пожилого мужчину в форме НКВД с четырьмя кубиками в петлице — капитан. Я поздоровался. Сидящий за столом на мое приветствие не ответил, зато зло поглядел на меня и проговорил:

— Садитесь! Так, будем знакомиться. Моя фамилия Одинокоев. Мне поручено дальнейшее расследование вашего дела. Вы писали заявление прокурору по надзору?

— Да, писал.

— Что вы писали в своем заявлении?

— В своем заявлении я написал о том, что от всех своих показаний, данных мной на всех прошлых допросах, я категорически отказываюсь.

— Уточните, от каких показаний Вы отказываетесь.

— Уточняю. От всех! Кроме тех, что я действительно являюсь Алиным Даниилом Егоровичем, уроженцем дер. Каштаково. До ареста учился в неполной средней школе села Чердаты, проживал в деревне на иждивении своих родителей.

— Ознакомившись со следственным делом, я обнаружил, что на всех протоколах допросов, которые были произведены следственными органами НКВД города Новосибирска, стоит ваша подпись, где сказано, что все ваши показания записаны с ваших слов верно и вами подписаны.

Так это было или не так?

— Да, так было, но больше этого не будет.

— Я не понимаю, что же заставило вас признавать свою вину?

— Я уверен в том, что, если бы вас поставить в те же условия, в которых оказался я, вы бы тоже наговорили на себя то, что вам предложит следователь.

— В какие такие условия вы были поставлены?

— Меня избивали до полусмерти, морили голодом, держали в холодном и мокром подвале до тех пор, пока я не терял сознание.

— Так что же, вы думаете сейчас вам предоставят лучшие условия?

- 71 -

— Я ничего не думаю, но я точно знаю, что при любых условиях вам не добиться того, что я изменю свои показания в вашу пользу.

— Ну что же, тогда нам придется начать все сначала, — проговорил Одинокоев.

— Лично я согласен с вами начать все сначала.

— Знаете, арестованный Алин, я предъявлю вам новое обвинение дополнительно к тому, в чем вас обвиняют, а именно: клеветнические измышления на наши советские следственные органы. И вы ничем не сможете доказать обратное.

— А вы, гражданин следователь, сможете доказать то, что я оклеветал наши следственные органы? — задал я такой вопрос следователю.

— Да вы только что говорили о том, что вас били, морили голодом в Новосибирске.

— Да, я говорил так, а вы думаете, этого не было?

— Но ваши показания о том, что вас били, никто подтвердить не может.

— И ваше обвинение в том, что я оклеветал органы, тоже подтвердить никто не может. Мы ведем об этом разговор один на один, а одному веры нет, вы об этом прекрасно знаете.

— Вы что, специально хотите спровоцировать меня на особые действия с моей стороны по отношению к вам, — наливаясь злой краской, проговорил Одинокоев.

— Нет, я вас не провоцирую, а отвечаю на ваши вопросы. Так что инкриминировать мне дополнительное обвинение о клевете следователь на этот раз не смог и никогда не сможет... Одинокоев не знал, что ему следует предпринять по дальнейшему дополнительному расследованию по моему делу, предписанному военным прокурором штаба СибВО. И он поспешил отправить мое дело своему начальству, от которого стал ждать указаний, что же делать со мной. Весь этот разговор запротоколирован не был, поэтому я был уверен, что обвинение в клевете на следственные органы оформлено не будет. Больше следователь Одинокоев на допросы меня не вызывал. А вот Федора Ильича постоянно вызывали на допросы, после которых он был так расстроен и угнетен, что не мог мне объяснить, о чем он ведет речь со

следователем Одиноквым. Лишь на пятый день Федор Ильич рассказал, что следователь ему читал все следственные протоколы, а потом сказал, что следствие закончено и его дело передают в суд.

В Зырянском КПЗ мы уже просидели 9 дней, значит, завтра или послезавтра нас должны снова этапировать в Томскую тюрьму. Надо объяснить порядок содержания арестованных при КПЗ: здесь имеют право держать арестованного не более 10 дней, после чего его должны этапировать в Томск независимо, в какой стадии расследования находи-

- 72 -

тся его дело. Такой порядок существовал до войны и существует до сих пор. В тот день меня и Федора Ильича вызвали в дежурку КПЗ, где нам вручили передачи. Получение передачи в тюрьме является событием огромной важности, а для меня это явилось втройне важно. В тюрьме я сидел уже 8 месяцев, и мои родные не были уверены в том, что я еще жив. Завтракали мы тогда почти по-праздничному, иначе и не скажешь. Сколько месяцев прошло с тех пор, как я не наедался досыта? Сидящий в камере человек всегда чувствует голод, тем более мы, деревенские, привыкшие к обильной пище, хотя и малокалорийной. Мы, конечно, угостили домашней пищей всех остальных, сидящих в камере. Я лично постарался угостить того мужичка, который первым встретил нас тогда ночью, чтобы он знал, что в камере надо делиться всем, что имеешь.

Назавтра нас подняли пораньше, дежурный зачитал список тех, кто идет на этап в томскую тюрьму. В том списке оказались и мы с Федором Ильичом. Народу набралось человек 20. Люд был разный — и колхозники и производственники, в том числе 5 женщин, одна из них была беременная. Но это не важно, что беременная, дойдешь, а если не дойдешь, то роды принять есть кому. Одна из пяти женщин являлась медработником, которая кому-то сделала криминальный аборт. За что и арестована. Так что все в порядке, все в законе. Начальник конвоя прокричал давно уже всем надоевшую напутственную речь: «Партия, внимание... Конвой применяет оружие без предупреждения!» И вот партия (у нас везде партия) тронулась, молча, опустив головы. Когда мы вышли из ворот ограды КПЗ, я сразу увидел стоявших в стороне маму, рядом с ней стояла тетка Марья, жена Федора Ильича. Мама и тетка Марья быстро нашли нас в этой серой движущейся толпе и замахали нам руками. Кроме их нас сопровождали другие люди, которые тоже пришли проводить своих мужей, матерей, сыновей, дочерей. И вот эта мрачная процессия двигалась по Советской улице села Зырянка, направляясь в сторону Асино. Люди, обгоняя друг друга, старались забежать вперед этапа, чтобы лучше видеть лицо своего родственника. Многие что-то выкрикивали, но я ничего не слышал, а без отрыва смотрел на свою любимую маму, которая так же старалась держаться впереди этого страшного шествия. Мы оба молчали, только глядели друг на друга. Многие начали отставать, но мама и тетка Марья продолжали нас провожать. Дорога свернула на деревню Берлинка, здесь все сопровождающие остановились и долго махали руками нам вслед. Я видел, как мама беспрестанно утирала слезу. За 8 месяцев мать впервые увидела своего единственного и любимого сына.

И снова Томская тюрьма, снова особый корпус и та же камера № 7. В камере сидели те же: братья Манеевы и

- 73 -

Афанасий Ефимович. Начались расспросы: «Где были, что делали?» Афанасий Ефимович сразу обратился ко мне с вопросом: «Ну, как там у тебя?» Я ему рассказал, что мое заявление дошло до нового следователя, какой произошел разговор и как следователь на него отреагировал. Для него такой поворот дела оказался неожиданным, поставившим его в тупик. Он не знал, что ему сейчас нужно предпринять, с чего начать. Поэтому он и поспешил направить мое дело туда, откуда оно прибыло.

— Молодец! — похвалил меня Афанасий Ефимович, — Вот так и действуй, я очень рад за тебя. Если так и дальше будешь стоять на своем, у тебя появится шанс выйти на свободу. Ну, если не на свободу, то уйти от большой беды. А вот Федору Ильичу труднее выкарабкаться. У него не совсем хорошее прошлое, так как в гражданскую он воевал на другой стороне, а это НКВД очень строго учитывает при определении меры наказания.

Однажды утречком Афанасия Ефимовича позвали с вещами. Мы его провожали всей камерой с пожеланиями в тюрьму не возвращаться и со психи — прямо на свободу. Большая удача — в тюрьме встретить хорошего человека. Он всем своим поведением, веселым характером и доброжелательностью изменил нашу жизнь, нашел слова моральной поддержки для каждого из нас. «Свято место пусто не бывает». В данном случае слово «свято» я бы заменил словом «проклятое» место. На следующую ночь в нашу камеру прибыло двое. Один из них оказался бывшим председателем колхоза, лет 50 от роду, второй — здоровый детина лет сорока — житель деревни Малиновка Туганского района по фамилии Царев. Председатель колхоза (фамилии не помню) рассказал, что он, работая председателем одного из колхозов Первомайского района, в июле месяце получил бумагу из райкома партии, в которой было распоряжение направить в райцентр на слет ударников-стахановцев 8 человек. Он срочно собрал правление колхоза, где и постановили: направить лучших людей из колхоза. Утром запрягли пару лошадей и все отправились в район. Дальше события разворачивались таким образом:

— Когда я зашел в райком партии, секретарь райкома спросил меня: «Какой колхоз?» Я ответил: «Колхоз имени Ильича». «Хорошо, молодец», — похвалил он меня и велел ехать к отделению милиции. Когда мы прибыли по указанному адресу, на крыльце отдела уже стоял милиционер, видимо, поджидая нас. «Так, здравствуйте, мужички, вовремя прибыли. Ну, а теперь прошу вас следовать за мной!» Когда мы очутились в грязной и тесной камерке, тот же милиционер предложил нам раздеться догола. «Как догола?» — не поняли мы. «А так, очень просто, снимайте всю одежду с себя и складывайте ее кучкой около себя, понятно? Да

- 74 -

поторапливайтесь! Некогда нам с вами долго возиться». Тем временем в помещение еще вошли человек шесть милиционеров, которые бесцеремонно хватали наши тряпки, обшаривали карманы, обрезали металлические пуговицы и крючки, отбрасывали их в сторону, повыдергивали брючные ремни, у кого они имелись. А потом принялись ощупывать наши тела: хватали за ноги и, поднимая их по очереди, просматривали подошвы, приказывали сгибаться и заглядывали в задний проход, а потом осматривали рот и даже уши. А затем нас вталкивали в камеры, которые были забиты до отказа такими же ударниками-стахановцами колхозных полей.

Через несколько дней все оказались в тюрьме в г. Красноярске. Там каждый из них узнал свой

приговор — 10 лет и поражение в избирательных правах. Председатель же колхоза получил 25 лет и пять поражения. А потом он очутился в лагере, недалеко от города Канска. Работал на лесоповале вместе с другими такими же несчастными людьми. За два года он написал, наверное, больше десяти жалоб по прокурорскому надзору, да и в ЦК партии, ведь он был старый коммунист. И вот одна из них попала, куда нужно, по которой его приговор отменили. Сейчас он прибыл на переследствие. А дома у него осталось четверо детей, причем четвертый родился уже после ареста.

Второй по фамилии Царев. О нем рассказал председатель. Сам он ни с кем и ни о чем не разговаривал, все время молчал. Он вообще выглядел каким-то странным: то часами сидел, глядя в одну точку, то ни с того ни с сего начинал улыбаться. Улыбка его не предназначалась окружающим людям, а вроде бы он улыбался сам себе.

— Мы с Царевым встретились в лагере, — рассказывал председатель, — на лесоповале работали на пару. Надо сказать, что он работал исключительно добросовестно, обладая огромной физической силой. С таким напарником работать можно. В начале нашей встречи я не замечал ничего странного в его поведении. В разговоре с ним я узнал, что он родился и проживал в деревне Малиновка Туганского района, работал в колхозе, имеет жену и двух детей. Но вот примерно с год тому назад в его поведении появились странности. Он стал очень неразговорчив, частенько получалось так: работаем, а он вдруг бросает пилу и садится на поваленное дерево и, ни слова не говоря, начинает смотреть в одну точку, а то вдруг поднимется и пойдет, куда глаза глядят, и идет до тех пор, пока конвой не начнет кричать на него, а то и стрелять. Такое поведение моего напарника заметили наши бригадники, да и бригадир начал беспокоиться. Все это дошло до спецчасти лагеря, и его вместе со мной привезли сюда. Мне кажется, что его отправят в психлечебницу на экспертизу.

- 75 -

Через неделю их обоих вызвали с вещами, а через полтора месяца мы узнали, что Царев находится в психушке в криминальном отделении и работает санитаром. У него тихое помешательство и он останется в психушке на вечные времена. К нему приезжала жена на свидания. Об этом нам рассказал Афанасий Ефимович, который вернулся к нам в камеру после двухмесячного пребывания на психе. Врачебная экспертиза не подтвердила его болезнь, но он не унывал и всем говорил, что он сидеть весь срок не намерен. Будет писать, куда надо. А о председателе мы сведений больше не имели, может, его освободили, а может, где-то рядом сидит, а может, и расстреляли. И такое было не редкость.

- 76 -

ПРЕКРАСНАЯ НЕЗНАКОМКА

Опять Зырянское КПЗ. Сижу один, остальные камеры пусты, такое случалось очень редко. Завтра праздник весны — Первое мая 1940 года. На улице стояли теплые весенние солнечные дни, слышался людской шум, по ту сторону решетки жизнь продолжалась. Только моя жизнь, втиснутая в ограниченное пространство, как будто остановилась. Вечером в саду играл духовой оркестр, молодежь танцевала, веселилась и не было никому никакого дела до того, что вот совсем рядом, в темной грязной камерке сидел еще совсем молоденький узник-мальчик, которому совсем недавно пошел 17-й год.

Первое мая. Все камеры пусты. Дежурный милиционер часто выходит на улицу и долго не появляется. Зайдет, посмотрит в волчок, убедится, что узник на месте, и опять выходит на улицу. Кому же охота сидеть в этой темной, душной и грязной пещере? А мне кажется, что я никогда и не был там, на свободе, как будто я видел сон когда-то, что тоже мог свободно пойти куда пожелает моя душа, что я когда-то, совсем давно, мог ходить в школу, мог играть в бабки, мог есть досыта хлебушко...

Праздник пролетел мимо меня, и третьего мая в КПЗ появляется первый арестант. Совсем еще молодая, красивая, бойкая женщина. Пока дежурный закрывал входные двери, она успела пробежать по коридору и заглянуть в волчок каждой камеры, и только в последней обнаружила единственного человека.

— Да тут, оказывается, есть еще одна живая душа. Мальчик, здравствуй.

— Здравствуй, — ответил я. Тут ее окликнул дежурный:

— Ты, сударочка, чего тут разбегалась, расхозяничалась?

— А че, нельзя, что ли поздороваться? — ответила арестантка.

— Вон там, в тамбуре есть веник, ведро и тряпка. Набери воды, побрызгай в коридоре и подмети, а потом помоешь пол у меня в дежурке. Все понятно?

— Есть, товарищ начальник, подмести и помыть пол.

— Ты не называй меня товарищем, твои товарищи остались там, за оградой КПЗ.

— У-у! Какой вы сердитый, дяденька, нехорошо так принимать гостей!

— Ишь ты, гостя объявилась у меня тут, — оскалив зубы, проговорил дежурный, а сам внимательно осматривал ее красивый стройный стан.

— Ну ладно, хватит болтать, давай действуй тут, да поторапливайся, — и вышел на улицу.

- 77 -

Как только дежурный удалился, она бросила подметать, подбежала к моей двери и, открыв кормушку, попросила меня подойти поближе к двери. Когда я подошел вплотную к двери, она, просунув руку в кормушку, схватила меня за рубаху, подтянула мою голову к кормушке так, что наши лица почти соединились. Она начала целовать меня в губы, в глаза, в щеки, приговаривая: «Какой ты миленький мальчик, за что же тебя упекли в тюрьму такого молодого?» Потом, опустив меня, она быстро заскочила в свою камеру, затем вновь подбежала к моим дверям и стала совать мне через кормушку хлеб, отварное мясо, яйца и несколько луковиц. Делала она это очень быстро, поглядывая на входную дверь, боялась, что войдет дежурный и запретит ей общаться со мной. Смеясь, она еще несколько раз поцеловала меня в губы и, закрыв кормушку, проговорила: «Кушай, мой милый, а я побежала мыть ментовку».

Ошарашенный этой сценой, оглушенный ее горячими поцелуями, я никак не мог понять, что же произошло со мной? Или это был сон или это произошло наяву. Откуда она появилась? И кто она такая? На наших деревенских бабенок она совсем не похожа, наша деревенская не будет вот так целовать совершенно незнакомого человека. Это, во-первых. А главное: наши

деревенские все заморенные, замученные непосильной колхозной работой, тонконогие, а вместо грудей ямочки. А эта — румяная, хорошо упитанная с красивой и развитой грудью, с тонкой талией — загадочная незнакомка, кто она? В коридоре подметено, в дежурке помыто, и моя незнакомка посажена в камеру, которая располагалась почти напротив моей. Когда дежурный выходил на улицу, мы продолжали наше знакомство. Вот что поведала моя соседка: она воспитывалась в детдоме в городе Томске, отца и матери не знала. И вот, когда ей сравнялось 15 лет, ее вместе с другими детдомовцами направили в Зырянский район, где их распределили по колхозам. Она с двумя мальчиками попала в деревню Дубровка, где они должны были жить на иждивении колхоза. Летом они работали в колхозе, а зимой учились в школе. На другое лето, т.е. в 1938 году, мальчишки сбежали обратно в Томск. Жизнь в деревне им не нравилась, а ей пришлось остаться не потому, что понравилась деревенская житуха, а потому, что попала в хорошую семью, к добрым людям, которые ее полюбили как свою родную дочь. Своих детей у них не было. И так она дожила у них до 39 года. А в конце года вышла замуж за деревенского паренька. Прожили они полгода и его забрали в армию, а она продолжала жить в деревне на правах солдатки. Совсем недавно кто-то написал в милицию, что она сделала аборт (аборты в то время были запрещены). Вот так она и очутилась со мной на пару в КПЗ. «Но, а ты-то давно ли припухаешь здесь?» Я коротко рассказал ей про

- 78 -

свою беду, что я арестован по линии НКВД и сижу уже десятый месяц. В то время значение слова НКВД все очень хорошо понимали, вплоть до малых детей. И на всех это слово наводило ужас и страх.

— Ой, милый ты мой мальчик, да что же это они с тобой делают-то? Держат так долго в тюрьме. И что же: ты здесь вот так и сидишь один все эти десять месяцев?

— Нет, в основном я сижу в Томской тюрьме, а сюда меня привозят на десять дней.

— А сколько же тебе лет?

— Да вот, нынче с масленицы пошел семнадцатый, — отвечал я.

Зашел дежурный, и наш разговор был прерван. Вскоре пришла его смена. Когда сменщик ушел, к моей двери подошел «мой друг» Хаймидулин.

— Ну, как дела, арестант? — заглядывая в волчок, обратился он ко мне.

— Сейчас видел твою мать. Она знает, что тебя привезли, хочет передать передачу, но твой следователь не разрешает.

— Передай маме, что я жив и здоров, целую всех, тятю, маму и сестер, и пусть они сильно не переживают.

В 10 часов вечера отбой. «Гражданин дежурный, подойдите к моей камере», — слышу я голос моей соседки. Когда дежурный подошел к ее камере, она начала его упрашивать, чтобы он посадил ее на ночь ко мне.

— Я одна сильно боюсь, тем более без света, а тут еще бегают множество крыс.

— Ладно, подожди немного, попозже мы сделаем. И вот моя прекрасная незнакомка в моей

камере. Сначала она прильнула ко мне всем своим гибким телом, долго обнимала и целовала меня, а потом проговорила: «Ой, что я делаю, ты, наверное, голодный. Но мы с тобой сначала поужинаем, а потом ляжем спать вместе, постель у нас прекрасная: у тебя телогрейка, у меня осеннее пальто, так что не горюй». Однако наше дело не сладилось: только мы уселись, собрали ужин, в КПЗ ввалился дежурный по отделению милиции. Он сразу обнаружил отсутствие женщины в своей камере. Какой тут разразился скандал! Дежурный орал на Хаймидулина:

— Что ты натворил? Разве можно садить женщину к мужчине?

— Да какой он мужчина, — пытался оправдаться наш друг — Он еще совсем мальчик.

— Я покажу тебе мальчика, завтра же тебя вытурят из отдела, это же скандал на весь район!

Потом распахнулась дверь нашей камеры, мою незнакомку вышвырнули в коридор и посадили в самый дальний застенок. Через 20 минут Хаймидулина заменили другим милиционером. Об этом случае весь райотдел милиции вспо-

- 79 -

минал почти полгода, а Хаймидупин все эти месяцы был посмешищем для всех его сотрудников. Мой друг на дежурства не допускался месяцев пять или шесть.

На следующий день мою соседку сводили в больницу. Аборт не подтвердился, и ее освободили. Больше я никогда ее не встречал, но на всю жизнь запомнил.

«УЛИКИ» СЛЕДОВАТЕЛЯ ОДИНОКОВА

Я уже рассказывал, что когда знакомился с делом, то обнаружил две синенькие бумажки. В первой бумажке значилось, что «за недоказанностью улики производство по дальнейшему расследованию по делу гражданина Алина Д.Е. прекратить и арестованного освободить» и подпись: зам. прокурора Рогов. Во второй бумажке я прочитал: «Улики не доказываются, а собираются, поэтому производством расследование по делу гражданина Алина продолжить» и подпись: прокурор (фамилию не помню). Вот поэтому мой новый следователь Одинокоев и получил от своих вышестоящих хозяев задание — собирать улики продолжить. Собранных улик явно не хватало, чтобы меня судить, тем более сейчас, когда я отказался от всех своих ранее данных показаний. В те времена собирать улики для следственных органов не составляло никакого труда. Любого человека бери, веди в кабинет и спрашивай:

— Ты знаешь такого-то?

— Знаю.

— Ты знаешь, что он арестован органами НКВД?

— Знаю.

И больше ничего не требуется, кроме фантазии следователя. На первом же допросе Одинокоев и приступил к демонстрации новых «улик».

— Значит, ты категорически отказываешься от своих показаний?

— Да, отказываюсь.

— Ну что же, тем хуже для тебя, а сейчас мы проведем очную ставку, посмотрим, как ты заговоришь.

Следователь нажал на кнопку звонка, через минуту в кабинет вошел наш деревенский парень и, увидя меня, явно испугался. Я это заметил по его лицу: у него почему-то начал трястись подбородок, глаза забегали по кабинету. Он явно не знал, на чем остановить свой взгляд. Наконец, он нашел тот предмет, от которого боялся оторвать глаза. Он уставился на следователя. Я, не отрываясь, смотрел ему прямо в лицо, это сильно нервировало его. Его явно мучила совесть. «Значит, совесть-то еще у него есть», — подумал я. Одинокое приступил к делу.

— Гражданин Гусев Ефим, вы знаете человека, сидящего в кабинете?

— Да, знаю, это Алин Д.Е., житель деревни Каштаково, т.е. мой односельчанин, — вздрогнув, ответил Ефим.

— Что вы можете показать по данному делу?

— Одно время мы с Алиным находились в одной бригаде. Однажды мы вместе пахали одно поле. По дороге мимо нас проходила наша деревенская девушка по фамилии Елешева

- 81 -

Галина Сергеевна. Алин остановил лошадей и пригласил Гаю подойти к нему. В это время и я остановил лошадей, чтобы дать возможность им отдохнуть и пощипать траву и тоже присоединился к ихней беседе. Алин спросил у Гали, откуда она идет. Она ответила, что она идет из Малиновки, ходила в сельсовет за справкой на получение паспорта. Ну и что, дали тебе справку? Галя ответила, что дали. «Теперь получишь паспорт и уедешь из Каштаковой?» — спросил Алин. «Конечно, уеду», — ответила она. Мы поговорили еще немного, Галя попрощалась с нами и ушла. Когда она ушла, то Алин, как бы продолжая прерванный разговор, сказал: «Молодец Галя, что уходит из колхоза. — И добавил, — надо нам всем бежать из колхоза, иначе умрем с голоду».

— Гражданин Гусев, на допросе вы показывали иначе. Вы говорили, что Алин сказал: «Надо нам всем бежать из колхозов».

— Да, правильно, Алин так и сказал — из колхозов.

— Алин, вы подтверждаете то, что рассказал Гусев Ефим?

— Да, подтверждаю, но только начальную часть его показаний, а далее Гусев переврал то, что я сказал после ухода Гали. Я сказал: «Вот видишь, Ефим, молодежь всячески старается убежать из колхоза, а кто же должен пахать, сеять, убирать хлеб? Пушкин что ли? А есть-то хлебушко все хотят». Поэтому я категорически вам заявляю, что Гусев клеветает на меня.

Когда я сказал, что Гусев клеветает, тот незаметно пододвинул свой стул ближе к столу следователя, он явно боялся, что я могу его укусить или поцарапать ему морду. Но я сделал другое, чего он не ожидал. Я набрал полный рот слюны и, когда следователь позвал меня к столу, чтобы подписать протокол очной ставки, я с большим удовольствием харкнул в рожу Гусева. Следователь весь побелел и, вскочив, ударил меня в грудь ногой. Я быстро вскочил и,

схватив опрокинутую табуретку, размахнулся ею. Следователь присел, а свой удар я обрушил на Гусева. Гусев упал, а следователь, наступив на мое горло, сильно придавил меня к полу и так держал до тех пор, пока не вбежали в кабинет три милиционера. Вот так закончилась моя первая очная ставка со свидетелем, которую проводил мой новый следователь Одинок.

Буквально на пинках я был уведен в КПЗ и посажен в одиночную камеру, которую соорудили специально для моей персоны. На второй день я снова был вызван на допрос. Но на сей раз разговор со следователем не состоялся. Я категорически заявил, что показания буду давать только в присутствии прокурора, наблюдающего за следствием. Одинок несколько раз пытался заставить меня отвечать на его вопросы, но я молчал.

- 82 -

— Ну что же, если ты молчишь, тогда я составляю акт о твоём нападении на следователя,— стал пугать меня следователь.

— Составляйте акт, а я, как только приду в томскую тюрьму, напишу заявление в прокуратуру, в котором расскажу, что следователь Одинок часто избивает меня на допросах, поэтому я отказываюсь давать ему показания.

Моя мама тогда каждый день ходила вокруг райотдела, умоляла начальника милиции и следователя Одинокова дать разрешение на передачу, но все ее просьбы разбивались о тюремную стену. И ей приходилось тащить мешок с передачей обратно домой за 50 километров в зимнюю стужу, метель, в весеннюю распутицу и в летнюю жару. Господи Боже ты наш! Зачем ты обрушил столько горяшка на мою несчастную мать? Кто даст ответ на мой вопрос? Кто ответит за миллионы загубленных жизней ни в чем не повинных людей? ОТВЕТА НЕТ. И виновных тоже нет: все в порядке вещей, таковы законы социализма.

И снова особый корпус № 1. Когда я вошел в свою камеру № 7, то был сильно удивлен: вместо нар стояли железные койки, а на каждой койке лежал матрац, набитый соломой, подушка, одеяло и даже простынь. Во, чудо!

— Что ты удивляешься? Мы тут без тебя постарались, думали, что ты нас похвалишь и поблагодаришь, а ты только удивляешься. Теперь мы, брат, отсюда не уйдем, пока грибами не обрастем. Не жизнь, а малина, — встретил меня один из новых обитателей камеры. — Ну, давай знакомиться. Но прежде всего мы должны извиниться перед тобой, что в твоё отсутствие так бесцеремонно поселились в обжитой тобой берлоге.

— Ничего, ребята, как-нибудь помиримся, не будете же вы жить под открытым небом, мы ведь христиане. Так и поступим по-христиански. Так что я вас извиняю или, вернее сказать, ваше извинение принимаю.

— Ероховец Александр Викентьевич, — протянул мне руку говоривший, — родился и проживал в Томске. Родился по собственному желанию в 1915 году. А вот мой друг Степан Полуянов. Он тоже пожелал почему-то родиться в 1915 году, наверняка специально родился со мной в один год, чтобы мне одному не скучно было сидеть. И вот мы, так сказать, на пару с ним и устроились к вам, да и статья-то у нас одна: 58 и еще небольшие пунктики — 1а. Если расшифровать, то получается измена Родине.

Александр Викентьевич оказался веселым человеком, но его напарник, а если выразиться по-

тюремному,— одноделец — был человеком невеселым, замкнутым, в разговоры он почти никогда не вступал, все грустил, переживал. На свободе у него осталась жена с тремя детьми, последнему сынишке всего от роду полгодика, и конечно ему было не до

- 83 -

веселья. Находясь в КПЗ, он с разбегу ударился головой об косяк, желая покончить с жизнью, но ничего не получилось: разбег малый и удар оказался слабым для того, чтобы расколоть крепкий человеческий череп. Об этом нам рассказал балагур Александр Викентьевич.

На второй день к вечеру к нам подкинули еще одного, который оказался инженером-специалистом по сооружению мостов. «Везет мне на инженеров-мостовиков, — проговорил я. — В новосибирской тюрьме со мной в одной камере сидел некий Никифоров, тоже говорил, что он инженер по сооружению ж.д. мостов». Из дальнейших разговоров выяснилась не очень правдоподобная история, которая произошла с этим инженером. Жил он в Новосибирске и работал там же, был женат, имел ребенка — девочку. Жил нормально, можно сказать, хорошо, по нашим советским меркам. Он часто уезжал в командировки. И вот однажды, вернувшись из очередной командировки, он нашел свою квартиру пустой, на столе — записка: «Милый! Я ушла к другому. Так жить дальше не могу. Меня не ищи. Прощай. Люба».

И он запил. Пил долго и без просыпу. Однажды проснулся и обнаружил, что находится в камере. Через час в кабинете у следователя ему объяснили, что десять дней назад он пришел в управление НКВД по Новосибирской области и подал заявление, в котором просил арестовать его, так как он является врагом народа. И вот сейчас он прибыл в Томскую психиатрическую больницу на экспертизу. Допившись до чертиков, он ничего не помнил и не понимал, что с ним произошло. Через неделю его забрали с нашей камеры и, наверное, увезли на психу. Но оттуда он не вернулся, и мы так и не узнали, что с ним произошло: может, его освободили, а может, и увезли в Новосибирскую тюрьму.

Я в кабинете следователя Одинокова. «Ну, будешь молчать или начнем говорить?» Я молчал. «Хорошо! Ну, а теперь послушай, что пишут о тебе твои сокамерники, — и, достав клочок бумаги из стола, начал «читать», умышленно не называя фамилии автора мнимого доноса. — Сообщаю Вам, что я сижу в одной камере № 7 с Алиным Д. в Томской тюрьме и часто слышу его рассказы о том, что он занимался антисоветской агитацией, как он пытался вербовать молодых людей в контрреволюционную организацию, которую создавал. — Следователь еще многое прочитал, время от времени поглядывая на меня. Он был явно доволен своей выдумкой. А меня распирал смех. Дело в том, что следователь сидел спиной к окну, лучи солнца освещали бумажку, которая просвечивала насквозь, было отчетливо видно, что он держал в руках чистый листок. — Ну, вот видишь, что пишут о тебе твои товарищи?»

— Гражданин следователь, вы покажите мне эту бумажку и, если я в ней увижу то, что вы мне читали, то я сейчас

- 84 -

же подпишу все, что вы предложите, и даже снова признаю то, от чего категорически отказался. — Следователь заерзал на своем сидении.

— Ладно, увидишь, когда потребуется.

— А почему вы не хотите ее показать мне сейчас, ведь это же облегчило бы вам труд. Мне, честное слово, вас жалко: вы пожилой человек, а сколько тратите энергии на такие глупые уловки. Бумага-то, которую вы мне мусолили — чистый лист. Лучи солнца просвечивали его насквозь, я очень хорошо это видел. Вам не стыдно применять такие методы расследования?

— Молчать! Сукин ты сын, вздумал стыдить меня еще. Я тебе покажу! Я тебя сгною в тюрьме, да я тебя...

Долго он бесновался, махал пистолетом перед моим лицом, топал ногами.

— А что вы сердитесь, гражданин следователь, — спокойно проговорил я, — ведь вы сами в этом виноваты. А то, что вы можете меня сгноить в тюрьме — в этом я не сомневаюсь. У сильного всегда бессильный виноват. Об этом давно сказал дедушка Крылов.

— Так ты считаешь, что мы, следственные органы, надеемся на нашу силу?

— Да, я так считаю, а иначе я считать не могу, да и вы сами только что об этом и заявили, что можете меня сгноить в тюрьме. А вы доказали, что я действительно виноват в чем-нибудь, чтобы гноить меня в тюрьме? Это может сделать только суд, но не вы. Скажите, гражданин следователь, вы на самом деле считаете меня врагом народа? Я родился при Советской власти и другой власти я не знаю, и знать не хочу. Вы что, на самом деле считаете, что я хотел поднять восстание? Конечно, вы знаете, что все это чушь, но почему вы так стараетесь сделать меня врагом народа? Не потому ли, что вам приказали свыше?

— Прекрати болтовню! Сейчас посмотрим, что ты скажешь на очной ставке! — Он нажал на кнопку звонка и вызвал милиционера.

— Пригласите свидетельницу Елишеву.

Через две минуты открылась дверь, в кабинет робко озираясь по сторонам, вошла Пелагея Сергеевна Елишева и, увидев меня, вздрогнула, опустила глаза вниз, не решаясь взглянуть мне в лицо.

— Что же ты не здороваешься-то, Поля? Ведь давно не виделись.

— Алин, прекрати разговоры! — прорычал Одинокоев.

— А что, нельзя поговорить с сестрой? — ответил я.

— А я говорю вам — прекратите!

— Ладно, — согласился я.

— Садитесь, Елишева, — обратился Одинокоев к Пелагее. Она потихоньку села на стул с краюшку, словно заглянула

- 85 -

сюда на минутку и не собирается здесь долго задерживаться.

— Гражданка Елишева Пелагея Сергеевна, вы знаете этого человека?

— Да, знаю, — ответила она.

— Назовите его имя, отчество, фамилию.

— Это Алин Данил Егорович.

— Где вы с ним познакомились?

— Мы жили с ним в одной деревне Каштаково.

— В каких взаимоотношениях вы с ним состояли?

— Ни в каких.

— Вы не поняли моего вопроса, я вас спрашиваю, не были ли вы в ссоре с ним?

— Нет, мы с ним вроде бы никогда не ругались и не дрались.

— Скажите, Елишева, что вы можете показать по делу Алина Данила?

При таком вопросе Поля вроде бы хотела взглянуть на меня, но быстро опять опустила голову. Она не знала, с чего ей начать. Видя растерянность свидетельницы, следователь подсказал ей:

— Елишева, вы подтверждаете свое показание, которое давали на следствии?

— Да, подтверждаю, — обрадовалась Поля.

— Так повторите то, что вы показали.

— Мы с Алиным были в одной бригаде. На сеноуборке он всегда работал на конных граблях. Однажды во время обеда наш бригадир Семен Титыч приказал ему, чтобы он после обеда поехал грести на другой участок, а Алин отказался, и они долго ругались с бригадиром. Вот я и думаю, что Алин специально тормозил уборку сена.

— Что еще вы можете показать?

— Еще я могу показать, что Алин вербовал в какую-то организацию Алина Александра Петровича.

— От кого вы это слышали?

— Да я уже забыла от кого, знаю, что был такой разговор, тогда вся деревня об этом говорила.

— Вы знаете гражданку Елишеву Пелагею Сергеевну? — Приступил довольный следователь к опросу обвиняемого.

— Знаю, а что не знать-то? Наша деревенская девка, моя родственница, хотя она сейчас и не признает меня за родственника, пусть это останется на ее совести.

— Что вы можете сказать по поводу ее показаний?

— Я сначала хотел бы задать вопрос свидетельнице.

— Пожалуйста, задавайте.

— Пелагея Сергеевна, вы не помните, в каком году произошло то событие, о котором мы ведем разговор?

— Наверное, года два или три тому назад.

— Я «уточню, в каком году это было. Этот случай произошел летом 1937 г., тогда мне было всего 13 лет. По-твоему, Пелагея Сергеевна, я в то время уже был врагом народа?

- 86 -

— Откуда я знаю? — ответила Поля.

— Но ты же только что сказала, что я не хотел грести сено, из чего ты сделала вывод, что я сознательно тормозил и саботировал заготовку кормов.

— Да я откуда знаю? — проговорила Елишева.

— А если ты не знаешь, тогда зачем говоришь? Ты думаешь, что с тобой тут в бирюльки играют? Ведь твои показания могут подвести меня под расстрел. Не хорошо, сестрица!

— Хватит, Алин, — одернул меня следователь. — Я тебе задал вопрос. Что ты можешь сказать по поводу показаний свидетельницы ?

— Был такой спор между бригадиром и мной. Семен Титыч меня посылал грести на тот участок, где сено просохнуть еще не успело. Поэтому я ему доказывал, что тот участок грести рано, сено в стогах сгниет. У нас был другой участок, где сено уже давно высохло. Вот на этой почве и произошла ссора. И вообще: бригадир за день переругается со многими. Работа есть работа. Что же, о каждой ругани сообщать в НКВД?

— Говорите по существу данного вопроса, — огрызнулся следователь.

— А по существу я уже все сказал, добавить ничего не могу.

Вот такая получилась очная ставка № 2. Много еще было очных ставок, и все они были примерно вот такого же содержания. Показать что-нибудь более серьезное на меня никто не мог. Следователь вызывал, заставлял показывать, люди и придумывали всякую чушь, боялись за свою шкуру. «Пусть тонет другой, а я не хочу», — вот такой философии они придерживались. Через многие годы мне довелось со многими свидетелями повстречаться, все они в один голос утверждали, что боялись, поэтому и показывали. Но почему же не побоялись отказаться от всех показаний Алина Настасья Ивановна, Маштаков Леонид Григорьевич, Пятков Федор Зиновьевич? Да потому, что не хотели и не могли быть подлецами. Я всю свою жизнь был им благодарен за это.

НЕОЖИДАННЫЙ ДОПРОС

Томская тюрьма, камера № 7. Открывается кормушка, голос надзирателя: «Алин, на допрос». Вскоре я оказался в маленькой комнатке в здании управления тюрьмы. За столом сидел давно знакомый мне человек — бывший начальник Зырянского райотдела НКВД.

На минуту я прерву свой рассказ о допросе и вернусь в весну 1939 года. Уважаемый читатель, наверное, помнит ночной разговор между нашим бригадиром Худобиным Николаем и конюхом

Гусевым Андреем, из которого я узнал, что в деревне обо мне говорят как о враге народа. И вот с той ночи я каждый день ожидал ареста. Однажды приезжаю на обед на культстан и сразу заметил незнакомого мне мужичка среднего роста с приветливой улыбкой. Одет он был в гражданский костюм, поверх которого был накинут знаменитый серый плащ с блестящими медными пуговицами. Я понял, что приехавший — человек из НКВД. Мое сердечко ушло в пятки, но внешне я старался быть спокойным и делал вид, что незнакомец меня совсем не интересует, но сам незаметно наблюдал за ним. Бригада была вся в сборе, сидели за общим столом, хлебали суп. Я смотрю — мой незнакомец подходит к стене, где висел список пахарей всей бригады. В этом списке указывалось, кто сколько пахал. Ежедневная сводка. И вдруг он спрашивает: «Кто Алин Данил Егорович?» — Я отозвался. Он так внимательно посмотрел на меня.

— Слушай, товарищ Алин, как это у тебя получается, что ты ежедневно не выполняешь норму вспашки? Норма вспахать гектар, а ты пашешь 60-70 соток. Я ответил, что я пашу первый год и поэтому не имею еще опыта, да и лошадей-то мне дал бригадир самых худущих, заморенных.

— Слушай, бригадир, почему так получается у тебя с лошадьми? — обратился незнакомец к бригадиру, на что Худобин ответил, что все лучшие лошади закреплены за старыми бригадниками, а Алин новенький, поэтому ему и достались плохие лошади. На этом разговор со мной был окончен. Затем он для порядка побеседовал еще с людьми и, распрощавшись со всеми, собрался уезжать. Когда он одевал плащ, я увидел, что у него на левом боку болтался кинжал в красивом футляре, а справа висел пистолет. А как же иначе: ведь он ехал на свидание с государственным преступником. И вот ровно через год мы снова встретились с ним, но не на культстане, а в тюрьме. Я его сразу узнал. Да и он, видимо, признал того Пугачева, с которым довелось ему встречаться весной 1939 года, только в других условиях. Я поздоровался, он тоже.

— Садитесь, — пригласил он меня и, улыбнувшись, добавил, — Ну что, молодой человек, узнаешь?

- 88 -

— Конечно, я вас сразу узнал, гражданин начальник.

— Я привез тебе добрую весть.

У меня радостно заколотилось сердце. «Не свободу ли?» — подумалось.

— По поручению следственного отдела областного НКВД я обязан ознакомить вас с новым обвинительным постановлением. — И, достав из портфеля бумагу, зачитал мне содержание постановления (воспроизвести его я не могу, забыл, прошло с тех пор ровно 53 года). Суть его такова: все пункты о восстании, терроре, о повстанческой организации отпали. Остался только один пункт обвинения — ст. 58 п. 10 (антисоветская агитация).

— А теперь вот здесь распишитесь, что вы с новым постановлением ознакомились.

— Я поставил свою подпись.

— Слушайте, молодой человек, — обратился он ко мне, — я вижу по вашему лицу, что вы чем-то недовольны?

— А чем, гражданин следователь, я могу быть доволен?

— Да ты понимаешь ли то, что я тебе зачитал? Ты понимаешь ли то, что значит только один второй пункт? Это же восстание, а 8 пункт — это же террор. И вот эти два пункта из постановления ликвидируются, а это же значит, что следственные органы не поверили тем показаниям свидетелей, значит, если так дело пойдет дальше, то тебя могут и оправдать. Теперь все зависит от тебя, от того, как ты поведешь себя на следствии.

— Гражданин следователь, разрешите задать вам один вопрос?

— Пожалуйста, задавай.

— Зачем вы приезжали на культстан весной 1939 года?

— Моя фамилия Жаров. В то время я работал в Зырянском отделе НКВД. И как только я получил сигнал на тебя, я решил сразу же познакомиться с тем, кто готовит восстание. Скажу откровенно, я не ожидал, что встречу мальчика-повстанца. Я сразу убедился в том, что все разговоры о восстании и терроре — полная чушь и, если бы меня не перевели тогда в Томск, то я бы давно тебя уже освободил. Недавно я ездил по делам в Зырянку, и мне довелось встретиться с твоей матерью. Я и ее постарался успокоить, что все для тебя кончится благополучно, и все, что на тебя наболтали, является только болтовней. А теперь до свидания. Желаю встретить вас на свободе. Я надеюсь, что все, о чем мы с вами побеседовали, останется между нами. Я тоже не застрахован оттого, что постигло вас. Как говорится, «от сумы да от тюрьмы не зарекайся».

Вот на какой допрос я был вызван в июне 1940 года. Были и в то время добрые люди в органах НКВД. А Жаров до сих пор живой и проживает в г. Томске. А встретиться с ним мне до сих пор не удалось. Но я всю свою нелегкую

- 89 -

жизнь о таких людях не забывал. И до сих пор вспоминаю о них с благодарностью.

Вернувшись в камеру, я подробно рассказал ребятам обо всем, что услышал от Жарова. Все сокамерники были рады за меня. Особенно радовался за меня мой дядя Федор Ильич. Он все это время переживал за меня, хорошо понимая, чем может кончиться мое дело. Восстание, террор — об этом страшно подумать. Сейчас все то, что инкриминировали мне, кажется смешным, но в те кровавые времена совсем было не до смеха.

Продолжу рассказ еще о двух обитателях камеры № 7. Ероховец Александр Викентьевич, 1915 года рождения. До ареста проживал в г. Томске, был женат, но детей еще не было. Весной 1940 года его призвали в Красную Армию. Не для того, чтобы служить, а на переподготовку на 4 месяца. Находясь на сборном пункте в городе Томске, они с дружкой Полуяновым Степаном решили сбегать к себе домой. Пришли, выпили, показалось мало, пошли к друзьям, там добавили. Короче говоря, наклюкались до потери сознания, по-русски. А пьяному, известно, любое море по колено. На второй день похмелились на другой бок и пошло-поехало. А на четвертый день их обоих схватили и привезли на сборный пункт. На второй день с гауптвахты обоих поволокли к следователю. А там Саша, еще не отрезвевший как следует, сначала вступил в пререкание со следователем, а потом и поколотил его. И дело закрутилось. С начала следствия их хотели пропустить по 193 статье УК РСФСР, обозначив их действия как самовольную длительную отлучку. Но военный прокурор запротестовал, и им обоим ввалили

58-ю пункт 1а — измена Родине в мирное время. Вот так оба оказались под следствием как изменники Родины.

Забегаю вперед лет так на 26, скажу, что мне довелось встретиться с Ероховцом Сашей в 1966 г. Я тогда работал на лесозаводе в г.Асино. Я много раз слышал знакомую мне фамилию Ероховец, и у меня появилась мысль: а не тот ли это Ероховец из камеры № 7 Томской тюрьмы? И вот нашелся человек, который устроил нашу встречу. Мне позвонили и сообщили что в 5 часов вечера меня будет ждать на центральной проходной лесозавода Ероховец Александр Викентьевич. Этот час я ждал с нетерпением и сильно волновался: шутка ли — 26 лет прошло с тех пор, как мы с ним расстались. Сколько же воды-то утекло за эти годы! Сколько пережито и испытано! Узнаю ли я его? В 40-ом году ему от роду было 25, а сейчас 51. Мне было 17, а сейчас 43.

И вот я иду на центральную проходную. Не дойдя до проходной, я увидел мужчину среднего роста в полушубке, который смотрел в мою сторону. Я узнал его! Да, это он! Он же меня не узнал, да и не мог узнать. Он видел меня пацаном, а теперь к нему подходил пожилой мужчина. И

- 90 -

когда я остановился перед ним, я не выдержал и воскликнул: «Сашенька, дорогой ты мой человек!» Он кинулся ко мне, обнял меня, поцеловал и заплакал. Заплакал и я. Вот так мы и стояли молчком, в слезах, сжимая друг друга в объятиях, а люди проходили мимо нас и не понимали, что за встреча. Почему два пожилых мужчины обнимают друг друга, плачут и улыбаются радостно?

В первую ночь нашей встречи мы не сомкнули глаз, проговорили всю ночь. Да разве за одну ночь выскажешь все то, что нам пришлось пережить за эти годы! Он мне рассказал, что войну он встретил уже в лагере в городе Новосибирске на ОЛП № 1. Этот лагерь располагался неподалеку от авиационного завода им. Чкалова и они работали на территории завода. Лагерь, в котором тогда находился я, тоже работал на заводе им. Чкалова. Оказывается, что мы жили друг от друга недалеко, но встретиться не могли — разные зоны. Он рассказал, что все 10 лет отсидел в одном лагере, а я в 1946 году попал на Колыму еще на 10 лет. Итого получилось 17 лет. В Новосибирске — 7, да на Колыме — 10. Освободился только после 20-го съезда партии — в 1956 году. Он рассказал, что так и живет все с той же женой, с Марией Павловной, о которой часто нам рассказывал в камере. Он гордился своей женой, которая честно жила и ждала его эти долгие 10 лет. В 1975 году он ушел на пенсию, и уехал в родной город Томск. С тех пор мы с ним не встречались, не знаю — живой ли мой друг Саша?

Вернемся, однако, в 7 камеру. Александр Викентьевич интересно рассказывал о Томске. Он знал много историй из разгульной жизни легендарного томского купца Кухтерина. Несколько ночей мы слушали рассказы о том, что купец Кухтерин содержал банду, которая терроризировала дороги Иркутского тракта, грабя и убивая богатых путников, а все награбленное они честно отдавали купцу, который и содержал их. Но кроме разгульных ночных кутежей Кухтерин занимался широкой благотворительностью. Он содержал за свой счет ночлежки для бездомных и бедных людей. К каждому празднику Кухтерин направлял целый обоз в тюрьму с разными праздничными яствами. Я запомнил такие Шашины рассказы о томском цирке, где он собственными глазами видел знаменитых борцов, в том числе мирового

силача и борца Ивана Поддубного. Видел он и знаменитого дрессировщика животных Дурова и многих других. Словом, о родном городе Томске Саша знал много и рассказывал очень интересно, хотя был малограмотным человеком. Этим своим знанием он гордился и правильно делал.

Однажды вечером в нашу камеру втолкнули маленького, щупленького старичка. Как выяснилось потом, от роду ему было 53 года, но по виду ему спокойно можно было дать все 70, а то и больше.

- 91 -

— Здравствуйте, — проговорил вошедший.

— Здравствуйте, — хором ответила камера.

— Ну что, проходи дед! — пригласил его Саша.

— Вот твоя койка, располагайся.

Это прибыл восьмой жилец. Игра в домино была прервана, и желания продолжать ее ни у кого не оказалось. Все знакомились с новеньким. Может, он сможет что-нибудь сообщить о жизни там, на свободе. Старичок оказался не из робких, да уже и немало хлебнувшим тюремной мурцовки.

— Звать Георг Лупсович, 1887 года рождения, фамилия моя Собослай, по национальности — венгр, последнее время проживал в городе Томске на улице Советской, дом 101, кв. 1, работал на ликеро-водочном заводе плановиком. Обвиняют меня в шпионаже в пользу Венгерской капиталистической страны.

— Что-то ты, дед, тово, худой больно!

— Будешь худой, если три месяца следователь мучил, избивал, опускал в холодный и мокрый подвал, где давали триста грамм хлеба и кружку холодной воды на сутки. А в камере у меня шакалы отбирали пайку. Они все молодые и здоровые парни. Вот поэтому я и стал такой старый да «жирный».

— Зачем же ты, Георг Лупсович, приехал к нам в нашу страну?

— Да я не приехал, меня привезли в Россию в 1916 году как военнопленного. Поместили нас в городе Иркутске, где был огромный лагерь военнопленных, собранных со всей Европы. После октябрьского переворота в 17 году нас постепенно стали отпускать на Родину. Я не захотел возвращаться в свою Венгрию, а в 1918 году вступил в ряды Красной Армии, а потом — гражданская война. Находясь в рядах РККА, я подал заявление и стал активным членом ВКП(б). После гражданской войны я окончил рабфак и работал на разных работах: бухгалтером, нормировщиком, экономистом. Женился на русской, имею 2-х детей, дети уже оба взрослые. Я сумел дать им высшее образование. Сейчас не знаю, что с ними: может и их посадили, ведь они являются детьми врага народа.

— А что, дед, ты действительно шпион? — обратился с таким вопросом к Георгу наш словоохотливый Саша.

— А вы за что здесь сидите?

— Да мне следователь говорит, что я изменил Родине.

— Вы на самом деле изменили Родине?

— Да нет, дед, какая измена? Три дня пропьянствовал, а потом еще похулиганил, вот и вся измена.

— Ну, вот и я такой же шпион, как ты изменник, — проговорил Георг. На этом разговор окончен, и больше мы к этому никогда не возвращались.

— Дед, а вы в шахматы играете?

- 92 -

— Да в молодости играл маленько, — ответил Георг.

— Тогда давайте сыграем, — предложил я. Он согласился.

В то время мои сокамерники считали меня неплохим шахматистом и я, конечно, этим гордился.

И вот начался «исторический» шахматный турнир. Я, как всегда, игру начинал ходом пешкой от короля, притом на две клеточки вперед. Мой партнер делал ходы совершенно непонятные для меня. Я старался быстрее вывести на поле боя главные фигуры: ферзя, слонов, коней, мой противник спокойно передвигал пешки, но при каждом ходе он неожиданно разрушал все замыслы моей «стратегии» и мне приходилось отступать своими фигурами на исходные рубежи. Все мои попытки проникнуть внутрь расположения войск противника не имели успеха, а он планомерно теснил меня своими солдатами, а потом неожиданно объявил, что через пять ходов я получаю мат. Я был крайне удивлен. Он предложил мне самому оценить ситуацию, создавшую матовый исход игры. Я почти целый час разбирался в том, с какой стороны надвигается угроза, но обнаружить ничего не мог. Тогда Георг показал мне, что и как. Через пять ходов я получил мат. Я предложил сыграть еще одну партию. Георг отказался. Свой отказ он мотивировал тем, что я играть совсем не умею, и не буду уметь никогда. Шахматистом надо родиться, — заявил он, — так же как поэтом, художником, музыкантом. Притом шахматную науку надо долго и настойчиво изучать.

— У тебя же ничего этого нет, и ты никогда никого не приглашай играть в шахматы, если не хочешь попасть в неловкое положение. А теперь послушай историю из моей жизни. Я уже рассказал, что я в Россию попал как военнопленный и, находясь в лагере военнопленных в г. Иркутске, где были собраны люди со всего белого света (война-то шла мировая), мы решили организовать международный шахматный турнир, на котором я оказался победителем и мне было присвоено звание чемпиона мира по шахматам.

Так я играл в шахматы с чемпионом мира! Выходит так. Георг Лупсович много рассказывал об истории шахмат, о происхождении этой замечательной игры, о ее родине, познакомил меня с правилами игры. Я был молодой, любопытный, все запоминал, а позже, когда уже находился в лагерях, много раз выполнял на турнирах роль арбитра.

Прежде чем попасть в нашу камеру, Георгу довелось много претерпеть и голода, и холода, и побоев. Таким образом, он превратился почти в доходягу, дистрофика. И вот примерно через

неделю нам дали добавку, оставшуюся после раздачи ужина, суп гороховый. Георг получил горохового супа полную миску и с голодухи сразу все съел. А через полчаса его скрутил живот: сначала он потихоньку стонал, но потом боль усилилась, а живот его становился твердым и

- 93 -

почти на глазах распухал. Мы начали стучать в дверь, требовать врача. Но в тюрьме пока дождешься врача, можно десять раз умереть. Но, слава Богу, Георг умереть не успел. Его утащили на носилках. А через полмесяца он снова появился в нашей камере и, когда поднял рубашку, мы увидели огромный шрам, от ложечки до пупа. Заворот кишок, чудом остался жив.

Недавно я приобрел в томском «Мемориале» книгу памяти томичей, репрессированных в 30-е — 50-е годы (том третий), книга называется «Боль людская». В ней на 142 странице я обнаружил фамилию нашего Георга Лупсовича, арестованного в 1940 году, осужденного на 10 лет ИТЛ. Все эти пятьдесят лет я вспоминал о нем. Я не знал, сколько ему вломили сроку. Когда мы сидели с ним в камере № 7, он всегда говорил, что сидит до суда, а суд, конечно, разберется, и его освободят. Да, жди освобождения, но через деревянный бушлат. Было такое лагерное выражение: освободился в деревянном бушлате, т. е. умер.

- 94 -

В КАПКАНЕ

Девятого августа 1940 года меня и Федора Ильича привезли в Зырянку на суд. На следующий день первого вызвали дядю Федора, вернулся он в камеру в 6 часов вечера уже осужденным на 7 лет лишения свободы и 5 лет поражения в правах. Одиннадцатого августа за мной пришел «мой друг» Хаймидулин. Когда мы вышли на улицу, Хаймидулин мне шепнул: «Сейчас ты увидишь свою мать, она ждет нас за воротами. Я сообщил ей, что сейчас выведу тебя».

Только мы вышли за ворота, как я сразу же увидел мою маму, которая стояла чуть в сторонке, ожидая меня. Я остановился, мама бросилась ко мне, схватила меня за шею и начала целовать в лицо, целовала мои руки, ее всю колотило, она, видимо, была вне себя. Наше свидание продолжалось не более минуты. Испуганно оглядываясь по сторонам, Хаймидулин торопил: «Прости, мамаша, нам останавливаться нельзя — рядом отделение, нас могут увидеть в окно». И я, оторвавшись от матери, пошел туда, где должна решиться моя судьба.

Пройдя несколько шагов, я оглянулся и крикнул маме: «Мама, не горюйте, меня им засудить не удастся, я все кляузы разобью и справедливость восторжествует, а тяте и сестренкам передай, что я вас всех очень люблю и думаю, что скоро к вам вернусь!» Я, конечно, не был уверен в том, что мы скоро встретимся, но считал, что надо сказать слова надежды горем убитой матери.

Суд состоялся при закрытых дверях. Тогда всех «врагов народа» судили при закрытых дверях. А иначе нельзя. Всё суды составляли государственную тайну, народ не имел права знать, за что судили человека, какое он совершил преступление. В центре маленькой комнатки стоял стол, покрытый черной скатертью, за которым восседал председатель суда. Слева сидел прокурор в темно-синем костюме, на рукавах которого вышит герб РСФСР. Это был мужчина лет сорока, приятной наружности, блондин. Справа от председателя сидел маленький щупленький седой старичок лет под 70 — адвокат. За моей спиной стояли два конвоира с пистолетами в руках. За

конвоем в сторонке сидел следователь Одинокоев, присутствие которого в зале судебного заседания запрещалось и тогда. Несмотря на запрет, Одинокоев считал, что его присутствие в судебном заседании необходимо для того, чтобы придать уверенность свидетелям, чтобы они не боялись и уверенно показывали то, о чем они договорились на следствии. Это мое предположение. Этот первый в моей жизни суд я запомнил на всю мою жизнь. Я был решительно настроен не признавать предъявляемые мне обвинения.

- 95 -

— Признаете ли вы себя виновным? — задал вопрос председатель суда.

— Нет, — твердо ответил я.

— Есть ли у вас какие ходатайства?

— Да. Я прошу суд затребовать протокол бригадного собрания, которое состоялось 17 апреля 1939 года, и на котором я присутствовал. Это собрание началось часов в 10 вечера и кончилось часа в 2 ночи, а Алин Александр Петрович показывает, что в 11 часов ночи я пригласил его пройтись с ним к реке Чулым, где, якобы, предложил ему вступить в повстанческую организацию.

— Мы вас не за это судим, поэтому считаем, что такой запрос делать нет никакой необходимости.

— Больше ходатайства у меня нет.

— Позовите свидетеля Алина Александра Петровича.

— Свидетель Алин Александр Петрович, что вы можете показать по разбираемому делу?

— Вечером 17 апреля мы, вся молодежь нашей деревни, находились возле трибуны. Часов в 11 вечера Алин Данил Егорович подошел ко мне и пригласил пройтись с ним. Когда мы подошли к берегу Чулыма, Данил предложил мне вступить в организацию, которой он руководит. Я спросил, что это за организация, Данил ответил, что он создал повстанческую организацию, цель которой свергнуть Советскую власть.

— Алин Данил Егорович, есть ли у вас вопросы к свидетелю? — обратился председатель ко мне.

— Есть. Александр Петрович, не можете ли вы сказать, кто видел, что мы с тобой пошли по направлению к Чулыму?

— Да, могу. Нас видел Ермаков Яков Владимирович и Фокин Александр.

— У меня вопросов больше нет, но я хочу сказать по поводу его показаний.

— Говорите, — разрешил председатель.

— Во-первых, откуда свидетель Александр Петрович мог узнать, что нас видели Ермаков Яков и Фокин Александр? Ведь он показывает — у трибуны молодежи было много. Получается, что Александр Петрович всю молодежь опрашивал и выяснил, что нас видели только двое. Из этого можно сделать вывод, что Александр Петрович подговорил тех двух, чтобы они подтвердили, что видели нас. Во-вторых, я заявлял в своем ходатайстве перед судом, чтобы суд затребовал

протокол бригадного собрания, где сказано, что собрание закончилось часа в два ночи. А это значит, что в 11 часов вечера меня у трибуны не было, поэтому я и не мог увести свидетеля к реке Чулым. Исходя из сказанного, я категорически заявляю суду: все, что показал Алин Александр Петрович, является сплошной клеветой.

— В суд вызывается Ермаков Яков Владимирович. Сви-

- 96 -

детель Ермаков, расскажите все, что вам известно по данному делу.

— Числа 19 или 20 апреля я услышал, что вечером в воскресенье Алин Данил Егорович вербовал Алина Александра Петровича в контрреволюционную организацию, целью которой было свержение Советской власти. Вот и все, что я слышал.

— Свидетель Ермаков, скажите, от кого вы об этом слышали? — задал вопрос прокурор.

— Да я уже забыл, от кого. Об этом тогда знала вся деревня.

— Свидетель Ермаков, вы видели в воскресенье вечером, когда Алин Данил и Алин Александр пошли вместе к реке Чулым?

— Нет, я не видел, потому что в этот вечер я присутствовал на бригадном собрании и вел протокол собрания.

— Свидетель, присутствовал ли на этом собрании Алин Данил Егорович?

— Да, присутствовал. После собрания мы вместе с Алиным пошли домой, так как нам идти с ним по пути.

— Когда вы расстались с Алиным Данилом, вы видели, куда он пошел?

— Алин Данил пошел домой. Я живу дальше него, поэтому до своего дома я дошел один. Я видел, что у трибуны уже никого нет, так как время уже было позднее, поэтому я тоже пошел домой.

— В суд вызывается свидетель Фокин Александр. Свидетель Фокин Александр, что вы можете показать по данному делу?

— В конце апреля месяца я услышал, не помню от кого, что Алин Данил вербовал в какую-то организацию Алина Александра Петровича и что последний согласился на это, но потом передумал и решил об этом сообщить в НКВД. Вот и все, что я могу сообщить суду.

— Гражданин Фокин, вы видели, как вечером 17 апреля 1939 года Алин Данил и Алин Александр вместе пошли от трибуны по направлению р. Чулым?

— Нет, не видел.

Потом суд вызывал еще множество свидетелей и все они говорили почти одно и то же: где-то от кого-то слышали, что Алин Данил пытался завербовать Алина Александра в какую-то организацию, но последний отказался вступить в эту организацию, а потом сообщил об этом в НКВД, и Алина арестовали почему-то только в сентябре, хотя слух прошел в апреле. В конце

заседания выступил прокурор, который в своей речи предложил: судебное заседание отложить, а мое дело опять передать в следственные органы на доследование по 58 статье пункты 2, 10, 11, что означает подготовку к вооруженному восстанию с целью свержения существующего

- 97 -

строя в СССР, антисоветскую агитацию и принадлежность к контрреволюционной организации.

После совещания суд удовлетворил желание прокурора и передал мое дело в следственные органы на доследование. По существу в таких случаях суд обязан освободить человека. Коли за 11 месяцев собирания улик их не смогли насобирать — значит, тех улик просто нет. Но в то время я не знал, что суд не имел права освободить человека, который привлекался за контрреволюционную деятельность. Это имели право сделать только те органы, которые начали такое дело. Вот так. Значит, зря радовались мои сокамерники, когда мне предъявили новое обвинение только по одному десятому пункту 58 статьи. Все возвращается на круги своя: я уже просидел ровно 11 месяцев, а конца моим мытарствам не видно и не известно, когда все это кончится.

Я помню, что, впервые очутившись в Новосибирской тюрьме, я подумал: «Неужели я просижу здесь месяц?» Тогда по наивности я рассуждал так, что разберутся и отпустят, а для этого потребуется самое большое дней 20. По ночам я мечтал, как выйду в город Новосибирск, как постучу в двери квартиры моей сестры Стеши, которая жила на улице имени Дуси Ковальчук, как обрадуется моя сестреночка, моя няня. В то время, когда я мечтал об этом, моя сестра стояла в километровой очереди, протянувшейся вдоль тюремной стены Управления НКВД по Новосибирской области. Очередь состояла из одних женщин: молодых, пожилых, даже старушек, которые часами выстаивали около тюремного окна, чтобы хоть что-нибудь узнать о своих близких, находящихся в тюрьме. А из окна бесстрастно отвечали: «Идет следствие». И окно захлопывалось, и так каждый день. Мою сестру многие сразу заметили, что она деревенская.

— А вы к кому? — с удивлением спрашивали мою сестру, так как во внутреннюю тюрьму деревенских не сажали. Здесь сидели люди высокого полета: партийные работники, директора предприятий, доктора наук, профессора институтов и университетов. Соответственно и очередь состояла из женщин этой среды. И вдруг — деревенская баба!

— Да я к братишке, которого арестовали в моей родной деревне Каштаково, он учился в 6 классе...

— Ох! — сокрушались женщины. — Это что же творится. Уже начали школьников... — тихо шептали в очереди.

Об этом мне рассказывала моя сестричка-няня спустя много лет после тех километровых очередей. В то время такие очереди тянулись по всей нашей необъятной державе. И так 70 с лишним лет. А многие до сих пор кричат: «Раньше-то мы жили хорошо». Да вы-то, может, жили и хорошо, а основная масса народа не жила, а гнулась в три погибели от рождения до дня смерти. Так что — пора бы

- 98 -

перестать кричать о том, что вы хорошо жили. Неужели не стыдно вам?

И вот снова Томская тюрьма. После бани мы распрощались с Федором Ильичом, моим дальним родственником. Мне, почему-то, всегда думалось, что мы когда-нибудь обязательно должны встретиться. Но, увы, жизнь распорядилась иначе — встретиться нам не довелось. Мне известно, что он отбывал срок в Мариинских лагерях и освободился после окончания войны. Но долго на свободе пожить ему не пришлось, он вскоре умер — лагерь сделал свое дело. Помянем же добрым словом его и сохраним его доброе имя в своей памяти и пошлем проклятие тем, кто отнял жизнь у честного труженика и благородного человека. А теперь я продолжу свой рассказ о том, что дало дополнительное расследование.

— Гражданин следователь, разрешите задать вам вопрос? — обратился я к Одинокovu, опять оказавшись в его опостылевшем кабинете.

— Что за вопрос? Здесь вопросы задаю я, — огрызнулся он, но вопрос задать разрешил.

— Вам, гражданин следователь, не кажется, что вы начинаете толочь воду в ступе?

— Почему вы так думаете?

— Да потому, что уже пошел второй год, а все говорим об одном и том же. Нового ничего нет, и не будет, уверяю вас.

— А вы не торопитесь, будет и новое. И, надеюсь, оно вас не обрадует, — ответил следователь.

— Послушайте, что рассказал мне новый свидетель, допрошенный мною по вашему делу. Вы знаете Фокину Веру?

— Да, знаю. Это моя односельчанка, совсем еще молоденькая девочка.

— Слушайте, что она показывает: «Я, Фокина Вера, летом 39 года часов в 12 ночи проходила мимо амбара сельпо и услышала разговор двух мужчин. По голосу я узнала, что разговаривали Алин Данил и Кореньков Иван. Я остановилась и прислушалась. Кореньков спрашивал Алина: «А где мы достанем оружие?» На что Алин ответил: «На первый случай у нас оружие уже есть, а дальше, когда мы освободим заключенных из лагеря, то там достанем оружие». Я, услышав это, сильно испугалась и побежала домой, поэтому дальнейшего разговора не слышала». Что по этому показанию можете сказать?

— Во-первых, я прошу вас, гражданин следователь, каждое мое слово зафиксировать в протоколе допроса, иначе я протокол не подпишу. Во-вторых, амбар, о котором идет речь, расположен в самом центре нашей деревни, поэтому в любое время суток мимо этого амбара проходят люди. Мы с Кореньковым могли бы найти более укромный уголок, чтобы

- 99 -

обсудить такой важный вопрос, как вопрос об оружии. Вам, гражданин следователь, не кажется, что все это опять шито белыми нитками? В-третьих, Коренькову Ивану в то время от роду уже было 50 лет, и в семье у него было пятеро детей, а мне тогда едва исполнилось 16 лет, и надо быть круглым дураком, чтобы связаться с малолетним пацаном, тем более стоять с ним в центре деревни и обсуждать вопрос о каком-то оружии. Потом: откуда и куда могла идти в ночное время совсем еще молоденькая девчонка? Гражданин следователь, я считаю, что показания

Веры ни в какие ворота не пролазят. И вообще, разрешите вас спросить, кто придумал все это: вы или Вера? Вспомните, как вы с чистого листа бумаги зачитывали «заявление» моего сокамерника о том, что я будто бы всем рассказывал о своем намерении поднять восстание и свергнуть Советскую власть! Это произошло совсем недавно. После этих ваших фокусов могу я вам верить? Конечно, нет.

На этом разговор был окончен. Забегая немного вперед, скажу, что о показаниях Веры Фокиной я больше не слышал: их не было. О них не упоминали на суде. Да такая грубая фальсификация, состряпанная следователем и не могла нигде фигурировать. Я об этом спектакле потом рассказал на суде. В те времена я по своей наивности думал, что суд обратит какое-то внимание на грязную работу следственных органов. Как же я ошибался!

На следующий день я сказал следователю, что как только прибуду в Томскую тюрьму, так сразу же напишу заявление на имя прокурора, наблюдающего за ходом расследования по моему делу, в котором укажу факты грубого нарушения им процессуального кодекса.

— Слушай, Алин, я вижу, ты совсем обнаглел. В чем выражается нарушение мною процессуального кодекса? — рявкнул Одинок.

— Суд, который вернул мое дело на доследование, мотивировал это недостаточностью в нем улики для того, чтобы меня осудить. А что такое улики? Слово «улики» происходит от слова УЛИЧИТЬ, то есть поймать за руку преступника, а какие вы собираете улики? Вы собираете улики совершенно бездоказательные. Кто кроме Веры Фокиной, слышал тот разговор, который я, по-вашему, вел с Кореньковым Иваном? Да никто! А это значит, что это не улика, а клевета, причем самая наглая. Поэтому я категорически протестую против таких «улик» и в своем заявлении опишу, как вы это делаете. Кроме того, в заявлении я укажу, что отказываюсь давать показания вам и попрошу, чтобы заменили вас другим следователем.

Мой протест не вызвал восторга у Одинокова. Ему, видимо, не хотелось иметь неприятности из-за такого сопляка, как я. Тем более сейчас, когда он получил полную

- 100 -

самостоятельность. До этого он все время работал в городе Томске, в подчинении у других и, наконец, получив район, он, наверное, надеялся спокойно доработать до заслуженного отдыха. А отдых он, конечно, заслужил вполне законно, поскольку исправно отправлял людей на тот свет. Он, конечно, не считал, скольких туда отправил, да и какой может быть счет? Он просто честно трудился на благо Родины, выкорчевывая «врагов народа». Так, наверное, думал о себе мой туповатый и малограмотный следователь.

Опять я в Томской тюрьме, опять седьмая камера. Когда я уходил из камеры на этап, в ней оставалось 8 человек. Вернувшись, я обнаружил, что на месте коек были настелены наспех сколоченные сплошные деревянные нары. И лежали на этих нарах не 8 человек, а 20. «Да откуда же образовался такой наплыв арестантов?» — подумал я. Но вскоре все выяснилось.

Летом 1940 года вышел Указ Верховного Совета РСФСР об оплате за обучение студентов всех высших учебных заведений в размере 400 или 460 рублей за каждый учебный год. Многие студенты не имели возможности платить такую большую сумму. Поэтому в студенческой среде начались разговоры на эту тему: где взять деньги? Эта тема, естественно, обсуждалась и

многими преподавателями, которые желали защитить своих студентов. Пресекая недовольство, чекисты живо взялись за дело. Недовольных арестовывали пачками и отправляли в тюрьмы. Обвинения им предъявляли по статье 58 пункт 10, то есть дискредитация Указа, а некоторым студентам и преподавателя инкриминировали кое-что и покруче в назидание остальным: пусть знают, что НКВД шутить не любит и не допустит никакой вольности со стороны студентов. Их быстренько оформляли через суд и так же быстренько сопровождали в места не столь отдаленные. Словом — в дело вступил главный принцип классического марксистского учения: «бытие определяет сознание». Вот червончик отпыхтишь в лагере и, если останешься живым, то твое сознание тебе подскажет: по одной плахе ходи — на другую не заглядывай. Прекрасная система обучения! Таковы законы социализма! А что НКВД? А органы здесь ни при чем, они честно стоят на страже социалистических законов. И вот вчерашние студенты превращены во врагов народа, а какой процент их вернулся потом на свободу после червонца отсидки, я точно могу сказать — 1-2 не более, ибо имею страшный опыт семнадцатилетнего пребывания в ГУЛаге. Я видел тысячи трупов вот таких молодых красивых ребят. Они нашли свой последний приют в тысячах общих братских могил, а на воле дружными шеренгами маршировали дети в красных галстуках, шло новое пополнение с песней:

- 101 -

Сегодня праздник у ребят,

Ликует пионерия:

Сегодня в гости к нам пришел

Лаврентий Палыч Берия.

Веселая тогда началась жизнь в тюрьмах Западной Сибири. В нашей 7-ой камере оказались поляки. Среди них были совсем молодые ребята, были пожилые, а некоторые совсем старики. Все они были офицерами польской армии, в званиях от капитана до полковника. Сначала они прошли районные тюрьмы, где их изрядно подморили, а иначе нельзя. Голодный человек легче поддается перевоспитанию, а вернее сказать, дрессировке. Но они, эти поляки, почему-то не желали голодать и стали предлагать свои костюмы нам, старым обитателям томских тюрем, почти задарма. Бостоновый новый костюм стоил 1 пайку хлеба, то есть 600 грамм. Прекрасная рубашка — черпак баланды, брюки — 10 грамм сахара и т.д. Находились люди в тюрьме, которые отдавали свои пайки за польские тряпки. А потом эти тряпки, купленные у поляков, отбирали у новых хозяев на этапах и пересылках. Что поделаешь? Людская жизнь — очень сложная механика, особенно она сложная в условиях тюрем и лагерей.

Мои «приятные» прогулки из Томска в Зырянку и обратно продолжались. Вот одна из них. В этот раз нас было двое. Мой спутник — совсем молоденький паренек. Он сидел всего три месяца, тоже обвинялся по статье 58 пункт 10 — антисоветская агитация. До ареста работал в колхозе, образование — 2 класса. Дома осталась мать с двумя сестренками, которые еще не учились. Отец его был арестован в 1937 году, и что с ним произошло потом, никто не знал. Парень — типичный контрреволюционер: под носом висела сопля, из правого уха сочилась сукровица, словом, забитый, заморенный, золотушный, совсем невзрачный на вид человек. Но преступник он был матерый и, если бы его вовремя не обезвредили, то он бы нанес огромный ущерб нашему социалистическому обществу. Уж это точно. За все время моего «путешествия» из Томска до Зырянки меня впервые сопровождал не зырянский конвой, а томский. Ночь мы

провели в асиновском КПЗ, а утром нас забрал наш конвой. Но повели нас не в сторону Зырянки, а к базару, где находилась единственная на все Асино столовая. Тогда город Асино был совсем маленькой деревушкой.

Войдя в помещение, наши конвоиры оставили нас в коридоре, а сами пошли в зал. Прошло, наверное, больше часа, а мы все сидели и ждали. Наконец вышел к нам один из конвоиров и сказал: «Ну что, ребята, наверное, надоело нас ждать? Знаете, мы встретили старых дружков, с которыми вместе служили в армии, и решили обмыть нашу

- 102 -

встречу. А у вас есть деньги? Если есть, то раздевайтесь, заходите, покушайте, выпейте пивка, я вам разрешаю. Что, не верите мне? Думаете, что все милиционеры собаки? Конечно, есть и собаки, мы — другие. Не стесняйтесь, заходите, и на нас не обращайтесь внимания, делайте вид, что вы вольные люди». Сказал и ушел. У моего напарника денег не было, а у меня в телогрейке были зашиты три красные тридцатки. Я быстро выскочил в тамбур, зубами разорвал подкладку телогрейки и вынул одну бумажку. Историю этих тридцаток я расскажу позже, а сейчас мне некогда: надо все-таки уважать старших и не отказываться от столь вежливого приглашения.

И вот мы в зале столовой, народу мало, причем одни мужики, которые толпились около пивной бочки. Официантка нас быстро обслужила. А мне никак не верится, что я сижу за столом, как вольный человек. Насытившись, мы не торопились покидать зал столовой, продолжали наблюдать за жизнью вольных людей, а подвыпившие мужики не догадывались, что рядом с ними сидят два узника, два «врага народа». Вскоре милиционер опять подошел к нам и тихонько проговорил: «Ну что, пацаны, пообедали? А теперь одевайтесь, помаленьку пойдём!» Когда мы вышли на улицу, наш конвоир выдал нам такую инструкцию: «Вы идите, не торопясь по одной стороне улицы, а я по другой сзади вас. Вы не обращайтесь на меня внимания и делайте вид, что вы просто идете сами по себе, а я самостоятельно тоже куда-то плетусь. Когда выйдем за село, там немного задержимся, подождем моего напарника. Он до сих пор еще не распрощался со своим другом. Мы тихонько догоним вас, видите, что я тоже поддал крепко, поэтому мы и пойдём отдельно, а то вдруг встретится кто-нибудь из начальства асиновскойментовки, тогда мы оба пойдём под военный трибунал за нарушение правил конвоирования. Я на вас, ребяташки, надеюсь, что вы нас не подведете».

И вот за 14 месяцев я впервые имел возможность вот так идти без конвоя. Я не шел, а летел. Выйдя далеко за Асино, мы оглянулись и увидели нашего конвоира, отставшего далеко от нас. Мы остановились и дождались его. Когда он подошел к нам, то предложил где-нибудь присесть и подождать его напарника. Неподалеку от дороги обнаружилось поваленное дерево, устроились около него. Прождали почти час, затем решили идти дальше. Снег потихоньку сыпал крупными хлопьями. Дорога становилась убродной, затрудняя продвижение. Уже в темноте пришли в деревню Семеновка, где решили заночевать. Я сказал конвоиру, что в Семеновке работает мой друг счетоводом колхоза — можно зайти к нему. Нашли дом, в котором разместились колхозная контора. Старичок сторож сообщил, что счетовод Федя Пятков у них уже не работает, уехал домой в Чердаты.

- 103 -

— А где он жил?

— А вон, через три дома от конторы.

Отсчитав три дома, я постучался в дверь. Мне открыла пожилая женщина, спросила что нужно. Я объяснил ей. Тогда она проговорила: «Заходите, ночуйте, места всем хватит».

И вот мы трое в избе. Хозяйка зажгла лампу семилинейку без стекла. Топилась железная печь, пожилой мужчина сидел около нее на чурбаке и курил трубку. На русской печке за шторкой копошились дети, которые отдергивали шторку и посматривали на нас. Сколько их там находилось, сосчитать мне не удалось. Во всяком случае — не меньше пяти.

— Не спите? — обратился я к курящему трубку.

— Дак еще рано, — ответила мне трубка, — ребятишки галдят, разве уснешь. А лампу мы зажигаем, пока ужинаем, а потом сидим в темноте. Да оно и не так темно: печь топится ярко и освещает наше жилище. Лампу-то жечь не выгодно: керосину нема, да и взять не на че, денег-то негде взять.

— А вы хлебушка не можете нам продать? — обратился я к хозяйке.

— Ни, милай, мы сами вот уже полмесяца сидим на одной картохе, но, слава Богу, корова еще доится, вот так и живем. Хлеб-то будут выдавать после Нового года, если что осталось от госпоставки.

Я вынул трешку и подал ее хозяйке с просьбой достать хлеба.

— Вот ужо схожу к заведующему лавкой, можеу ней расстараюсь.

Через недолгое время хозяйка вернулась с булкой хлеба. Потом помыла картошку и поставила в чугунок на раскаленную докрасна печь. Картошка быстренько сварилась, и хозяйка наложила в глиняную миску картошку в мундирах. Наш конвоир, прикорнув на лавке, громко захрапел, а мы самостоятельно распорядились ужином. Потом я отрезал полбулки хлеба и отдал хозяйке. Она эти полбулки разрешила на равные дольки и подала на печь ребятишкам. Хозяйка дала нам дерюжку, которую мы постелили на пол, легли и быстро заснули. Проснулся я от холода, проникавшего через дверь с улицы. Вскоре проснулась хозяйка, зажгла лампу, часы-ходики, висевшие на стене, показывали 7 часов. Хозяйка засуетилась, стала быстро одеваться. «Проспала маленько, — проговорила она. — Я работаю на МТФ, ухаживаю за телятами. Скоро проснется хозяин, затопит печь, а то вы, наверное, замерзли». Вскоре и хозяин слез с палатой. Быстро растопил печь, намыл картошки, поставил варить полный большой чугунок на завтрак ребятишкам. Потом он закурил свою трубку и присел на чурбак около печки. Я спросил у хозяина, сколько времени у них жил Федя.

— Месяцев шесть. Его прислали к нам из райзо, нашего-то счетовода арестовали по линии НКВД, вот вместо него Федя и работал.

- 104 -

— А за что арестовали вашего-то?

— Да кто его знает, говорят, что вредил колхозу. Да у нас за последние четыре года поарестовывали много мужиков. Теперь вот работать некому и колхоз наш совсем захирел.

— А почему Федя уехал?

— Да он письмо получил от матери, что хворает она. А недавно наша учителька сказывала, что вроде помер Федя-то. Жалко парня — хороший был человек. Он, когда жил у нас, часто передавал своему другу передачи. Его друга часто гоняли из Зырянки в Томск, в тюрьму.

— Так это Федя передавал мне, — сказал я.

— Да што ты говоришь? — удивился он.

— Вот такие дела.

— Э, парень, плохо твое дело! Что же выходит: ты тоже вроде враг народа?

— Да вроде так.

— Что же это делается-то? Уже школьников начали арестовывать. Федя сказывал, что ты с ним учился в одном классе.

— Да, в одном, — подтвердил я.

— А этот малец, — кивнул хозяин в сторону моего спутника, — тоже по линии НКВД?

— Да, тоже.

На дворе начало помаленьку светать, часы показывали У часов, проснулся наш конвоир. «Ну что, ребята, наверно пойдём». Попрощавшись с хозяином, мы двинулись в путь. Снегу за ночь подвалило изрядно, идти было тяжело.

Уже затемно добрались до Зырянки. Когда мы проходили мимо конторы «Заготзерно», я увидел маму. Подбежав ко мне, она обняла меня за шею и стала быстро целовать меня в лицо, приговаривая: «Я, сынок, караулю вас второй день. Мне в милиции сказали, что вы должны прийти еще вчера. Я весь день пробыла на морозе, но не дождалась. И вот сегодня с раннего утра весь день жду, а сейчас на минутку зашла в магазин погреться, и чуть было вас не проворонила». Так вот, обнявшись, мы простояли с мамой минуты две, а потом наш конвоир сказал: «Прости, мамаша, нам надо идти, а то, не дай Бог, кто увидит из Зырянской милиции, тогда будет скандал». Мама, конечно, понимала, что нам надо идти, но она никак не могла отпустить меня, сердце матери никак не хотело разлучаться с сыном, но потом она выпустила меня из своих объятий, мы пошли. Через минуту она опять догнала нас и стала просить милиционера, чтобы он разрешил передать мне передачу. Но милиционер был неумолим: «Не могу, мать, — закрутил он головой. — По дороге нельзя принимать передачи. Сейчас придем в райотдел, а там сразу поймут, что я, нарушая закон, разрешил ее передать». Мама быстро развязала мешок, вынула четыре пирожка и сунула их мне. Есть я не мог: в горле стоял комок, душили

- 105 -

слезы, я отдал эти пирожки своему напарнику. А мама все шла с нами, стараясь забежать вперед, чтобы видеть мое лицо. Потом отстала и еще долго стояла, глядя нам вслед, утирая безутешные слезы.

В камеру мы попали уже часов в 8 вечера. КПЗ работала на полную мощь: народу полным-полно, все камеры набиты до отказа, словом — НКВД не дремала, зорко стояла на страже закона.

— Здорово, мужички! — поприветствовал я всех обитателей камеры.

— Здорово, — дружно ответили мне. Тут один из сидящих соскочил с нар и бросился ко мне.

— О! Егор Федорович! Здравствуй, милый ты мой человек! Мы обнимаемся, жулькаем друг друга, Егор Федорович плачет, да и я тоже не могу выговорить слово. Вся камера молча наблюдала эту трогательную картину.

— Данил Егорович, я никогда не думал, что мы встретимся в таком «веселом заведении».

— Да и я, Гоша, даже в страшном сне не мог представить, что когда-нибудь повстречаюсь с тобой в тюрьме! Немного успокоившись, мы присели на нары и начались расспросы. В основном вопросы задавал я. Мне не терпелось узнать о жизни моих родителей, о сестрах, которых у меня четыре, о племянниках, которых было пока немного. Егор Федорович — брат мужа моей старшей сестры.

— Ну, как там наши живут?

— Да особых изменений нет, живут помаленьку. Твой отец, дядя Егор, все так же летом рыбачит, а зимой, как всегда, помогает счетоводу составлять годовой отчет. Сам знаешь, райзо требует точности учета, прихода и расхода всех ценностей, произведенных за год. Когда вас арестовали, то все думали, что дяде Егору амба. Большинство вас жалели, но некоторые и злорадствовали, довольные тем, что вашу семью постигла такая страшная беда. Какое же горе обрушилось на твою мать, тетку Варвару, — арестовали сразу и мужа и малолетнего сына. Я не могу представить себе, как она выдержала такой удар! Ты знаешь, Данил, сколько было радости, когда вернулся твой отец. В ваш дом сбегалась почти вся деревня, все поздравляли отца с освобождением, особенно усердствовал председатель колхоза Мельников. Он сейчас в большой дружбе с твоим отцом.

— Здесь я тебя перебежью, Гоша. Скажи тятю, чтобы он прервал дружбу с ним. Мельников — это подлец высшей степени! Знаешь, что он написал в характеристике, которую представил в НКВД? Там черным по белому записано, что Алин Данил является сыном крестьянина-белогвардейца.

— Вот гад какой! А прикидывается таким добреньким мужичком по отношению к вашей семье, — возмущился Гоша. — Все они добренькие снаружи, а внутри-то —

- 106 -

злодеи. Этот Мельников за свою жизнь, наверное, многих отправил на тот свет. Не зря его партия направила в деревню председателем колхоза. Помнишь, как он приехал в каком-то задрипанном пальтишке, а потом быстренько разбогател.

— А теперь расскажи про себя, Гоша. Как ты жил? За что же попал сюда?

— Ты, Данил, помнишь, что я еще при тебе начал бригадирничать. И вот однажды я поехал за соломой на поля и на старом току обнаружил немного зерна ржи, смешанного с землей. Я, конечно, зерно собрал и привез домой. Когда я заносил этот мешок в дом, видимо, кто-то

увидел. И вот мне за это три года ИТЛ.

Так мы проговорили с Егором Федоровичем до утра.

На второй день вечером я высказал Егору свое предположение о том, что дело с моим арестом закрутил Мельников. Такое заключение я сделал после долгих размышлений, вспомнив некоторые события, которые произошли в нашем колхозе весной 1938 г. Не знаю, как так вышло, но в ту весну землю под озимые нам пахали заключенные. И вспахали они тогда, надо сказать, «круто»: зацепили землю на большую глубину, вывернули глину, а весь верхний слой похоронили под толстым глиняным слоем. Пахота была настолько безобразной, что на следующий год у нас озимые совершенно не уродились. Даже не собрали того, что расходовали на посев. Видя все это, однажды я в присутствии всей бригады во время обеда высказал предположение о том, что не является ли все это вредительством. Такие мои многозначительные размышления, конечно, быстро дошли до ушей Мельникова. Он и решил от греха сбегать меня куда подальше. Именно он мог подговорить Шурку, чтобы тот донес на меня в НКВД. Я отлично понимал, что сам Шурка никогда бы не додумался до той галиматии, которую он нес. Поэтому я и предполагал, что это — работа Мельникова. Однако попробуй, докажи! Да я и не пытался это доказывать. Правда, один раз я осторожно намекнул об этом следователю Одинокovu, который сразу же заорал на меня, пригрозив мне страшными карами за клевету на коммуниста.

Мы еще долго говорили о разном, но об этом лучше помолчать. На третий день Егора Федоровича отправили в Томскую тюрьму. Мы вновь повстречались с ним только через двадцать лет, уже будучи стариками. При встрече он рассказал мне, что весь срок тогда не отбыл, а был по болезни сактирован из лагеря во время войны и с огромным трудом добрался до Каштаково. У него был туберкулез. Моя мать сумела поднять его на ноги и вернуть к жизни, за что он и благодарил ее всю жизнь. Егор Федорович до сих пор жив и «здоров». Сейчас он живет в рабочем поселке Берегаево. Тот, кто сомневается в правдивости моих воспоминаний, может поговорить с ним об этом.

- 107 -

«ВЕСЕЛЫЕ» СОСЕДИ

— Здравствуйте, братцы!

— Здравствуй, здравствуй, наш уважаемый юноша. Располагайся рядом со мной, я специально держал для тебя это место, зная, что ты вернешься, — приветствовал меня Александр Викентьевич.

Двухъярусные деревянные нары были забиты до отказа. Из всех, с кем я попрощался, уходя на этап в Зырянку, остался только Александр Викентьевич. Остальные — все новенькие, мужики разных возрастов и разных национальностей. В камере находились литовцы, эстонцы, латыши, но больше всего здесь оказалось поляков. Как все-таки оперативно работают наши «славные» и вездесущие органы НКВД! Прошло лишь несколько месяцев с того момента, когда советские танки пересекли границы прибалтийских стран, а тюрьмы в СССР уже заполнены гражданами этих стран, которые долгие годы ждали своего «освобождения» от буржуазно-капиталистического ига. И дождались. Пришло то «счастливое» время, которое в корне изменило всю их «консервативную» жизнь. Теперь их нужно перевоспитывать. И НКВД

основательно, по-хозяйски, развернуло свою «воспитательную» работу. Не беспокойтесь, господа: тюрем хватит на всех.

— Ну, а теперь давайте знакомиться. Вот вы, дедушка, откуда родом?

— Я родом из Варшавы, до 40 года жил в Варшаве. Незадолго до войны я ушел в отставку в чине полковника. Но пришла Красная Армия и всех нас, бывших военных, забрали вместе с семьями, быстренько посадили в телячьи вагоны и — сюда, в Сибирь. Я со своей старухой оказался в Тегульдетском районе; поселили нас в каком-то леспромхозе в бараках, а через месяц меня и других поляков арестовали и, как видите, мы очутились здесь.

— Вы хорошо разговариваете по-русски, где вы выучили русский язык?

— Да я же, сынок, прожил долгую жизнь, мне часто приходилось встречаться с русскими людьми по службе. Мы с вами одного племени — славяне, наша речь не так уж сильно отличается от вашей речи, так что освоить ее не составляет большого труда. А еще мой отец учился в России в Петербургском университете до октябрьского переворота. Вот поэтому я и разговариваю по-русски хорошо.

— И сколько человек вас арестовали?

— Человек двенадцать мужчин и трех женщин, в том числе мою племянницу. Звать ее Бэлла, она совсем молодая, незамужняя, не знаю, как теперь сложится ее жизнь.

— Ничего, папаша, вы особенно не расстраивайтесь, все перемелется, мука будет, — проговорил я, стараясь хоть

- 108 -

немного облегчить его страдания. — Слушайте, дедушка, живя за границей, вы хоть что-то слышали о том, что творится в России?

— Да слышали, много чего слышали, например, о голоде, охватившем Россию сразу после переворота, как в 30 году сгоняли крестьян в какие-то колхозы, а кто не хотел входить в эти колхозы, всех ссылали в тайгу в северные районы, слышали и о 37-38 годах.

— Говорите — все слышали? Так почему вы допустили, что Польшу оккупировала наша армия?

Голос с верхних нар: «Да потому, что они, поляки, пока пили млыко, оглянулись, а на дворе уже солдаты РККА». Это сказал Ероховец Александр Викентьевич.

— Саша, почему ты так говоришь?

— Я же тоже польского происхождения. И мой отец рассказывал, что в Варшаве есть памятник, на котором есть такая надпись: «Пей, пани, млыко, русско войско еще далеко». Вот они и пропили свою Польшу. Но вы, поляки, не обижайтесь на меня, это я в порядке шутки, — проговорил Саша.

— Ну, а если серьезно говорить, как это произошло, — сказал мой собеседник, — то получилось так: с Запада — Гитлер, с Востока — Сталин, попробуй дать достойный отпор. Поэтому все рухнуло за десять дней.

— А сейчас за что вас посадили?

— Кажется, за то, что нам не нравится жизнь в вашем Союзе.

— И вы об этом говорили вслух?

— Да нет, не говорили, но нашлись люди, которые показывают, что мы хаяли вашу жизнь.

— Есть у нас такие люди, — согласился я. Ужин начинался в шесть часов вечера. Черпак чечевичной баланды и чайник кипяченой воды — пей, сколько влезет. Но пить почему-то никому не хотелось. Часов в восемь вечера слышим — со скрежетом открываются массивные решетчатые ворота, и в коридор смертных камер вводят кого-то. Этот коридор находится напротив нашей седьмой камеры. Там расположены пять одиночных камер, куда помещали людей, приговоренных к расстрелу. В течение двадцати минут привели пять человек, и заполнили все камеры. Когда все стихло, слышим крик женщины: «Ну что, мальчики, молчите? Жора-цыган, ты здесь?»

— Да, я здесь, рядышком с тобой, я от тебя ни на шаг.

— Правильно, котик, мы друг без друга никуда.

— Сонька, приветуля!

— Привет, Колдун, а остальные где?

— Здесь мы все пятеро, куда мы денемся? Мы все висим на одной перекладине, а долго ли нам висеть здесь?

— А хрен ее знает, но, видимо, до тех пор, пока нас всех не разменяют.

- 109 -

— А ты думаешь, нас всех тово?

— Конечно всех, а ты что, иначе думаешь?

— Да я ничего не думаю, Сонька. Я же тебе, стерва, говорил, чтобы ты его не душила.

— А ты что, Толик, жалеешь, что ли его?

— Да я его не жалею, но ведь это ты намокрушничала, вот из-за тебя-то нас всех и пустил суд на размен.

— Толик, а ты не бзди, может, еще заменят.

— Да, жди, заменят, догонят, да еще раз заменят: двенадцать трупов на нашем счету.

— Толик, я ж тебе говорил, чтобы ты не спускал с нее глаз, — проговорил цыган, — ты же знаешь ее, стерву, она не терпит, чтобы кого-нибудь не укокошить.

— Да вы тоже хороши, ангелы нашлись, — проговорила Сонька с обидой.

— Вам не надоело хлестать языком? — проговорил один из этой, видать, «благородной»

компании, — Жора, лучше сбацийнегритяночку, давно я тебя не слышал.

— Подожди, отдохнем пока, еще рано, ночь большая, длинная, так что успеем, — ответил Жора-цыган.

— Дежурный, а дежурный, подойди к третьей.

— Чего надо?

— Сам знаешь, чего. Курить — вот чево.

— Счас подам.

— Дежурный, тогда заодно тащи всем курить.

— Счас подам, — отвечал флегматичный надзиратель. Захлопали кормушки. Это надзиратель подал всем смертным курить. В смертную камеру курить не пропускали. Не знаю, по каким соображениям, но закон есть закон, но по первому требованию приговоренных надзиратели всегда очень быстро выполняли то, что требовали смертники'.

Стук в дверь, голос надзирателя известил о том, что наступило время отбоя, то есть десять часов вечера. А это значит, что хочешь ты или не хочешь спать, но должен лежать на нарах и молчать, как мышь в норе. Спецкорпус № 1 на какое-то время притих, но вот мы слышим голос из смертных камер:

— Сонька! — кричит цыган. — Бери гитару!

— Да я, котик мой, гитару с собой не взяла, — отвечает Сонька.

— Ну, тогда сделай молчаночку.

— Это можно, — соглашается Сонька. Сонька в своей камере громко бьет в ладоши, а цыган в соседней камере хлещет чечетку, да так громко и отчетливо выделяет коленца, что звуки этого танца слышит весь верхний этаж нашего корпуса. Да, наверное, и нижний тоже слышит. Но вот подал голос надзиратель нашего коридора: «Прекратите безобразие!» Цыган на минутку останавливается и обращается к Соньке:

- 110 -

— Соня кто-то что-то где-то сказал или мне послышалось?

— Не обращай внимания, Жора, это надзиратель с общего коридора что-то прогавкал, но мы ему простим. Он же, гадюка, не знает, что наш концерт только начинается и будет он длиться до утра.

На самом деле, они «веселились» всю ночь. Время от времени между ними вспыхивала бурная ругань. Они обвиняли друг друга в том, что кто-то из них когда-то во время очередной воровской «работы» сделал что-то неправильно, нарушил их бандитские законы. Наматерившись досыта, они умолкали, затем вели мирные разговоры. Часто они вспоминали о прошлых кутежах после удачных налетов. Слушая эти беседы, мы постепенно поняли, что смертники — члены одной из томских банд, которой руководил Жора-цыган и которая почти полгода терроризировала город Томск и близлежащие районы. В основном банда

специализировалась на грабежах железнодорожных вагонов, как пассажирских, так и товарных, так называемые краснухи. Не обходили они стороной и «хорошие» магазины, а также производственные кассы. Их лихие набеги частенько сопровождались убийствами. Наконец вся банда, в количестве тринадцати человек, была схвачена органами милиции и в полном составе предстала перед судом выездной сессии Новосибирского областного суда. Суд длился две недели, его транслировали по местному радио. Из тринадцати человек к расстрелу были приговорены пять человек, из них одна женщина, которая среди бандитов особенно выделялась своей жестокостью и кровожадностью.

Ночные «концерты» продолжались в течение месяца и заканчивались только часов в пять, после чего наступала тишина. «Артисты» ложились спать до следующего вечера, а вечером все начиналось с теми же вариациями.

Неизбежный трагический финал этой истории произошел однажды ночью. Первой увели Соньку, которая пыталась что-то прокричать, но не смогла — ей в рот забили кляп. Затем наступила очередь остальных. Через час все было окончено, камеры опустели. Но не надолго, дней через пять эти смертные камеры были вновь заполнены новыми людьми, но уже не такими буйными головешками. За восемнадцать месяцев моей отсидки в Томской и Новосибирской тюрьмах мне довелось проводить много людей на тот свет, но такой веселой компании я больше ни разу не встречал.

- 111 -

СУД ТРЕТИЙ И НЕ ПОСЛЕДНИЙ

Седьмого апреля 1941 года мне вручили обвинительное заключение.

Шестнадцатого апреля 1941 года я прибыл в Зырянскую КПЗ. Семнадцатого, в 11 часов утра начался суд. Он был закрытым. А как иначе — судили государственного преступника, который посягнул на устои социалистического государства, добиваясь свержения существующего строя в СССР и реставрации российской монархии. Председатель областной выездной коллегии по уголовным делам Солдатенко объявил состав суда: председательствующий и два заседателя. Стороны суда представляли: государственный обвинитель, юрист третьего класса, прокурор Зырянского района Стрельников и государственный защитник — адвокат Фледок. Прокурор и защитник участвовали в первом судебной заседании, которое состоялось 10 августа 1940 года.

Вновь не признав себя виновным, я обратился к суду с ходатайством:

— Меня обвиняют в том, что я, якобы, 17 апреля 1939 года в 11 часов вечера пытался вербовать Алина Александра Петровича в какую-то контрреволюционную организацию. Я категорически отвергаю это обвинение, ибо в это время я находился на бригадном собрании, где обсуждался ход посевной кампании. Поэтому я прошу суд приобщить к делу протокол того бригадного собрания, на котором все пахари брали соцобязательства по быстрейшему завершению посевной кампании. Под этими соцобязательствами стоит и моя подпись. То собрание закончилось в два часа ночи. Из этого следует, что в 11 часов вечера 17 апреля 1939 года я не мог никого никуда вербовать. Протокол доказывает мое железное алиби.

Председатель, посоветовавшись с заседателями, заявил, что суд не находит нужным делать запрос в колхоз о предоставлении протокола собрания и мотивировал отказ .в моем

ходатайстве тем, что на предварительном следствии достаточно собрано улик, чтобы предать меня суду.

— В таком случае я заявляю суду, что ваш отказ является грубым нарушением процессуального кодекса, поэтому я отказываюсь участвовать в этом судебном заседании и прошу суд мое дело передать другому составу суда.

— По ходу судебного разбирательства, — заявил судья, вновь посоветовавшись с заседателями, — суд может затребовать протокол, о котором вы ходатайствуете, если в этом возникнет необходимость. С этим вы, подсудимый, согласны?

— Согласен, — ответил я. Позднее я понял, что это согласие было огромной ошибкой с моей стороны, о которой я всю жизнь сожалею. На суде ошибаться нельзя!

- 112 -

Дальнейшее описание судебного заседания не имеет смысла. Оно было полным повторением того заседания, которое состоялось 10 августа 1940 года с той лишь разницей, что результат его был другим. Поэтому я коротко расскажу об этом.

— Подсудимый, вам предоставляется последнее слово, — произнес председатель суда.

— Я был арестован 13 сентября 1939 года и доставлен во внутреннюю тюрьму НКВД города Новосибирска, — тихо сказал я, затем быстро взял себя в руки и продолжал более уверенно, — где мне предъявили обвинение по статье 58 пункт 2 — подготовка к вооруженному восстанию, пункт 10 — антисоветская агитация, пункт 8 — террор, пункт 11 — принадлежность к контрреволюционной организации. Через полгода мое дело направляют в суд военного трибунала Сибирского военного округа. Заместитель военного прокурора СибВО мое дело вернул обратно в следственные органы с соответствующим предписанием: «Военная прокуратура не может направить дело в суд военного трибунала, так как отсутствует состав преступления». После чего мое дело попало к заместителю прокурора области, который тщательно изучил и вынес такую резолюцию: «За недоказанностью улик производством расследование прекратить и подсудимого гражданина Алина Д.Е. освободить». И пошло мое дело гулять по инстанциям. Следующий прокурор написал: «Улики не доказываются, а собираются, поэтому, расследование по делу Алина Д.Е. продолжить».

Вот две прокурорские резолюции, разве они данному суду ничего не говорят? Говорят! И о многом. Например: улики не доказываются, а собираются. Что такое улики? Если это слово перевести на простой язык, то получается, что если ты уличен, то есть пойман за руку, то ты — преступник. И в этом случае доказательства не требуются — они налицо. А по логике второго прокурора получается — хватай любого и собирай улики до бесконечности без всяких доказательств. Так и произошло с моим делом. Областные следственные органы, не долго думая, направляют мое дело туда, откуда оно появилось — в Зырянский район. Следователь Зырянского района Одинокоев, засучив рукава, рьяно взялся за дело. Он начинает все сначала: допрашивает все тех же свидетелей, которые опять показывают то же самое — кто-то от кого-то что-то слышал, но только не от меня. Единственный прямой свидетель говорит, что я, якобы, его вербовал в какую-то организацию. А кто это подтверждает? Никто! Тогда Одинокоев идет на прямое запугивание свидетелей. Это также ничего не дает. Тогда он пишет новое постановление и предъявляет мне обвинение только по одному пункту 58 статьи. Это пункт 10.

Одиноков думает, что уж по этому пункту он протолкнет мое дело через суд. Не получилось.

- 113 -

Это мы видим из решения суда 1940 года. И опять тот же следователь ведет следствие, которое длилось семь месяцев. Каков результат? На судебном заседании в 1940 году все свидетели, на которых опирался единственный прямой свидетель, Алин Александр Петрович, от своих ранее данных показаний отказались. И на сегодняшнем заседании происходит то же самое. Согласитесь: когда свидетели говорят то одно, то другое, разве может суд принимать на веру такие свидетельские показания? Да ни в коем случае! И становится ясно, что такие свидетельские показания являют собой сплошную ложь и клевету, а люди, их дающие, должны понести за это наказание по статье 95 УК РСФСР. Исходя из этого, я надеюсь, что областной суд во всем разберется и поступит по справедливости. На этом я заканчиваю свое последнее слово, знаю, что еще многое не сказал, многое упустил.

В то далекое время я наивно думал, что суд всегда судит только по справедливости. Жизнь быстро показала, что это далеко не так. Затем председатель суда предоставил слово государственному обвинителю. Речь его я запомнил на всю оставшуюся жизнь.

— Товарищи судьи! Перед нами на скамье подсудимых сидит человек, в голове которого зародилась коварная мысль о насильственном свержении Советской власти, за которую лучшие сыны нашего отечества отдали свои жизни на полях сражений со злейшим врагом человечества — буржуем и эксплуататором-капиталистом, который многие годы сосал кровь рабочих и крестьян нашей великой Родины!

Очень умно начал прокурор свою обвинительную речь. Совсем как генеральный прокурор СССР тов. Вышинский. В те костоломные времена почти все прокуроры страны старались подражать ему. Особо им нравилось употреблять в своих обвинительных речах изречение М. Горького: «Если враг не сдается — его уничтожают». Прокурор много и умно говорил и, наконец, произнес: «Я предлагаю суду избрать высшую меру наказания для Алина — расстрел. Мы не имеем права оставлять таких людей живыми!»

Я видел, как председатель суда пододвинул к прокурору раскрытую книгу уголовного кодекса и ткнул пальцем в какую-то строчку там. Для меня было не понятно: согласен председатель суда с прокурором или нет. Эта неопределенность мучила меня почти целые сутки.

После прокурора выступил адвокат по фамилии Фледок. Все предыдущее он проспал и, когда его в очередной раз разбудил милиционер, стоящий рядом с ним, адвокат долго не мог понять, что от него требует судья. Судья повторил, что ему, предоставляется слово для защиты. Фледок, видимо, не помнил, за что меня судят и в чем меня обвиняют. Похоже, что сквозь сон он услышал, что прокурор потребовал применения ко мне высшей меры наказания социальной

- 114 -

защиты — расстрела. Сообразив, что надо как-то защищать меня, хотя бы для проформы, он начал мямлить, что подсудимый еще молод и попал под влияние вражеских элементов, поэтому он просил суд не применять ко мне высшую меру наказания, а предложил избрать мне меру наказания в виде лишения свободы сроком 25 лет исправительно-трудовых лагерей. Я видел как судья с удивлением смотрел на новоявленного Плевако и ехидно улыбался; На этом

он закончил, сел в кресло и быстро захрапел. Я до сих пор не пойму, что с моим защитником происходило: или он болел, или его доедала старость. Хотя с того судилища прошел уже 51 год, я до сих пор «благодарен» ему за такую «защиту».

На суд меня привели два охранника, но когда речь пошла о расстреле, оглянувшись, я увидел, что за моей спиной стояли уже четыре охранника с пистолетами в руках. Как быстро и оперативно сработала охрана! И, когда судья объявил, что суд прерывается до завтрашнего утра, милиционер Иванов мгновенно заломил мои руки за спину и я почувствовал как стальные браслеты стянули мои запястья.

Все обитатели Зырянской тюрьмы с нетерпением ждали моего возвращения. И как только я появился в КПЗ, со всех сторон слышались вопросы: «Ну, что? Чем кончилось? Сколько дали?» Я тихо ответил, что суд не окончен, но прокурор настаивает на моем расстреле. Потом упал на нары и зарыдал. Вся тюрьма притихла, как будто в нее втащили покойника, и до утра не было слышно ни единого звука. Часа в три ночи меня дернули за ногу, я поднял голову, два молодых парня молча показывали мне на окно. Один из них шепнул мне на ухо: «Мы отогнули одно звено в решетке и ты можешь вылезти из камеры». Но я категорически отказался от этой затеи. Куда я побегу? Кругом лежит глубокий снег, мороз — пропаду. Тогда они снова подогнули звено решетки на место и легли спать.

На следующий день в 11 часов в КПЗ прибыл конвой — четыре милиционера. Опять наручники. И вот я в комнатухе судебного заседания. Прокурора и адвоката не было. Они уже были не нужны, так как уже выполнили свой профессиональный долг. Председатель суда зачитал приговор:

— Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики суд приговорил: Алина Данила Егоровича 1921 года рождения по статье 58 пункт 2 к 10 годам лишения свободы и 5 лет поражения, по статье 58 пункты 10и11 — к 8 годам лишения свободы, а по совокупности статей окончательно определяется срок 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения. Сроком исчисления меры наказания считать со дня ареста, то есть с 13 сентября 1939 года. Приговор может быть обжалован в течение 72 часов в Верховный Суд РСФСР.

- 115 -

Когда меня выводили из отделения милиции, я через окно увидел маму, которая, склонив голову, уходила прочь от этого места, где решалась судьба ее сына. Через 18 лет, когда я освободился с Колымы, мама мне рассказывала, что она три дня ходила вокруг отделения, надеясь увидеть меня, может быть, в последний раз

— Когда вечером мне милиционер Хаймидулин сказал, что прокурор предлагает суду, чтобы тебя расстреляли, я упала в обморок. Но спасибо милиционеру за то, что он привел меня в чувство. После этого я совершенно не помню, где провела ночь. Прости меня, но я обрадовалась, когда на следующий день узнала, что тебе дали десять лет, что тебя оставили в живых. Пока тебя таскали по следствиям, вся деревня говорила, что тебя обязательно расстреляют.

— Наоборот, мама, ты прости меня за все то, что пришлось тебе пережить за своего сына.

Все сидящие в КПЗ опять с нетерпением ждали моего возвращения. На этот раз я громко

объявил: «Десять лет!» Трудно говорить, но многие тогда обрадовались и захлопали в ладоши. Это радостное возбуждение продолжалось до глубокой ночи. На следующее утро я снова занимался уже привычным делом: разрезал принесенную из вольной столовой булку хлеба на пайки и разносил их вместе с кипятком по камерам. Дежуривший в то утро милиционер Хаймидулин незаметно сунул мне в руку четыре тридцатки, шепнув, что их передала мне моя мама. После, когда мы остались в дежурке одни, он подбодрил меня: «Я никогда не думал, что тебя могут засудить. Ты так толково защищался. По существу ты разбил в пух и прах все доказательства обвинения и вот надо же — десять лет. Но ничего, не горюй, ты еще совсем молодой, здоровый парень, я думаю, что ты выдюжишь». Больше Хаймидулина я не встречал, а жаль. Не знаю, жив ли он. Если жив, то дай Бог ему здоровья. Были, есть и будут хорошие и добрые люди на свете.

Последний вечер моего пребывания в Зырянском КПЗ. Ужин окончен. Теперь до отбоя в тюрьму из начальства никто не нагрянет. Из женской камеры кричат: «Слушай, мальчик, спой что-нибудь на прощание!» И я пою:

В воскресенье мать-старушка

К воротам тюрьмы пришла,

Надзирателю сказала

Задушевные слова:

«Стары ноженьки больные —

Сорок верст пешком прошла,

Своему родному сыну

Передачу принесла.

- 116 -

Вы возьмите передачу,

А то люди говорят —

Заклученных плохо кормят,

Сильно голодом морят».

Но привратник усмехнулся

И головкой покачал:

«Твой сынок давно расстрелян»,—

Он ей тихо отвечал.

Когда приговор читали,
Небо знало лишь одно.
Да только тревожно билось
Его сердце молодо.

Тут старушка повернулась,
От ворот тюрьмы пошла.
Но никто про то не знает,
Что в груди она несла.

«Передачу я купила
За последние гроши,
Передайте заключенным
На помин его души».

Эта старинная тюремная песня на всех сидящих произвела весьма тягостное впечатление. Все как-то притихли, задумались. Каждый, наверное, размышлял о том, что ждет его впереди, там, в лагерях и доведется ли еще вернуться к семье, к нормальной человеческой жизни.

- 117 -

ЭТАП

После завтрака дежурный зачитал список всех тех, кого отправляли в Томскую тюрьму. Набралось человек двадцать. Прибыл конвой, всех нас вывели на улицу, построили, посчитали, предупредили, как себя вести во время этапирования. За оградой нас уже ожидала большая толпа людей. Это родственники пришли провожать своих матерей, отцов, братьев, сестер, сыновей и дочерей. В толпе я быстро увидел свою маму, помахал ей рукой. Она мне ответила тем же, а второй рукой горестно утирала слезы. Этап, не задерживаясь, продолжал свой путь по улицам Зырянки, а провожающие бежали рядом, обгоняя друг друга, старались протиснуться поближе к тому, с кем прощались. Многие женщины несли на руках совсем маленьких детей, спотыкаясь, чуть ли не падали в рыхлый намокший снег. А конвой время от времени покрикивал на провожающих: «Куда ты лезешь? А ну, прими в сторону и прекрати разговоры с заключенными, а то стрелять буду!» Вот так мы и вышли из Зырянки. Многие провожающие стали постепенно отставать, а моя мама все продолжала шагать за нами. Но вот поворот дороги на деревню Берлинка. И тут маме удалось приблизиться к этапу, тогда я крикнул ей: «До

свидания, мама, поцелуй за меня всех моих сестер и племянниц, передай тяте, что придет время, когда мы вновь увидимся». Мама остановилась, глядела мне вслед, махала рукой и плакала. Через минуту она скрылась за поворотом. Доведется ли нам еще встретиться? Об этом мог знать только один Бог!

Опять я прибыл в родную Томскую тюрьму. Опять спец. корпус, только на этот раз не второй этаж, а первый и не седьмая камера, а сорок вторая. Здесь пайка хлеба выдавалась не 600 грамм, а 700. Мы теперь — люди осужденные, и через несколько месяцев очутимся в лагере, где ждет нас самая трудоемкая работа: земля, лопата, кайло, ломик и тачка. Так что нас надо подкармливать.

Другая камера — новые люди, новые знакомства. Войдя в камеру, я, как положено, поприветствовал всех и назвал свое имя. В камере находилось восемь человек, я девятый. Все осуждены на сроки от пяти до десяти лет; У всех «хорошая» 58-я статья. Так на нарах рядом со мной лежал старик, да такой древний, что на вопрос, сколько ему лет от роду — он отвечал: «Не знаю». На вид ему было никак не меньше 90. Он совершенно не понимал, где он находился. Из приговора, который он тщательно сохранял, завернув в какую-то грязную тряпочку и пряча в шерстяной носок, мы узнали, что он осужден по статье 58 пункт 10. Когда, где и кого он сагитировал, было загадкой, но сроком его не обидели — 10 лет лишения свободы, впрочем, могли дать бы и больше.

- 118 -

Дед этот был — чисто ребенок. Однажды, долго присматриваясь, он спросил у меня потихоньку шепотом: «А че, ты тоже здесь живешь?» Я ответил, что да, тоже. Тогда он помолчал, что-то вспомнил и сказал: «Да я раньше-то в другом доме жил, а вот теперь живу здесь». А как он очутился здесь — объяснить был не в состоянии. Ходить он совершенно не мог, да ему и ходить-то было некуда — пайку мы подавали ему прямо на нары, да и приварок тоже. Так что не жизнь, а благодать. У него единственная была забота — добраться до параши и вернуться обратно на нары. Эту процедуру он делал очень редко, потому что ел как цыпленок, даже пайку не съедал. На прогулку он не ходил. И когда мы возвращались с прогулки, то он сильно радовался, как радуется ребенок, когда мамка возвращается домой. Он почему-то думал, что мы ушли совсем и его оставили в одиночестве. Одиночество его, наверное, сильно пугало. Разговаривал он тихим голосом, глаза у него сильно слезились и всегда были красными. Глядел он на окружающий его мир совершенно бессмысленно, смахивая на новорожденного теленочка. По всему было видно, что жить ему осталось совсем недолго.

С другого моего бока лежал (лежал, потому что сидеть-то было негде, а на нарах долго не посидишь) писатель, бывший член Союза писателей РСФСР, коренной житель Томска. Фамилию его я забыл, от роду ему было лет 50, имел трех детей, жена работала в университете старшим научным сотрудником. Осужден он по статье 58 пункт 10, срок — 8 лет. В наши общие разговоры он никогда не вступал, был замкнут и молчалив. Изредка он разговаривал только со мной. Не знаю, чем я ему понравился, но он считал меня единственным в камере человеком, с кем он мог поделиться своими мыслями. Я всегда слушал его внимательно, не перебивал, и это, видимо, нравилось. Его разговоры все были на одну тему: написать письмо товарищу Сталину. Уж Сталин-то, конечно, разберется. Он не допустит такого безобразия, чтобы люди нашей страны безвинно сидели по тюрьмам и лагерям. Не знаю, написал ли он Сталину потом из лагеря. Если и написал, то вся его писанина отправилась в мусорную корзину. Это я сейчас так

говорю о корзине, а в то время я тоже верил «Великому» Сталину, поэтому я полностью поддерживал намерение моего собеседника. Сам я тоже мечтал писать из лагеря во все концы. Я тогда еще не знал, что в лагере будет не до писанины.

Нары в нашей камере были сплошные, на всю ширину помещения. Рядом с писателем лежали два татарина. Первого звали БакирВалеевич Бакиров. До ареста он жил на станции Тайга. Второй — ГайсейсмаевичИшаев — жил в небольшой глухой татарской деревушке под Томском. Бакиров работал на железной дороге простым рабочим. Был он лет сорока от роду, высокий, широкий в плечах мужчина.

- 119 -

Дома у него осталось девять детей, младшему сыну было десять месяцев, остальные — погодки — лесенкой. Бакиров был очень общительным, разговорчивым человеком. Разговор вел в основном о своей семье, рассказывал, что у него очень добрая и трудолюбивая жена. Но главная тема его рассказов — дети. Он с умилением вспоминал, какие у него красивые и умные дети. Жили они в землянке, которую он сам соорудил на окраине станции Тайга. Он постоянно говорил о том, как трудно ему было одному кормить такую большую семью. Нередко его грустная повесть заканчивалась слезами. Он плакал, как ребенок, навзрыд, и обильные слезы в два ручья текли по его пухлым щекам, а он слизывал их языком.

Второй татарин, ИшаевГайсейсмаевич, очень сильно отличался от своего соплеменника. Низенького роста, щупленький, он никогда ни с кем не разговаривал, только иногда перебрасывался несколькими словами со своим другом Бакиром. Шестым обитателем камеры был Коренкин Петр, коренной житель Томска, по специальности сапожник, мастер модельной обуви. Этот человек на всех смотрел свысока, особенно он презирал деревенских, считая их людьми неполноценными, и в разговоре всегда это подчеркивал: «А ты-то что лезешь в разговор, деревенщина неотесанная». Похоже, что всех деревенских он считал сплошными дураками, а городской человек для него — эталон человеческой мудрости. Словом, скандальный человек. Он очень любил рассказывать о своей жизни на свободе: как много зарабатывал, как жил шикарно в свое удовольствие. Ему от роду было уже за тридцать, но он еще не был женат, но зато имел много любовниц. По его описаниям все они были обязательно красавицы, а он их «менял как перчатки». Это было его любимое выражение. Помимо любовных приключений он любил еще рассказывать о том, как часто ходил в рестораны. Эти походы, как правило, заканчивались пьяными драками, а он всегда выходил из них победителем. Однажды я не выдержал и «приколол» его:

— Слушай, дядя Петя, а почему ты сидишь с нами в одной камере? Ты должен сидеть с хулиганами.

— Заткнись, паршивый студентик, — он почему-то всегда называл меня студентом. — Я смотрю, ты больно много знаешь. Так я могу поубавить твои знания, — закричал Петя на меня. А я ему в ответ:

— Каким же образом ты собираешься это сделать?

Это было уже чересчур. Он, конечно, не мог вынести такого нахальства и, вскочив с нар, бросился на меня с кулаками. Я тоже принял оборонительную позу. Дело принимало серьезный оборот. Не знаю, чем бы это кончилось, но вдруг на плечо Петра легла огромная рука

БакираВалеевича и, видимо, так сдавила его плечо, что Петя заморщи-

- 120 -

лея и стал медленно приседать на нары. Он явно этого не ожидал. «Не трогай пацана! Тронешь — убью!» — проговорил Бакир и ушел на свое место.

После этого инцидента Петро долго не желал вещать о своей жизни. Однажды, глядя в мою сторону, он процедил сквозь зубы:

— Ну, студентик, скажи спасибо, что ты не попался мне там, на свободе, я бы тебе показал, где раки зимуют. Вы, поганые студенты, пачками бегали от меня.

— Слушай, дядя Петя, если бы мы сейчас встретились с тобой там, на свободе, я думаю, что мы бы почувствовали себя самыми счастливыми людьми на всем белом свете.

— Хитер ты, бродяга, — он подошел ко мне и протянул мне руку. Вскоре Петра забрали на этап, и во время прощания он крепко пожал мне руку. А через несколько месяцев мы снова встретились с ним в концлагере в городе Новосибирске.

Вместе с Петром ушли на этап писатель и оба татарина, а в первых числах июня 1941 года ушел и я. В 42 камере остался только один старичок. Так, наверное, он и умер в той камере, а может, где-то в другом месте. В тюремной ограде, где формировали этап, набралось человек 50-60. Почти все молодые люди — так называемые — бытовики. Мы их так называли, а они нас — контрики, троцкисты, а во время войны нас называли фашистами.

Увозили нас со станции Томск-2. Не загоняя в здание вокзала, нас через ворота провели на перрон, где мы и расположились на зеленой травке в ожидании сталинского вагона. Этап состоял в основном из жителей Томска. Поэтому у вокзала собралась приличная толпа родственников заключенных. Через начальника конвоя они стали передавать передачи своим родным и знакомым. Люди, получившие передачу, объединялись, и начался пир. Молодые ребята с удовольствием уплетали вольную пищу за обе щеки. Меня никто не угощал. Я знал, что передачи мне никто не принесет, поэтому и лежал в сторонке, поглатывая слюнки. Но вот случилось чудо. Ко мне подошел начальник конвоя и, показывая на меня пальцем, спросил у кого-то из вольных людей: «Этот?» И я услышал голос из-за ограды: «Да, да, ему». Начальник положил передо мной узелок-сверточек, когда я его развернул, то обнаружил там большой батон хлеба, порядочный кусок хорошей колбасы и несколько шоколадных конфет. Поднявшись на ноги, я увидел молодую, хорошо одетую девушку, которая махала мне рукой. Наши взгляды встретились, она крикнула мне: «Это я Вам от благодарности!» В ответ я низко поклонился ей и послал воздушный поцелуй. Вот такие бывают люди. Совершенно незнакомая девушка — и такой подарок! Разве можно забыть вот таких людей, как та девушка? Я никогда об этом не забывал и не забуду, пока жив.

- 121 -

НОВОСИБИРСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ, ОНА ЖЕ ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕСЫЛЬНАЯ ТЮРЬМА

Нашу партию загнали в отстойник пересылки. Огромная площадь, окруженная по периметру длинными бревенчатыми бараками. К нашему приходу на этой площади уже находилось человек 200-250. Все они сидели, лежали на земле, ожидая своей очереди в баню-

санпропускник. В баню загоняли по 50-60 человек. Опять прожарка, опять крик, шум, драки, матерщина. Баня скорая. Успел обмыться — хорошо, а не успел — помоешься в другой раз. Влетала обслуга бани: «А ну, гады, вылетай, ишь расхлюпались!» А некоторые даже рук помыть не успели, но надо вылетать, если не хочешь схлопотать по голым мослам. Баня окончена, появились надзиратели. Они «культурненько» разбивали людей на мелкие группы и уводили туда, в утробу мрачных бараков. Вся эта канитель длилась целый день, поэтому в барак я попал только к ужину. Огромная камера, вдоль стен — двухъярусные сплошные нары. Около дверей стояла огромная деревянная бочка — параша. Рядом вторая бочка с водой для питья. В задней стенке продолговатое зарешеченное окно. Снаружи оно закрыто металлическим козырьком, так называемый ежовский гандон. Такую «благодать», наверное, внедрил по всем нашим тюрьмам Николай Иванович Ежов, бывший железный нарком НКВД (так ласково называл его «отец всех народов» «великий» Сталин). В камере оказалось человек 60-70. Верхние нары около окна были заняты блатными, подальше от окна располагались мастерки (прислуга), еще дальше лежали цветные, полувцветные и разноцветные. Я попал тоже на верхние полки, но уже далеко от окна, совсем под порог. Ближе к окну таким, как я, лежать не положено, так как у окна больше света и больше воздуха. Июнь, жара невыносимая. В ограниченном пространстве на всех воздуха не хватало, поэтому на воздух имели право те, в жилах которых текла голубая воровская кровь. Людями они считали только себя, а остальной люд для них — рабочий скот, за счет которого они и жили. Хотя я просидел в тюрьме уже 21 месяц, но совершенно не знал законов тюремной жизни. Да я и не мог знать эту жизнь тюремную со всеми ее подлыми законами. Все эти месяцы я находился совсем в другой среде, рядом с другими людьми и в другой обстановке. Оказавшись среди этого разномастного скопища, я сначала не мог сообразить, что мне делать и как себя вести. Тюремная жизнь быстро начала преподносить мне свои уроки...

Напротив, на верхних нарах сидели, свернув ноги калачиком, несколько пар играющих в карты. Их окружали «болеющие». Проигравший соскакивал вниз, вместо него

- 122 -

садился другой. Игра шла на тряпки в пересчете на деньги. Например: брюки вельветовые, оценены в 100 рублей, или рубашка х/б — 30-40 рублей. Сапоги хромовые — 200 рублей и т.д. Играли третьями. Эта игра была распространена тогда по всем нашим тюрьмам, игра очень простая, не требующая большого ума. Играют один на один. Один мечет, второй гадает. Если он поставил 30 рублей и угадал цветную карту, то, выходит, выиграл все тридцать, если угадал простенькую, то тридцать делится на три и он выиграл только 10 рублей и т.д. Эту игру я потом через долгие годы моей каторжной жизни понял. А, увидев впервые, чувствовал себя дураком. Играющие третьями сидели оба в одних трусах, а что они проигрывают — для меня совершенно было не понятно, но потом я кое-как разобрался. Они играли на то, что еще не имели. Один из них, вон там, на нарах, увидел фраера в пиджаке, более менее приличном, вот он и ставил на проигрыш тот пиджак. И, если он проиграл, то посылал своих шестерок, которые должны были снять проигранный пиджак. В случае сопротивления, хозяина вещи избивали и насильно отбирали проигранную вещь. Если же обобранный начинал хныкать, просить вернуть отобранное, то его интеллигентно увещевали: «Ты шо, дядя, хнычешь-то? Вещь мы забрали, но она же не твоя, а проигранная, если проиграл — плати!» Обобранный «дяденька», наконец-то, понимал, что к чему и умолкал... Однако продолжу свой рассказ о пересылке.

Те этапы, что пришли раньше нас, все уже были «обработаны», то есть обобранны, общипаны, все проиграно, съедено и прокурено. Поэтому весь мир с интересом глядел на нас, на

новеньких: что можно украсть, отнять, облапошить, обменять. Мой мешок был натолкан под завязку: телогрейка, валенки, шапка, пачек 30 папирос, которые я купил в ларьке Томской тюрьмы перед этапом. Поэтому кое-кто заприметил и мой сидор. Ночью было несколько попыток прощупать его, но я не терял бдительности — малейший шорох у моего изголовья, я поднимал голову, супостат притихал и ретировался не солоно хлебавши. В открытую напасть на меня они почему-то не решались, наверное, не имели указаний на это от своих хозяев, или просто не торопились: не к спеху, впереди еще много дней, успеется. По их законам, однако, новый человек должен быть обработан в первую ночь своего пребывания на пересылке, потому что намаевшись в сталинском вагоне, набитом до отказа, и добравшись до нар, человек спал как убитый.

Как бы там ни было, но прощупать содержимое моего мешка в первую ночь так никому и не удалось. Утром я последним вышел из камеры, быстренько помылся и первым заскочил в камеру — и сразу к мешку. Мешок на месте. После завтрака прогулка. Вдохнуть свежего воздуха любой

- 123 -

арестант никогда не откажется. На пересылке прогулка длилась один час, а в тюрьме — 15 минут. Прогулочный двор не большой, огорожен пятиметровым забором. Из нашей камеры я вышел последним, во дворе творилось что-то невероятное для меня: рев, гам, игра в чехарду, кто-то на ком-то ехал верхом, пришпоривая того ногами по бокам, заставляя бежать быстрее, рысью. Везущий запинался, падал, сидевший у него на плечах ударялся лицом о землю, разбивал в кровь нос, а кругом хохот, брань. «Убью, гадюка» — кричал раненый. И вдруг, как гром среди ясного неба, из-за забора слышался женский голос. Это выводили на прогулку женскую камеру. В нашем дворике мгновенно наступала абсолютная тишина, все с упоением слушали женские голоса, как чарующие звуки какой-то божественной музыки. Как скучал один пол по противоположному! Каждый мужчина в этот миг отдал бы полжизни чтобы только на одно мгновение прикоснуться к женскому телу. Женщины тоже притихли. Они тоже слушали с не меньшим интересом грубые мужские голоса.

— Девочки, здравствуйте!

— Здравствуйте, дорогие мальчики.

— Девочки! Перепихнуться бы сейчас!

— Ой, мальчики! Не то, чтобы перепихнуться, а хотя бы в щелочку увидеть вас, дорогие вы наши ненаглядные мальчики.

Обмен любезностями закончен, начался серьезный разговор.

— Нет ли в вашей камере Нади-Чахотки?

— А что тебе от нее нужно?

— Да это моя подельница, мы с ней долго партнерствовали, она фраеровмарьяжила, а я их обирал.

— Нет ли в вашей камере Толика Карзубова или Андрея Закуха?

— Нет, — отвечали ей. Разговаривали блатные с крадуньями, а вернее сказать с проститутками. Фраер в этот разговор не встревай! Поколотят, да так поколотят, что очень долго будешь кашлять кровью.

Прогулка окончена, я стараюсь первым вскочить в камеру и сразу к своему мешку. Мешок распотрошен. Валяются на полу валенки, шапка и все остальное. Папирос и пайки хлеба нет. Я был обозлен до потери сознания, в этот момент я не боялся никого, мне казалось тогда, что я мог бы убить любого. Я встал на нары и громко закричал: «Крысы облезлые! Я спрашиваю вас, кто забрал мою пайку, кровную пайку, которую по всем законам тюрьмы никто не имеет права отнять у человека, любого каторжанина, будь он самым последним фраером. Я спрашиваю вас, сволочи, кто вам дал право забрать у меня курево? Ведь это курево-то я не от мамки получил, а купил в тюремном ларьке, поэтому нет ни у кого права их забрать». Перешагивая через ноги

- 124 -

лежащих, я направился по нарам к окну, где в углу лежал хозяин камеры Андрей, по кличке Хромой. Вся камера затаила дыхание, наблюдая за происходящим. То, что сейчас меня кончат, было ясно всем. Вопрос был только в том — зарежут меня или повесят на полотенце. Подойдя к логову хозяина, я молча стал собирать свои папиросы, разложенные аккуратными стопками. В этот момент сильный удар ногой в грудь сбросил меня с нар. Я упал вниз головой. Удар был внезапным и настолько сильным, что, падая, я ударился головой о противоположные нары и рассек голову до кости. При этом, наверное, был разорван крупный кровеносный сосуд. Кровь из раны хлынула фонтаном. Струя крови доставала почти до потолка. Но я, не ощущая боли и не обращая внимания на кровавый фонтан, кинулся под порог, схватил с параша тяжеленную крышку, бросился на нары к Андрею. В этот момент на мою шею было накинуто свернутое жгутом полотенце, я повис в воздухе. Я задыхался и уже начал терять сознание. Расправу остановил Хромой: «Ша, гаденыши, отпустить! Обмыть холодной водой рану! Остановить кровь! Поубиваю всех, шакалье!» Меня подволокли к бочке с холодной водой и начали обливать мою голову. Кровь продолжала бить фонтаном. Тогда несколько мужиков, схватив первое, что попало под руки, стали колотить чем попало в дверь, вызывая надзирателя. В санчасть меня тащили уже на руках — я потерял сознание...

Счастливый я человек или мне просто тогда повезло — не знаю. Вообще-то, мне всю жизнь везет. Я десяток раз висел на волоске от смерти, но каждый раз кто-то помогал мне выжить. На этот раз я остался живым потому, что все случилось во время приема врачей. Случись это во время, когда в корпусе не было врачей, я бы, конечно, истек кровью. Тюрьма: здесь пока достучишься до надзирателя, да пока вызовут врачей, можно десять раз копыта откинуть.

Я не помню, сколько времени понадобилось хирургу, чтобы наложить на рану четыре шва. И вот я опять в своей камере.

— Иди сюда, малый! Лезь на нары, — командует Андрей, — ложись вот тут, рядом. Ты, дергай отсюда! — пнул он ногой того, кто лежал рядом с его постелью, и тот, схватив свою телогрейку, быстренько перескочил на другие нары, туда, где лежал я. — Вы подайте его чемоданы с вещами.

— Мне перебросили мой мешок. Устроив все это, Андрей весело обратился ко мне:

— Слушай, фраерюга, для чего ты схватил крышку от парашаи?

— Хотел убить тебя, — ответил я. Андрей упал на свою постель и долго хохотал, переворачиваясь с боку на бок.

— Ну, уморил ты меня, малыш. Ты не знаешь о том, что я Кощей Бессмертный. У меня есть заговор от смерти, — и,

- 125 -

повернувшись, он отложил пуховую подушку в сторону. Под подушкой лежал финский нож. — Теперь ты понял, что меня убить невозможно? Пока ты размахивал крышкой, я тебя десять раз мог проткнуть насквозь. А теперь скажи честно — тебя завтра вызовет опер, — что ему скажешь про сегодняшний день?

— Полез на нары, поскользнулся и упал, — ответил я.

— Добро, — согласился он. — В какой тюрьме ты сидел?

— В Томской.

— О, да ты мой земляк. А срок-то большой?

— Пока червонец.

— Ну, ничего, ты не горюй, отсидишь. С таким характером, как у тебя, в лагере не умирают. А теперь вот, бери хлеб, сало, сахар и ешь. И давай вместе будем курить твои папиросы. Когда-нибудь я с тобой рассчитаюсь, если не попадешь под мою горячую руку.

Через много лет, будучи на Колыме, этот Андрей спас меня от неминуемой смерти. Но об этом потом.

На следующий день выяснилось, что меня ошибочно поместили не в ту камеру. Оказывается: на пересылке контриков отделяют от «друзей народа», а посему мое место там, куда помещены осужденные по 58 статье. После обеда меня вызвали с вещами, я с радостью покинул это царство уголовников.

Остаток дней пребывания в Новосибирской пересыльной тюрьме я провел среди интеллигентной публики. Так, моим соседом по нарам был Сергеев Вадим, выпускник Свердловского театрального училища. На нары он попал вскоре после окончания училища. Как рассказал он сам, на банкете по случаю завершения учебы кто-то предложил первый тост за товарища Сталина, а Вадим по дурости предложил выпить сначала за успешное окончание училища, а потом уж за Сталина. Через два дня его арестовали. К срыву тоста за здоровье любимого Сталина ему добавили еще кое-что, а два месяца спустя областной суд воткнул ему 5 лет ИТЛ и три года поражения.

Один из сокамерников был писателем. Фамилию его я не помню. Помню только, что в первый же вечер, после ужина, на середину камеры вышел пожилой человек и тихим голосом начал что-то рассказывать. Сначала я не мог ничего понять, но Вадим Сергеев ввел меня в курс дела. Оказалось, что этот человек — знакомил всех с содержанием своего последнего романа под названием «Чайка». В камере стояла абсолютная тишина, все слушали с большим вниманием.

Наверное, роман был очень интересным. Я, конечно, тоже слушал, но, не зная начала, плохо понимал о чем шла речь. На нижних нарах, как раз подо мной, расположился священник. Днем к нему подходили пожилые люди и обращались с какими-то просьбами. Я в то время мало что понимал

- 126 -

в церковных обрядах и, честно говоря, недоумевал, наблюдая, как священник накрывал просящего черной тряпкой и читал молитву. Потом только я узнал, что это шло исповедание. Священник был очень старым человеком, носил длинные волосы, достающие почти до пояса. В тюрьмах всех без исключения стригли под машинку, а вот священнику волосы оставили. Оказалось, что он направлялся в ссылку. В Новосибирской пересылке он находился в ожидании своего этапа.

Нужно упомянуть еще об одном интересном человеке. Это был солист Ленинградского оперного театра, народный артист СССР. Было ему тогда лет пятьдесят. Он частенько пел в полголоса, голос у него был очень приятного тембра — чистый тенор. Из его рассказов я понял, что он был в большой дружбе с Шаляпиным, Козловским и еще со многими знаменитыми певцами.

О том, что началась война, мы узнали только 26 июня 1941 года. В тот день нашу камеру повели в баню и там от обслуживающего персонала мы и услышали страшную весть — 22 июня 1941 года германская авиация бомбила наши города, началась война, объявлена мобилизация. Камера приутихла — никаких споров, никаких разговоров. Каждый думал про себя: что же будет со страной и что ждет нас?

- 127 -

КАРЦЕР

Утром 28 июня 1941 года всех обитателей камеры вывели на этап. Огромная площадь была заполнена до отказа. Часа в два дня этап был сформирован и построен строго по пятеркам. Прозвучала знакомая команда: «Партия! Внимание! В пути следования не растягиваться, не разговаривать, держаться строго пятерками, по сторонам не смотреть, шаг вправо, шаг влево считается побег. Конвой применяет оружие без предупреждения». Огромная масса людей двинулась в путь по улицам города Новосибирска. Пятерки в голове колонны шли нормальным шагом, а задние бежали почти рысью. Начальник конвоя часто останавливал этот людской поток и кричал во все горло, чтобы задние подтягивались. В первых рядах, конечно, шли блатные вперемешку с женщинами. Они на ходу подженивались, втаскивали своих подруг в середину пятерок и ощупывали их как курочек, курочки смеялись, лезли к мужикам целоваться, а некоторые нетерпеливые даже пытались всунуть руку в штаны к своим ухажерам. Все смешалось. Какие тут пятерки? Не до пятерок. Начальник конвоя охрип от крика, пытается восстановить порядок. А тут еще беда со стариками. Они двигались в последних пятерках. Быстро выбившись из сил на солнцепеке, они стали отставать, запинаться, некоторые даже падать. А многие из них уже не рады были своим мешкам. Разомлевшие, запыхавшиеся, уставшие, они пытались бросить свои манатки, но конвой приказывал подымать шмотки, при этом конвой успевал подбодрить уставших прикладами по спине или пониже. Если бедняге не удавалось увернуться от удара и он падал в дорожную пыль, то конвой спускал собаку, которая рвала на нем одежду вместе с мясом. Партия останавливалась и начальник конвоя быстро

наводил порядок.

Город остался позади, колонна шагала по пригородному пустырю. Изредка попадались одиночные пятиэтажные дома. Справа мы огибали огромные заводские корпуса. Позднее я узнал, что это был авиационный завод имени Чкалова. Рядом со мной шел молодой паренек, который пояснил, что нас гонят, наверное, на третий чкаловский ОЛП. Прошли какую-то железнодорожную станцию, похоже сортировочную, дорога круто повернула влево. Перед нами лежала улица, по обе стороны которой стояли двухэтажные деревянные дома. На табличке одного дома я прочитал «Соцгородок». Дорога опускалась вниз, в лог, где протекала небольшая речушка. На той стороне лога справа мы увидели пятиметровый деревянный забор, по углам забора располагались сторожевые вышки. И вдруг впереди красивый женский голос запел:

- 128 -

Вот мы к лагерю подходим,

Телеграмму подаем:

Приготовь, начальник, карцер

На работу хрен пойдем.

Частушку быстро подхватили другие голоса.

Не ходи по льду, лед провалится,

Не люби вора, вор завалится.

Вор завалится, будет париться,

Передачу носить не понравится.

Я любила вора и любить буду,

Я носила передачу и носить буду.

В этот момент начальник конвоя взмахом пуки остановил колонну и приказал всем садиться. Проделав длинный путь под жарким солнцем, люди, конечно, устали, все с удовольствием упали на пыльную дорогу, а некоторые даже легли, вытянув ноги. Начальник конвоя ушел туда, в огороженную преисподнюю, наверное, доложить высокому начальству, что он привел огромное стадо рабов — получайте! Через час, а может и больше, ворота проходной открылись, показалось «высокое» начальство во главе с нашим начальником конвоя. Они что-то обсуждали, не глядя на нас, потом один из них махнул рукой в сторону зеленеющего вдали бора и приказал гнать нас туда. Раздалась команда, невольники тронулись дальше.

Углубившись в бор, мы увидели забор, сколоченный наспех из свеженьких досок. Значит — нас здесь уже ждали и специально приготовили жилую зону. «Приставить ногу! — кричал начальник конвоя совсем охрипшим голосом. — Садись!» Вот он: долгожданный наш родненький советский концлагерь! Хозяева лагеря принимали нас по формулярам. Первыми в зону прошли бытовики, последними пошли мы — 58-я. Нас оказалось человек сто. В зоне стояли четыре

барака, старые. Нам под жилье достался бывший овощной склад. Спустившись в это подземелье, мы не обнаружили там ни нар, ни пола, вернее остатки пола, который давно сгнил, под ногами валялись гнилушки, перемешанные с грязью и гнилой картошкой. Дышать было нечем от запаха гнилой картошки. Кроме того, весь подвал был заполнен крысиными гнездами, в которых пищали голые крысята. Время подходило к отбою, надо было готовиться к ночлегу. Мы выбрались из своего подземелья и группами бродили по зоне в поисках более подходящего жилья. Наконец нашли: в конце зоны, на четырех столбах стоял какой-то навес. Под этой крышей мы и устроились. Звон рельсы известил о том, что движение по зоне прекращается. Отбой! Надзиратели, обходя свои владения, обнаружили нас в неполюженном месте.

- 129 -

— А вас что же, не касается отбой?

— Конечно, касается, гражданин надзиратель, — ответили мы, — поэтому мы и ложимся спать.

— А кто вам разрешил здесь спать?

— Да никто, мы просто сами вот ложимся.

— Вас куда поместили? — все более раздражаясь, уже кричал надзиратель.

— Да вон в тот склад, в бывшее овощехранилище, — отвечали мы.

— Ну, так и спите там!

— Да там невозможно спать, там под ногами хлюпает вода, дышать нечем, воняет гнилью.

— Сейчас выясним. — И блюстители порядка отправились к тому овощехранилищу. Через несколько минут они вернулись.

— Ладно, хрен с вами, спите здесь до утра, только не шляйтесь по зоне ночью! Поймаем хоть одного, загоним всех обратно.

Вот так принял нас родной лагерь. Спать, конечно, нам не пришлось: заедали комары — кругом стоял дремучий лес. Подъем в шесть утра, а большинство из нас так и не ложилось, отбивая атаки кровососов. Поднялись на ноги, смотрим по сторонам, не зная что же нам делать. А по зоне кругом сновали люди: кто с котелком в руках, кто с пайкой хлеба. Куда-то все спешили. Вскоре появился человек, который назвался нарядчиком зоны. Он приказал разбиться на бригады по 25 человек и выбрать бригадиров. Потом каждый бригадир получил на свою бригаду пайки хлеба и приварок. Вот так стихийно, на скорую руку, были созданы бригады. Я попал в бригаду, можно сказать, интернациональную: половину ее составляли поляки, остальные — русские, татары, чуваша, белорусы и даже финны. Бригадиром у нас стал очень толковый и хорошо разбирающийся в производственных делах человек. Фамилия его была Компаки. На свободе он работал главным инженером на строительстве Новосибирского оперного театра. Театр строили очень долго, за эти годы много народу — от начальника строительства до простого рабочего — было арестовано по линии НКВД. Все они оказались вредителями, диверсантами, шпионами и т.д. Самого Компаки посадили за то, что, занимаясь вредительством, он одновременно был иностранным шпионом, диверсантом и террористом. Мы удивлялись, почему его не расстреляли? Но зато сроком не обидели: 20 лет и 5 поражений.

Суд решил, что этого пока достаточно. Он бывший член коммунистической партии Италии. С приходом к власти Муссолини он решил перебраться в СССР, где надеялся найти покой и защиту. Нашел и то и другое — в лагере.

Первый наш трудовой день начался с развода. Затем нас погнали в сторону авиационного завода имени Чкалова, до

- 130 -

которого было километра два с половиной. Но прежде чем добраться до завода, мы должны были перейти полотно Транссибирской железнодорожной магистрали. Мы двигались вдоль насыпи, когда нас обогнал военный эшелон. В открытые двери телячьих вагонов было видно, что они плотненько набиты молодыми ребятами. Увидев нас, идущих под конвоем, они стали кричать: «Прощайте, братцы, помните о нас, вы, может, останетесь живыми, а нас везут на бойню». Солдаты махали нам руками, прощались, бросали вниз пачки с махоркой и булки хлеба. Такие сцены происходили потом каждый раз, когда нам доводилось шагать рядом с железной дорогой. Работая позднее в непосредственной близости от железной дороги, я насчитывал до 15 эшелонов в день, только с людьми, не считая эшелонов с военной техникой. Все для фронта, все для Победы! Таков закон войны.

Огибая завод с западной стороны, мы увидели несколько военных самолетов, стоявших у забора завода. Так называемых «ястребков» или истребителей. Они совсем не были похожи на те грозные военные самолеты, какими мы представляли их в своем воображении. Нам показалось, что эти самолеты не настоящие, а игрушечные, или, иначе сказать, — камуфляжные: маленькие, коротенькие, не более четырех метров в длину, тупоносые, как будто кто-то специально поотрубал им носы. Одноместные кабины самолетов были покрашены темно-зеленой краской. Я лично не верил тому, что эти на вид игрушечные самолетики могут кому-то угрожать.

Обогнув завод мы вышли на небольшую площадку. Вот здесь мы должны были трудиться. В стороне валялись несколько перевернутых деревянных тачек, неизвестно кем названных «машина осо — два руля, одно колесо». Это был основной транспорт и вечный спутник з/ка. Там же лежали штыковые и подборочные лопаты, ломы, кайло — весь набор шансового инструмента. Прораб — пожилая и очень строгая на вид женщина из вольных коротко распорядилась: «Вот вам доски, стелите на трапы. Снимайте растительный слой и по трапу отвозите грунт вон туда, вниз, к кустарнику. Будем готовить всю эту площадь под асфальтирование. Задание ясно?» И закипела работа. Площадка по всему ее периметру оцеплена стрелками. Красные флажки указывали, что за пределы этих флажков мы не имеем права выходить ни на один миллиметр, иначе — смерть! Я, конечно, в шутку сказал, что закипела работа: торопиться ни у кого желания не было — срок большой, наработаться успеем. Для начала надо было полюбоваться природой. После длительной отсидки в тюрьме как-то острее ощущаешь все прелести природы, особенно там, за красными флажками, она казалась сказочной. Кстати, вдалеке за логом виднелся

- 131 -

до боли знакомый фасад тюрьмы № 1, где я сидел в смертной камере больше месяца. Страшная тюрьма, особенно страшен ее спецкорпус, откуда возвращаются к жизни совсем немногие.

Прораб, «строгая женщина», созвала бригадиров на производственное совещание, вернувшись с него, наш бригадир Компаки объяснил, что и как нужно делать: «Хватайте инструмент, кому какой нравится, и поехали!» Мне почему-то понравилась «машина осо». Водить такую машину не каждый может: к ней надо приноровиться, привыкнуть, иначе — чуть качнуло и ты вместе с тачкой летишь с трапа в сторону набок. В бригаде я был самым молодым, мне шел восемнадцатый год, а я уже отсидел в тюрьме почти два года и по сравнению с другими бригадниками я смахивал на школьника-подростка. Поэтому все в бригаде звали меня сынком. Вот поэтому «сынок» и должен был осваивать новую «технику». В бригаде собрались крупные специалисты по земельным работам: адмирал из Латвии, борец, заслуженный мастер спорта из Казахстана, несколько докторов и кандидатов наук, преподаватели вузов и школ. Особенно много было партийных работников из разных эшелонов власти. Больше половины бригады составляли поляки, в основном бывшие офицеры польской армии. Среди поляков был даже фабрикант из Лодзи.

Разобрав инструмент, мы, наконец, принялись за работу. Часть бригады копала на штык лопаты грунт и грузила его в тачки, другие орудовали подборками и также грузили тачки. Эта работа не требовала больших знаний и навыков. А вот с «осо» получилась заминка. Первые рейсы почти все опрокидывались, не достигнув до указанного места. Я лично груженую тачку валил набок, а сам падал вместе с ней. Поначалу работа явно не ладилась, но потом, постепенно, мало-помалу освоились. В 8 часов вечера прогудел гудок авиационного завода, который известил нас о том, что наконец-то первый рабочий день закончился. По возвращении в лагерь нас ждал неприятный сюрприз: все наше «добро», оставленное на месте ночлега под навесом, было раскурочено до основания. Я, например, обнаружил в своем сидоре только маленькую тряпочку. Все остальное уволокли. Ну что поделаешь? Такой закон лагеря: тащи все, что сможешь. Дней через десять мы закончили работу на первой площадке, и нас повели на другой объект, «хороший» объект — копать траншеи в городе. Глубина траншей метров 8-9. Не знаю, для какой надобности мы их копали: для прокладки водопровода или канализации. Однажды, когда часть траншей была, выкопана до нужной глубины, приехало на легковых машинах какое-то большое начальство. Нас немедленно увели в зону и больше туда не гоняли. Позже прошел слух, что траншеи копать запретили, потому что где-то рядом

- 132 -

проходил подземный телефонный кабель, связывающий Москву с Владивостоком.

Расскажу о нашем питании. Старые жители зоны рассказали, что пока не началась война, кормежка здесь была более или менее сносной: пайка хлеба при выполнении плана бригадой на 125% — 900 грамм, на 100% — 800 грамм, а менее 100 % — 700. Приварок тоже зависел от процента выполнения плана. Существовала так называемая котловка, которая разделялась на три категории. Словом, жить можно было, да к тому же многие местные жители получали передачи от родственников, а также шли посылки. Так что доходяг в зоне не было. С началом войны пайка хлеба была урезана до 460 г — это самая большая, — а самая маленькая — 260 грамм. Приварок был также урезан на 60-70%. Так что — жить-то на такой кормежке может и будешь, но на поцелуй не потянет. А с нами вместе жили и женщины.

В конце июля открылся новый объект, так называемый 32-й. Это был огромный пустырь, расположенный ближе к городу, куда нас гоняли около двух тысяч человек. Этот объект был самым большим по количеству работающих людей. От лагеря до объекта было километров пять

и наша партия, состоявшая из двух тысяч человек, в пути следования растягивалась почти на километр. Начальник конвоя нервничал, кричал, требовал подтянуться, но никто и не думал этого делать. Тогда колонну останавливали, укладывали на землю. Для этого конвой выбирал самое грязное место. Если кто не плотно прилег к земле, начиналась стрельба поверх голов. Такие истории происходили только тогда, когда нас гнали на работу: торопиться было некуда, срок большой, успеет ли выжить.

Молодых стрелков с каждым днем становилось все меньше и меньше. Они заменялись стариками, мобилизованными в связи с начавшейся войной, которые на фронт не годились по старости или по состоянию здоровья. Мы-то шагали по дороге, а охрана — по обочине. Некоторые запинались, падали, матерились и, наверное, проклинали всю эту службу. Некоторые из них за всю свою долгую жизнь ружья-то в руках не держали, а тут винтовка, да еще приказали в случае чего стрелять в человека. Однажды выводят нас по пятеркам, смотрим, а наш конвой стоит с палками без винтовок. Смешно и грешно было смотреть на такой конвой: на всех всего четыре винтовки, да один пистолет у начальника. В тот раз начальник конвоя не предупреждал: шаг влево, шаг вправо, конвой применяет оружие без предупреждения! На политзанятиях политрук внушал этим стрелкам, что они несут почетную службу, охраняя врагов советской власти. А как их устережешь с палкой в руках? Вот так нас конвоировали почти целую неделю, потом постепенно стрелков вооружили, но не нашими трехлинейками, а каким-то

- 133 -

иностранным оружием. Значит, наши трехлинейки ушли на фронт. Тогда начальник конвоя опять начал предупреждать о применении оружия.

Я уже сказал, что народу на объект гоняли много, но работы хватало всем. Приходишь утром, хватаешь лопату, начинаешь ямку копать, другие в эти ямки столбы ставят, третьи вкапывают. Следом идут плотники, делают обвязку, шипы зарезают, стойки ставят, стены зашивают. Женщины носилками носят шлак, засыпают его в сколоченную стенку. Смотришь, к вечеру стоят четыре-пять длинных барakov. Все — жилье для эвакуированных готово. Входи, живи себе на здоровье и радуйся, что живым выбрался с захваченных врагом территорий. К концу месяца таких барakov было наштамповано много, но с запада прибывало народу еще больше. А следом везли разобранные заводы, собирали их на скорую руку, а эвакуированные рабочие становились за станки.

Где-то в первой половине августа из лагеря исчезли все поляки. Выяснилось, что их всех освободили, вручив при этом по булке хлеба и по две селедки на брата. Почему выпустили на свободу поляков? Знающие люди объяснили, что эмигрантское польское правительство во главе с Сикорским договорилось со Сталиным об их освобождении. Сикорский начал формировать полки для войны с Гитлером на стороне наших войск. Освобожденные поляки и составили основу этих полков.

Несколько слов о лагере. Он был основан в начале тридцатых годов. Наше правительство решило тогда построить в Новосибирске новый авиационный завод. Строительство такого гиганта требовало огромного количества рабочей силы. «Найдем!» — сказали умные наркомы. И вот на зеленом пригорке быстренько был сооружен вместительный лагерь, столь же быстренько заполнен рабочей силой — заключенными, которым платить не надо, да и на проживание больших средств не требовалось: кусок хлеба, черпак шлюмки, сваренной из

неочищенной мерзлой картошки,— вот и все затраты. Работа закипела, через несколько лет завод начал давать продукцию в виде самолетов. И называли тот завод именем прославленного летчика Валерия Чкалова и лагерь называли — «третий Чкаловский».

Это, так сказать, историческая справка о нашем лагере. В недавнем прошлом в лагере существовала столовая, пристроенная к кухне, но во время войны, когда людей в нем утроилось, а может и удесятирилось, та столовая уже не могла вместить всех заключенных. Столовую закрыли, а пищу стали раздавать побригадно в железные бачки или в деревянные бочки. Было пробито несколько окон в стене кухни, над каждым окном повесили таблички: бригада № 1, 2, 3, 4, 5 и т.д. Утром после подъема все помощники

- 134 -

бригадира, а проще — балантеры, устремлялись рысью с бачками в руках к раздаточным окнам кухни, занимали очередь возле амбразуры, чтобы получить шлюмку. А вторая группа рвалась к окну хлебозерки. Летом-то вся эта кутерьма еще не так страшна, но зимой... И в мороз и в пургу бежать, стоять в очереди у амбразуры иной раз было невыносимо. Объект № 32 закончен, нас перевели на новое место.

Новый объект располагался совсем рядом с заводом. Мы должны были удлинить и расширить летное поле. Старое поле не удовлетворяло потребности производства. Оно было маленьким. Для тех маленьких истребителей, о которых я упомянул выше, летное поле было впору. Но затем завод приступил к серийному производству более мощных самолетов — сначала Як-3, а потом Як-35. Фронтовики, прибывавшие на завод с фронта, рассказывали, что Яки очень хорошие самолеты. Нас на новый объект выводили, наверное, больше двух тысяч. Мы должны были всю эту огромную площадь подготовить к асфальтированию, а для этого нужно было снять весь растительный слой примерно глубиной не менее двух штыков, а весь грунт вывезти на тачках за пределы площадки, затем спланировать площадку так, чтобы удалить все неровности.

Снимали нас с работы в восемь часов вечера. Пока посчитают две тысячи, пройдет времени не меньше часа. Счетчиками были малограмотные старики: счет постоянно не сходился — получалось или сотни не хватает или сотня лишних, начинают считать второй раз, а то и третий. Таким образом, к лагерю нас подводили часов в десять вечера, а то и позже. Здесь опять начинали считать, опять считали два раза, а то и три. Поэтому в зону попадали часов в двенадцать. Это в лучшем случае. Балантеры хватили бачки и рысью к кухне, а там их уже встречала огромная очередь. А мы приходили в барак и, не раздеваясь, падали на голые нары. Бараки не топлены — нет топлива. Только уснул, тебя тянут за ногу — получай ужин. Проглотил холодную бурю жижу, снова уснул. Часа в два ночи опять дергают за ногу — получи пайку! Проглотил всухомятку этот кусочек, а через три часа подъем. И так каждый день. Конечно, балантеров и хлебоносов бригадир подбирал таких, которые еще могли бегать и могли постоять за себя, а слабенькому в тех очередях делать было нечего. Вот поэтому все, что оставалось от ужина, бригадир отдавал им, а бригада на это не обижалась. Люди постепенно начали доходить, бригады стали уменьшаться. Начался вымор. Первыми умирали старики, потом бывшие коммунисты, следом подхватила эстафету интеллигенция. Словом, умирал в первую очередь тот, кто не привью к такой жизни. А продолжал жить тот, кто вдоволь хлебнул нашей советской, мурцовки, будучи на свободе.

- 135 -

К концу 41 года за получением паек хлеба ходили уже не по двое, а по пять-шесть человек, при этом брали с собой оружие — трубу железную, лопату с обломанной ручкой, а некоторые бригадиры имели коротенькие ломы и даже топоры. Оружие приносили с производства и прятали подальше, чтобы во время очередного шмона надзиратели не могли его обнаружить. Надзор знал об этом, но помалкивал, ибо разбойничьи нападения на хлебоносов принимали массовый характер. В звериной борьбе за выживание истощенные, доведенные до отчаяния люди буквально охотились за теми, кто обладал хоть каплей съестного. Жертвами таких сбившихся в ватаги или одиноких охотников за едой становились не только хлебоносы, а прежде всего больные, которым выдавался дополнительный паек для поддержания здоровья.

Приведу один пример. В начале 1942 года в нашей бригаде появился новичок. Какова была моя радость, когда выяснилось, что он оказался не только моим земляком — жителем села Чердаты Зырянского района, но и дальним родственником! Звали его Шишкин Михаил. В лагерь он попал еще в 1937 г., имел приговор — 10 лет и 5 поражения. До ареста Михаил работал в колхозе конюхом. В Чердатах у него осталась семья: жена, две дочки и сын. В нашу бригаду его направили после лечения. Выписавшись из больницы, он получал дополнительный паек для поддержки здоровья. Паек состоял из 200 граммов хлеба и 100 граммов каши. Затемно, когда нас пригоняли с работы, он брал котелок и шел к больничной кухне за этим пайком. Я, в свою очередь, получал на двоих баланду и ждал его возвращения. Однажды он долго не возвращался. Я начал беспокоиться. Время шло. Был уже второй час ночи. Я собрался и пошел его встречать. Темнота, хоть глаз выколи, мороз жал под тридцать. По зоне не видно ни души, только толпился народ около кухни, ожидая своей очереди. Неподалеку от больничной кухни я и нашел дядю Мишу, недвижно лежащим на снегу, без шапки, в луже крови. Наклонившись над ним, я в ужасе отшатнулся: из разрубленной страшным ударом головы дяди Миши желтым полукругом выплыли мозги. Рядом валялась шапка и пустой котелок.

Так закончил свой жизненный путь Шишкин Михаил, бывший конюх колхоза имени Крупской, хороший и добрый человек. Более пятидесяти лет прошло с той страшной ночи, но боль, сжавшая тогда мое сердце, не отпускает меня по сей день. Вечная память всем безвинно убиенным. Проклятие на голову их убийц! В 1959 году мне довелось встретиться с женой дяди Миши, его сыном и двумя дочками — Лидой и Груней. Много было пролито слез: они все эти годы ждали своего мужа и отца. Миллионы сирот оставили большевики, миллионы матерей не дождались своих мужей, сыновей и дочерей.

- 136 -

От лагеря до места работы было примерно три километра. При нормальной жизни человеку пройти такое расстояние не составляет большого труда, но это при нормальной. Мы же к тому времени уже процентов на 60-70 стали доходягами, спали 4-5 часов в сутки, гоняли нас не по дороге, а через городскую свалку-помойку. В сухую погоду пройти еще было можно, а после дождя помойку так размешивали, что ноги в грязи тонули до колен. Опять же: если идти в резиновых болотных сапогах, то тоже не страшно! У нас же на ногах в лучшем случае были ЧТЗ (обувь, сшитая из разодранного корда автомобильных или тракторных покрышек). Но ЧТЗ носили не все — лагерная сапожная не успевала наготовить такой обуви на 6-7 тысяч человек, поэтому многие, и я в том числе, носили веревочные лапти. Пройдешь по такой 4 дорожке», да в такой обуви — ноги до колен мокрые. На объекте подсушить тряпки, которыми обертывали ноги, было невозможно — конвой не разрешал разжигать костер. А если бы и разрешил, то где взять дров? Тачку или трап ломать на дрова и жечь было нельзя. Так вот и хлюпаешь весь день в

мокрых лаптях. Пришел в зону, там тоже посушить негде: печи не топились, приходилось это мокрое тряпье класть под бок, чтобы оно хоть немного подсохло. На следующий день тебя снова гонят по той же помойке. И так каждый день без выходных.

Октябрь-месяц самый противный в Сибири: то дождь, то снег, то сразу все вместе. Приходишь утром в забой, а там вода подернулась тонким ледком. Трап, по которому гоняли груженую тачку, обмерзал, тачка скользила и падала набок, а с тачкой и ты летел в ледяную воду. Господи Боже ты мой! Видел ли ты такие человеческие страдания? Если видел, то зачем допускал такое? Вот в такое октябрьское утро я вместе с тачкой свалился в яму, наполненную водой. К обеду потянул северный холодный ветер, одежда моя начала обмерзать, а вместе с ней начал замерзать и я. Остановиться передохнуть было нельзя — сразу заоченеешь, работать без передыха уже не было сил. Бригадир, видя мое состояние, заменил меня бригадником по имени Гинзбург Борис, который был покрепче, а меня поставил грузить тачки. Перед самым концом рабочего дня у меня внезапно отнялись ноги и я упал на мокрый грунт. Борис пытался поставить меня на ноги, но меня трясло как в лихорадке, я потерял сознание.

Очнулся я, лежа на железной койке, на сухом матраце, набитом соломой и под одеялом. На соседней койке сидел мой старый знакомый по Томской тюрьме Коренкин Петр и улыбался, глядя на меня. Увидев, что я открыл глаза, он обнял меня за шею и заплакал.

— Что ты плачешь, Петро?

— От радости плачу, милый ты мой студентик.

- 137 -

Он так и считал меня студентом. Петр поведал мне, что я лежу в стационаре уже неделю и вот впервые пришел в себя.

— Тебя ночью санитары притащили на носилках. Я сразу тебя узнал. И все эти дни я ухаживал за тобой, — рассказывал он. — Я подавал тебе пить, разжимал ложкой зубы и вливал несколько глотков горячего сладкого чая. Няни не обращали на тебя никакого внимания и, если бы не я, то ты, конечно, умер бы. Врач говорила, что у тебя двухстороннее воспаление легких. Все время температура у тебя была выше 40 градусов. Люди в больнице мрут как мухи, лекарств никаких, но ты, слава Богу, выжил. Тут у меня в тумбочке лежит твоя передача. Ее три дня назад принесла твоя сестра Стеша.

— Петр, милый ты мой, спаситель! Спасибо тебе за все, я никогда этого не забуду!

Когда Петр достал из тумбочки передачу, я заплакал от радости. Посылочку принесла моя милая и любимая старшая сестреночка Стеша, моя няня, которая вынянчила, вырастила меня. Как она нашла меня? Наверное, мое письмо все-таки дошло до моих родителей. Они сообщили мой адрес Стеше, которая жила в то время в городе Новосибирске. Некоторые читатели могут подумать — какая могла быть радость у человека, который находился на волосок от смерти? А я говорю, что могут быть радости и в такой ситуации. В самом деле: мой организм сумел перебороть тяжелейшую болезнь, я пришел в себя, дышал, радовался жизни. Когда я очухался, то встретил человека, с которым вместе коротал тюремные мрачные дни — это тоже радость! Главное же, что подняло мое настроение — это посылка от родного человека, который заботился обо мне, ждал и желал моего освобождения.

— А ты молодец, Данил, что остался живым, вот что значит молодость!

— Думаю, что спасла меня не только молодость, а защитила меня, скорее всего, молитва матери и ангел-хранитель.

Потом Петре рассказал мне, что он лежит в больнице около месяца. Работал он на строительстве многоэтажного дома. Во время дождя он поскользнулся, упал со строительных лесов и сломал правую руку. Рука у него была загипсована. Принесли обед. На второе блюдо подали по полной миске овсяной каши с маленьким кусочком отваренного свиного сала. Петре отдал мне свой кусочек сала и я их оба съел.

К вечеру у меня опять поднялась температура под сорок. На третий день я уже не мог подняться с постели. От невыносимой боли в желудке я стал опять терять сознание. В бреду мне мерещилось, что через меня протекала речка с очень горячей водой. Я явственно слышал, как журчала вода

- 138 -

в моем желудке. Наутро санитары перенесли меня в палату № 5. Потом я узнал, что из этой палаты живыми не возвращались. Когда я приходил в сознание, то кричал няне, чтобы тащила мне грелку. Настоящих резиновых грелок не хватало и няня приносила бутылку с горячей водой. И так продолжалось днем и ночью в течение нескольких месяцев. Лежал я на клеенчатой подстилке, которая все время была мокрой. У меня появились пролежни. Лежа на кровати, я не мог пошевелить ни рукой ни ногой, даже не мог приподнять голову. Когда я приходил в сознание, няня приподнимала мою голову и старалась ложечкой протолкнуть в рот какую-нибудь пищу или хотя бы напоить чаем. Я до сих пор не могу понять, чем питался мой организм?

— Ну и живуч ты, мальчик! — приветствовала меня в минуты прихода в сознание няня-старушка, которая постоянно возилась со мной. Она садилась около моей койки и вела неторопливый разговор. — Вот вечером уйду с дежурства — все койки заполнены больными, а придут утром — больше половины их закрыты белыми простынями, а под простынями трупы. Придут санитары, повытаскивают всех в морг, а на их место приносят новых. И так каждый день. За это время, пока ты лежишь здесь, наверное, повытаскивали человек двести, а может и больше, кто их считал? Умирают не только ночью, но и днем. Вчера во время обеда умер мужик, ты его видел: он уже был сактирован, за ним приехала жена из Колывани, хотела забрать его домой, но вместо живого мужа получила труп. Хорошо, что тело отдали, похоронят хоть по-человечески.

Няня имела 58 статью, срок 10 лет и пять поражения. Арестовали ее в 1937 году так: вызвали в с/совет по какому-то делу и домой она уже не вернулась. До ареста она работала в школе уборщицей, жила тоже в школе. Ей платили ставку сторожа и уборщицы. Мужа у нее не было, детей тоже. Была где-то родная сестра. «Письма-то мы друг другу не пишем — неграмотные мы. Эх... Не видеть мне волюшки», — говорила она, утирая слезы. Появившись утром на работе, она в первую очередь заглядывала в нашу пятую палату. Подходила ко мне, справлялась о самочувствии. При этом она всегда осеяла меня крестом и читала молитву «Живые помощи». Затем нянечка принималась обихаживать меня: меняла подстилку, обмывала ее, сушила. Когда мне приносили обед, она принималась кормить меня маленькой ложечкой. Есть мне не хотелось, тогда она уговаривала меня как ребенка: «Ну, еще ложечку, потом еще одну, больше

не будем. Ты, сынок, старайся есть хоть через силу». Я порой обижался на нее, что она насильно заставляет меня есть. Другие няни, молоденькие бабенычки, толкнут одну ложку в рот и стараются убежать от меня — нужен я им, у них и без меня работы по горло. Еще одна проблема:

- 139 -

моя милая сестрица Стеша продолжала присылать мне посылки, отрывая последнее от себя и детей, но до меня они не доходили. Сестра-хозяйка клала ее в тумбочку, а ночью посылочку кто-то воровал. Похоже, ночные няни харчевались за счет моей сестры.

Продолжалось это довольно долго. Выручила меня врач по фамилии Шустер. Она была вольнонаемным врачом и проводила обход больных один раз в неделю. В остальные дни обход делали врачи-заключенные. Присев на табуретку около моей койки, и взяв мою руку, она прощупала пульс и проговорила:

— Ну как чувствует себя молодой человек?

— Да вот, как видите, гражданин врач, улучшение моего здоровья я пока не чувствую, — отвечал я.

— Как аппетит?

— Да я вообще ничего кушать не могу, гражданин доктор.

— А кушать-то надо, молодой человек!

— Да я знаю, что надо бы, да не могу — сильные боли в желудке, да и голова сильно кружится, часто теряю сознание. В это время мне чудится, что через меня протекает речка с горячей водой и эта вода, как огнем, жжет у меня все внутренности. Наверное, мне не подняться, гражданин доктор, — стараясь улыбнуться, спрашивал я у доктора.

— Ну что вы, молодой человек, почему такие печальные мысли? Подниметесь! Болезнь отступит и вы выйдете на свободу, срок-то большой?

— Десять, — отвечал я, — но я уже три года отбыл.

— На свободе кто-нибудь ждет тебя?

— Конечно ждут. У меня есть мать, отец и четыре сестры.

— О! Да ты богатый человек! Не горюй, скоро встретишься с родными. Так что выздоравливай, голубчик. Я тебя уже сактировала, месяца через полтора-два пойдешь на свободу. Я смотрю, на вашей тумбочке лежат продукты, это откуда?

— Это посылка от моей старшей сестры, она живет здесь, в Новосибирске.

— Это хорошо, что тебя поддерживает сестра, а ты передачу сам съедаешь?

— Гражданин доктор, я уже вам сказал, что я совсем не могу кушать.

— А куда же ты передачу деваешь?

— Да я не знаю. С вечера няня кладет ее в мою тумбочку, а утром она исчезает.

— Ладно, я посмотрю, что же принесла тебе твоя сестрица.

Доктор развернула мою передачу: в пакете оказались три куриных яйца, четыре крупных яблока и булка белого хлеба.

— О! Да тебе сестрица принесла, можно сказать, царскую передачу! А ну-ка, няня, возьми одно яблоко, помой его

- 140 -

хорошенько кипяченой водой, отрежь четвертинку и дай больному, а остальное положи на стол.

Через пять минут я с аппетитом жевал яблоко.

— Вот так, молодец, а остальное я заберу, положу в свой сейф и буду выдавать тебе каждый день понемногу. Няня, отнеси хлеб на кухню, разрежь булку на мелкие кусочки, прикажи поварам, чтобы они его высушили, а сухари тоже принесешь в мой кабинет. Доктор еще долго находилась в палате, подходила к больным, справлялась о самочувствии. Со всеми она была доброжелательна, улыбалась, находила ободряющие слова. Поистине это была святая женщина, красавица, по национальности — еврейка. Есть же такие добрые люди на земле! На следующий день я вновь увидел доброго доктора. На этот раз она подошла сразу к моей койке. Она подала мне яблоко и стакан, в котором было граммов 20 вина «Мадера», которое она принесла из дома специально для меня. Так каждый день, утром и в обед она навещала меня и каждый раз приносила вино и яблоко. И — чудо! У меня появился аппетит, уменьшились боли в желудке. Моя спасительница очень радовалась началу моего выздоровления.

Я пошел на поправку, больничный паек для меня был уже недостаточен. Теперь в ход пошли те сухари, которые хранила для меня доктор. Через пару недель я мог уже самостоятельно сидеть на койке, двигать руками и ногами. Потом доктор порекомендовала мне ходить между коек, держась за подголовники. Сначала ничего не получалось, но потом дело пошло. Скоро я самостоятельно, держась за стенки, уже выходил в коридор больничного корпуса. Молодой истощенный организм требовал питания, а питания-то и не было. На тогдашнем пайке не скоро поправишься. Но как бы то ни было, а через месяц меня уже выписали в барак выздоравливающих. В том бараке, однако, держали не больных, а блатных, а таких, как я, быстренько отправляли на общие работы.

Опять «родной» авиационный завод. На этот раз я попал в бригаду, которая работала на растворобетонном узле. Работа была как раз по мне: с моим здоровьем — только бетон мешать. Январь 1942 года был очень суровым, а я по-прежнему обут в веревочные лапти. Бывало, забежишь в обогревалку, снег на лаптях растаял — они мокрые, выйдешь на улицу, а лапти через две минуты застывают, нога покрывается ледяным панцирем, на подошву налипают снег, ты идешь, словно на коньках.

В первый же день я кое-как домучился до конца работы, но обратно в лагерь бригадники по очереди тащили меня на руках. Очутившись в зоне, я кое-как дополз до санчасти. Там смерили температуру, а она оказалась нормальной и в моей больничной карточке появилась запись «Состояние

- 141 -

здоровья нормальное, завтра на работу». Когда я вернулся в барак, бригадир позвал меня в свой куток:

— Откуда ты взялся такой доходной? В бригаде своих доходяг хоть отбавляй, а тут ты еще прибыл. Ты что думаешь, что тебя бригада будет таскать каждый день с работы?

— Ничего я не думаю. За меня сейчас думает начальник.

— Я тебя предупреждаю! Чтобы завтра на работу в мою бригаду не выходил! Иначе убью! Ты понял меня?

Назавтра на развод я не пошел, залез на чердак барака и спрятался за печную трубу. Когда кончался развод, начиналась поверка: все бараки оцеплялись пожарниками, движение по зоне прекращалось. Ответственный надзиратель со своими помощниками влетали в барак, всех оставшихся сгоняли в одну кучу, по списку пересчитывали всех освобожденных от работы. Если счет не сходился хотя бы на одного человека, то староста барака с пожарником обязан был его найти. Нашли и меня в моей «засаде» на чердаке. Пожарник сначала для порядка побуцкал меня как следует. Хорошо еще, что слетев оттуда, я попал в сугроб. После проверки погнали меня на пинках в лагерный штаб к начальнику лагеря. Дело было серьезное: по закону военного времени отказникам враз оформляли уголовные дела по статье 58 пункт 14 — контрреволюционный саботаж — и нередко расстреливали. А уж про меня-то и говорить нечего — я осужден по расстрельным пунктам и, хотя Советская власть оказала мне милость, не расстреляв меня, а засадив на 10 лет в лагерь, я и здесь проявил свою контрреволюционную сущность — не вышел на работу. Однако начальник лагеря не стал долго разбираться с нами, а приказал гнать нас на кладбище копать братскую могилу. Дело было срочное: в лагере в ту пору в сутки умирало человек 20-25. Их нужно было хоронить. Получив приказ, мы — восемь гавриков-отказчиков и три конвоира-старика с винтовками — отправились на кладбище. Идем себе, не торопимся. Мороз жмет под тридцать, да с ветерком. По дороге нам встретились три подводы. Поравнявшись с ними, мы увидели, что они загружены какими-то ящиками, которые охраняли старики, вооруженные березовыми палками. На последнюю подводу мы, не сговариваясь, и сделали налет. Все восемь человек кинулись к повозке и стащили ящики на землю. В них оказался жмых. Возница упал на спину, пытаюсь отбиться от нас дубинкой. Ударов мы не ощущали, быстро расхватывая куски покрупнее. Стрелки наши для порядка начали стрелять в воздух. Голодные, они сами были не прочь полакомиться жмычком, но грабить подводу им, видимо, было неудобно.

Дальнейший путь наш прошел без приключений. Часа в два дня мы добрались до кладбища, подошли к сторожке,

- 142 -

постучали в ворота. Появилась старушка с «клюкой», похожая на сказочную Бабу Ягу, строгая-престрогая, прошамкала:

— Что вам нужно?

— Инструмент. Видишь, работяги пришли?

— Вижу, — прохрипела старуха. — Нет инструмента, свой надо иметь!

Но потом смилостивилась и выбросила нам две ржавые лопаты и кайло с отломанным черенком.

Один из конвоиров полез по снегу на могилы, стал ломать кресты на дрова. Затем наши конвоиры разожгли костер. Кресты были сухими, а некоторые были крашены — костер получился на славу.

— Ну а вы что стоите, разжигайте костер, а то замерзнете!

— Да у нас нет спичек, — ответили мы.

Тогда один из конвоиров кинул нам коробок спичек и через полчаса у нас тоже запылал костер. Устроившись около костра мы начали грызть жмых, но он был таким крепким, что наши зубы не в силах были справиться с ним. Тогда мы придумали совать его в снег, а затем держать над огнем. Жмых становился мягче и уже легче поддавался зубам. Красота-то какая! Кругом лес, жарко горит костер, есть пища, вот только нет курева, мы решили стрельнуть его у конвоя. Конвоиры бросили нам полосьмушки махорки и бумаги. А мы взамен курева отдали им большущий кусок жмыха — бартер. Вот теперь совсем хорошо: и едим и курим, и сидим у костра. И солдаты тоже не скучали: ели, курили, грелись у огня. Вот так вот мы и кайфовали до пяти часов, а потом двинулись в обратный путь «домой». На вахте нас прошмонали, оставшийся жмых, конечно, отобрали и отправили прямехонько в шизо.

Теперь расскажу о лагерных «пожарниках». Администрация лагеря специально организовала бригаду мордovorотов, отпетых головорезов, физически сильных молодчиков. Они жили в отдельной секции в бараке и именовались «пожарниками». За семь лет, проведенных мною в этом лагере, я ни разу не видел, чтобы кто-то из них когда-либо тушил пожар. Они выполняли другую роль. Эти головорезы были ударной силой администрации, своеобразной лагерной милицией или, можно сказать, чоновцами. Бригада пожарников состояла из звеньев по пять человек, во главе каждого — командир. За каждым звеном закреплялся отдельный барак. Их деятельность начиналась с шести часов утра, с подъема. Как только звон рельсы извещал о том, что ночь кончилась, наши штурмовики, как стая бешеных псов, врываются в бараки — помещение наполнялось ревом, гамом, матерщиной.

— Что чухаетесь, контра, аль не слышите подъема, суки? Или хотите, чтобы мы вас подняли?

- 143 -

А народ и без них давно уже на ногах. Подъем прошел. Удар о рельсу звал на развод. Вот тогда наступал «звездный час» для пожарников. Они, влетая в барак и размахивая березовыми дубинками, гнали людей на выход. Дверь, естественно, была узкая и не могла пропустить сразу огромный людской поток, получалась пробка. Тогда бойцы принимались бить дубинками задних, а те давили на передних. В этой суетлоке кто-нибудь из бедолаг падал, толпа пробегала по ним, не обращая на падение никакого внимания. Наконец пробка рассасывалась: способные двигаться выскакивали на улицу, а потерпевшие лежали на полу.

— Ах, вы быдла, притворяться! — набрасывались на них псы-пожарники и пинками выкидывали

людей на улицу. Там, кому удавалось встать на ноги, крепко попадало дубинками по бокам. Они старались убежать, да разве убежишь? Псам надо вдоволь поиздеваться над людьми. Потом они целый день скалили зубы, вспоминая, как неуклюже пытались их жертвы увернуться от дубинки. В другой раз кто-то не успевал надеть на ноги «ЧТЗ», или у кого-то спадал с ноги веревочный лапоть, или кто-то на секунду задерживался, не успевал выскочить на улицу, тогда избивание велось капитально, провинившегося на пинках несли до вахты.

Согнав всю зону в отстойник около вахты, пожарники, оцепляли его и зорко следили, чтобы никто не улизнул от развода. Развод окончен, в зоне начиналась поверка. Летом людей выгоняли на площадь и там по списку пропускали всех освобожденных больных, хозобслужу лагеря, инженерно-технических работников. Дело сделано: надзиратели шли в надзорку отдыхать и подбивать итоги утренней работы. А героические «штурмовики-пожарники» с котелками устремлялись на кухню к раздаточным окнам. Повара старались оставить им погуще да побольше. Такое указание они имели от высшего начальства, озабоченного тем, чтобы зондеркоманда всегда была в надлежащем порядке. А иначе нельзя — ведь они выполняли ответственную и очень нужную работу. Они облегчали тяжелый труд надзирателей, наводили строгий порядок в жилой зоне.

За пожарниками следом двигались к кухонным окнам ИТР, то есть инженерно-технические работники, а по лагерной фене просто придурки. Для них было отдельное раздаточное окно и варили им тоже отдельно. Конечно, за счет пайка работяг. Потом шли на кухню все остальные: бухгалтерия, дневальные и старосты барачков, вахтеры, КВ Ч, спецчасть, УРЧ и т.д. Последними шли работники нарядчика. Сам нарядчик с котелком на кухню не ходил, ему приносили «на дом». Нарядчик в лагере — это бог и царь земной, от него зависело многое и многие: любого неугодного ему придурка он мог в любое время послать на общие работы, любую бригаду он мог снабдить лучшими работами. Но все

- 144 -

это делалось не за так, а нарядчику надо было дать «в лапу». Если бригадир не хотел этого делать или не понимал лагерной жизни, то ему не видать было хорошей бригады, а сам бригадир в скором времени попадал в какую-нибудь самую захудалую бригаду в качестве рядового.

Банда штурмовиков-пожарников ревностно исполняла свою службу, жестоко избивая всех, кто попадался им под руку: малолеток, женщин, старух и стариков. Единственной силой в лагере, которая оказывала им сопротивление, был клан профессиональных воров-рецидивистов. Для воров пожарник был хуже и опаснее, чем рядовой милиционер на свободе. Между ними постоянно происходили стычки, которые нередко оканчивались кровавыми побоищами. В этих стычках почти всегда побеждали воры. Последние были вооружены не хуже, а даже лучше, чем пожарники. А по своей сплоченности и взаимовыручке воры на голову были выше своих противников. У воров был закон — не оставлять в беде своего товарища, делить с ним последний кусок хлеба. Принцип этот выполнялся неукоснительно, нарушившего его ждала суровая расправа. У пожарников же был иной закон

— ты умри сегодня, а я лучше поживу до завтра. Пожарники, а вернее сказать бандиты, имели свой лексикон или, выражаясь по-лагерному, свою «феню», например: штопорнуть, захомутать, поставить на попа, замарьяжить и т.д. Они имели даже свои песни, соответствующие их

идеологии, например:

А там, на повороте,

Гоп, стоп, не вертхайся,

Вышли три удалых молодца,

Купцов заштопорили,

Червончики помыли,

А их похоронили навсегда.

Настоящий вор такую песню петь никогда не будет. Многие литераторы, даже известные среди них, ошибочно толкуют о том, что бандиты и воры являются одной шайкой-лейкой. Так рассуждать может только тот, кто не знает тонкостей жизни преступного мира. Можно отсидеть десять и более лет в лагере, но так и не узнать весь механизм лагерной жизни. Поэт Николай Заболоцкий вот что по этому поводу сказал: «Воры-профессионалы — народ особый, представляющий собой общественную категорию, сложившуюся на протяжении многих лет, выработавшую свои особые нормы жизни, свою особую мораль и даже особую эстетику и этику. Эти люди живут по собственным законам, и закон их является крепче, чем законы любого государства. Я держусь того мнения, что значительная часть уголовников — действительно незаурядный народ. Это действительно

- 145 -

чем-то выдающиеся люди, способности которых по тем или иным причинам развились по преступному пути, враждебным нормам человеческого общежития».

Я добавлю к этому — профессиональный вор должен был только украсть, но ни, в коем случае не грабить, тем более убивать. Если вор замешан в грабеже, то он уже не будет иметь авторитета в воровском сообществе. Если он убил с целью грабежа, то отлучался от воровского сообщества. Профессиональный вор не имел права трудиться на любом производстве. Если он пошел работать — значит, он уже не вор. Но, если вор был замешан в какой-то сделке с оперуполномоченным, милиционером, надзором, то он подлежал немедленному физическому уничтожению. Такое решение сродняку обжалованию не подлежало. Я говорю о воровском обществе 30-40-х — начала 50-х годов. Во второй половине пятидесятых воровские законы начали терять былую строгость. Постепенно появилось третье сословие преступного мира — смесь различных ветвей расколовшегося преступного сообщества. Уголовный мир в лагере — это особая обширная тема. Я же вернусь к своему рассказу.

На пятый день моего пребывания в шизо я снова заболел. Сильно ослабленный организм уже не мог бороться с любой инфекцией, поэтому я снова очутился на больничной койке. Снова высокая температура и понос. Через несколько дней меня вызвала в свой кабинет Шустер и предложила мне по дружбе блатную работу.

— Будете работать при стационаре в качестве лекпома. В ваши обязанности входит: утром и вечером измерять температуру больных и записывать показания в карточку больного, помогать разносить лекарства больным два раза в день. Вот такая работа. Вы, больной, согласны?

— Конечно, согласен, гражданин доктор, — с благодарностью ответил я. Вот так, неожиданно-негаданно, я оказался медицинским работником больницы.

Однако долго на теплом месте я не задержался. Сначала все шло хорошо. Легкая и чистая работа, приличное питание способствовали моему выздоровлению. Через месяц я уже был готов к любой работе: копать траншеи, таскать тачку, разгружать вагоны и т.п. Ждать своего часа долго мне не пришлось. Случилось следующее. Однажды я зашел в женскую палату, намереваясь измерить температуру у больных. Одна молодая и красивая бабенка пальчиком подозвала меня к себе. Я присел на краешек ее койки, она стала нашептывать мне такое предложение: «Слушай, мальчик. Ты отмечаешь в моей карточке повышенную температуру, а я буду тебе оплачивать своим телом. Хорошо? Сегодня ночью приходи в нашу палату». При этом она прикрыла меня своим одеялом и, не стесняясь, запустила руку мне в ширинку, схватила за мошонку и начала легонько массировать. Я зло оттолкнул ее

- 146 -

руку, схватил термометр и записал ее температуру 36,3. А вечером это показание внес в ее карточку. На второй день дежурный врач, заключенный по фамилии Самедов, вызвал меня в свой кабинет и устроил мне страшный разнос. «Сукин ты сын! — кричал он на меня. — Тебя, как добросовестного человека, устраивают на такую ответственную работу, а ты что творишь, гаденыш? Ты честной больной девушке поставил в карточку нормальную температуру, при этом даже ее не смерив. Да тебя мало сгноить за такую подлость! Я бы еще мог не поверить девчонке, но вся палата подтвердила, что температуру у нее ты не мерил. Сию же минуту забирай свои шмутки и убирайся вон с моих глаз, я тебя выписываю из больницы». Я хотел что-то сказать в свое оправдание, но он уже схватил резиновый шланг и пытался ударить меня. Я выскочил в коридор. Я знал, что этот врач был очень жестоким человеком — за малейшую провинность он часто бил больных и обслугу больницы. Поговаривали, что он сотрудничал с МГБ и погубил немало людей. Вот так бесславно закончилась моя трудовая деятельность на поприще медработника.

чем-то выдающиеся люди, способности которых по тем или иным причинам развились по преступному пути, враждебному разумным нормам человеческого общежития».

Я добавлю к этому — профессиональный вор должен был только украсть, но ни, в коем случае не грабить, тем более убивать. Если вор замешан в грабеже, то он уже не будет иметь авторитета в воровском сообществе. Если он убил с целью грабежа, то отлучался от воровского сообщества. Профессиональный вор не имел права трудиться на любом производстве. Если он пошел работать — значит, он уже не вор. Но, если вор был замешан в какой-то сделке с оперуполномоченным, милиционером, надзором, то он подлежал немедленному физическому уничтожению. Такое решение сродняку обжалованию не подлежало. Я говорю о воровском обществе 30-40-х — начала 50-х годов. Во второй половине пятидесятых воровские законы начали терять былую строгость. Постепенно появилось третье сословие преступного мира — смесь различных ветвей расколовшегося преступного сообщества. Уголовный мир в лагере — это особая обширная тема. Я же вернусь к своему рассказу.

На пятый день моего пребывания в шизо я снова заболел. Сильно ослабленный организм уже не мог бороться с любой инфекцией, поэтому я снова очутился на больничной койке. Снова высокая температура и понос. Через несколько дней меня вызвала в свой кабинет Шустер и предложила мне по дружбе блатную работу.

— Будете работать при стационаре в качестве лекпома. В ваши обязанности входит: утром и вечером измерять температуру больных и записывать показания в карточку больного, помогать разносить лекарства больным два раза в день. Вот такая работа. Вы, больной, согласны?

— Конечно, согласен, гражданин доктор, — с благодарностью ответил я. Вот так, нежданно-негаданно, я оказался медицинским работником больницы.

Однако долго на теплом месте я не задержался. Сначала все шло хорошо. Легкая и чистая работа, приличное питание способствовали моему выздоровлению. Через месяц я уже был готов к любой работе: копать траншеи, таскать тачку, разгружать вагоны и т.п. Ждать своего часа долго мне не пришлось. Случилось следующее. Однажды я зашел в женскую палату, намереваясь измерить температуру у больных. Одна молодая и красивая бабенка пальчиком

подозвала меня к себе. Я присел на краешек ее койки, она стала нашептывать мне такое предложение: «Слушай, мальчик. Ты отмечаешь в моей карточке повышенную температуру, а я буду тебе оплачивать своим телом. Хорошо? Сегодня ночью приходи в нашу палату». При этом она прикрыла меня своим одеялом и, не стесняясь, запустила руку мне в ширинку, схватила за мошонку и начала легонько массировать. Я зло оттолкнул ее

- 146 -

руку, схватил термометр и записал ее температуру 36,3. А вечером это показание внес в ее карточку. На второй день дежурный врач, заключенный по фамилии Самедов, вызвал меня в свой кабинет и устроил мне страшный разнос. «Сукин ты сын! — кричал он на меня. — Тебя, как добросовестного человека, устраивают на такую ответственную работу, а ты что творишь, гаденыш? Ты честной больной девушке поставил в карточку нормальную температуру, при этом даже ее не смерив. Да тебя мало сгноить за такую подлость! Я бы еще мог не поверить девчонке, но вся палата подтвердила, что температуру у нее ты не мерил. Сию же минуту забирай свои шмутки и убирайся вон с моих глаз, я тебя выписываю из больницы». Я хотел что-то сказать в свое оправдание, но он уже схватил резиновый шланг и попытался ударить меня. Я выскочил в коридор. Я знал, что этот врач был очень жестоким человеком — за малейшую провинность он часто бил больных и обслугу больницы. Поговаривали, что он сотрудничал с МГБ и погубил немало людей. Вот так бесславно закончилась моя трудовая деятельность на поприще медработника.

- 147 -

ПОБЕГ

Трудно сосчитать, сколько объектов я открыл за 17 лет моей каторжной жизни. Сейчас рассказ об объекте № 406. После больницы я попал в бригаду землекопов Жуликова Михаила, бывшего инженера-строителя из города Кемерово. Несмотря на молодой возраст (ему было не более 30 лет) и малый срок пребывания в лагере, он быстро понял законы лагерной жизни. Дураку ясно, что честным трудом те высокие нормы выработки, по которым работали заключенные, выполнить невозможно. Невыполнение нормы влекло за собой снижение нормы питания, а это убыстряло процесс доходиловки. Вывод — надо как-то выкручиваться. Один из путей — завести блат с вольнонаемным мастером, который закрывал наряды. И наш бригадир решил эту проблему, договорился с вольнонаемным инженером-мастером о том, что тот закрывал наши наряды по завышенным расценкам, бригада получала больше денег на руки, а потом полученные деньги возвращались мастеру. Такого рода «действие» тогда широко практиковалась во всех лагерях страны.

Наш новый объект имел оборонное значение, поэтому военное ведомство в качестве поощрения за выполнение дневных заданий не ниже чем на 125 %, выдавало на каждого бригадника по 250 граммов хлеба дополнительно к лагерной пайке. При этом ставилось одно условие — наряды должны закрываться ежедневно. Попробуй, закрой наряд ежедневно на 125 % на бригаду в 30 человек. На земле «туфты» много не напишешь. Выкинул кубометр земли — вот он, весь на глазах. Пришел мастер, замерил, сработано на 70 % в лучшем случае, а то и того меньше. Значит, завтра не получишь дополнительного пайка. Если бы наряды закрывались не каждый день, а за месяц, то тогда легче было что-то приписать, подтуфтить. Например: на пятом метре глубины пошел плавун, попробуй замерь, сколько его наплыло. Вот тут и пиши, родная,

сколько пожелаешь. Но вот загвоздка: каждый день грунт не плывет, тем более, если ты сегодня начал копать траншею, а пливун-то начинается на глубине. Как тут быть и что делать? И выход нашелся! Я вспомнил про свой «талант» подделывать любую подпись. Еще учась в школе, я ловко подделывал подписи директора школы, других учителей, да так искусно это делал, что невозможно было отличить: где оригинал, а где подделка. Чем заковыристее была подпись, тем лучше у меня получалась ее подделка. Мое искусство пригодилось. Мастер, например, писал наряд: на сегодняшний день выполнение на 60 %. Я пишу другой — на 125 %. Он шел в производство, а тот, первый, мы уничтожали. И наша бригада стала получать ежедневный дополнительный паек. Все были довольны, а ко мне стали

- 148 -

относиться с уважением. Бригадир нашего также уважали на производстве, а лагерное начальство хвалило его.

В июле 1942 г. я попал на этап. Прошагав по улицам города Новосибирска, после нескольких часов изнурительной ходьбы под палящими лучами солнца, мы прибыли на берег реки Обь. За полчаса этап погрузили в трюм парохода под названием «Северный». Я с детства знал этот небольшой грузо-пассажирский пароходик, но в те времена он назывался «Мельник». Тогда он плавал по моей родной реке Чулым. При виде его я обрадовался как при встрече старого знакомого. Трюм был забит людьми до отказа. Мы расположились прямо на стальном полу вповалку. Внизу находилось машинное отделение, поэтому стальной пол был горячий — долго лежать на одном боку было невозможно, и приходилось часто переворачиваться с одного бока на другой. Жара непереносимая, дышать нечем, а трюм закрыт. Так что: терпи, коза, имама родишь...

На второй день рано утром пароход прибыл к месту назначения. Выходя из трюма на свежий воздух, многие падали в обморок, надолго теряли сознание. Но, Слава Богу, все отдышались, оклемались, остались живы. Построили нас прямо на берегу реки, посчитали, оказалось 800 человек. Пройдя с полкилометра, мы очутились в зоне, огороженной свежими досками. Перед нами предстало огромное деревянное здание буквой «Г». Над высоким крыльцом висела табличка «Клуб судоверфи поселка Батурина». Выходит, нас привезли на мою родную реку Чулым! На берегах этой реки я родился и вырос, провел свое детство и отрочество. А в поселке Батурина в начале тридцатых годов некоторое время жила моя родная сестра Аниса и мамаина сестра, моя тетка.

На следующий день две бригады были направлены на выгрузку парохода, другие стали обустраивать жилье и территорию. Основную массу прибывшего контингента составляли уголовники. Только одна бригада состояла из врагов народа, в основном это были немцы Поволжья, и бригадиром был избран тоже немец по фамилии Нейфельд. Все уголовники пошли работать плотниками, а бригаду «врагов народа», или фашистов, как нас тогда называли, поставили на самую низко оплачиваемую работу — на подхват. Мы штабелевали доски на сухой фонд, сколачивали туалет, разные сарайчики под инструмент и т.д. Работы всем хватало. Надо сказать кое-что о составе бригады. Начнем с бригадира Нейфельда. Это был пожилой, спокойный и грамотный человек. До ареста он работал преподавателем в каком-то институте в столице немецкой республики Поволжья городе Энгельсе. Был в бригаде молодой парень, еврей по национальности, звали его Эмма — сокращенное от Эммануил. В раннем детстве он осиротел, воспитывался в детдомах, а потом, когда подрос, то сбежал и долго бродяжничал.

Порой

- 149 -

ему приходилось просить милостыню, зимой он спал в теплотрассах, на чердаках, прижимаясь к печной трубе, чтобы немного согреть душу. Впоследствии Эмма попал к «хорошим» ребятам, которые сначала его приголубили, а потом научили обшаривать чужие карманы, что, естественно, кончилось тюрьмой. Уже во время войны он бежал из Кривошековских лагерей, но его быстренько изловили, судили по 58 статье пункт 14 — контрреволюционный саботаж и приговорили к 8 годам ИТЛ и пять поражения. Остальные тридцать человек — немцы да один финн.

От нашей зоны до судоверфи расстояние было километра 2. Вместе с нами там работали люди, стоящие на учете в спецкомендатуре. Все они были стариками, которые не годились на фронт. Вот под их руководством мы и работали. Вместе с нами трудились и вольнонаемные женщины, которые производили самую ответственную операцию — конопатили швы барж.

С первых дней жизни на новом месте в моей голове зародилась мысль — бежать. Кругом были родные места. Желание очутиться вновь на свободе было непреодолимым. Однажды на эту тему я заговорил со своим дружкой Иваном, а он только этого и ждал. И мы вдвоем стали обдумывать план побега. Было решено тщательно изучить систему охраны. Территория судоверфи не была огорожена: стрелки, устроившись поудобнее, сидели на расстоянии видимости по всему периметру воображаемой запретной зоны, которая даже красными флажками не была обозначена. Прячась за штабелями леса, мы тщательно изучили рельеф воображаемой охранной линии и не обнаружили там ни одного окна, через которое можно было незамеченными пройти охранный кордон. Пока мы рассуждали да искали окно, один из заключенных сбежал. Через три дня беглец вернулся в зону, а что его заставило вернуться обратно, нам выяснить не удалось. Его как следует побили за побег. Дело на том и кончилось. А мы долго ругали себя за то, что не могли додуматься до такого простого решения. А вариант был прост до смешного. На территории судоверфи находилась столовая для вольнонаемных людей, они без всякой проверки ходили туда каждый день. Тот парень втерся в проходящую толпу и без помех вышел на свободу. После этого случая всех выходящих с объекта стал проверять сам начальник конвоя. А если попробовать на рывок! Один шанс из ста, что останемся живы. Что же делать? А время неумолимо бежало. На дворе был уже август. Близился конец срока командировки. Возвращаться обратно в лагерь не хотелось. Выход был найден.

Совсем случайно я обнаружил небольшой лаз под крыльцо клуба, в котором мы жили. Отверстие было достаточным, чтобы в него мог пролезть человек. Я тотчас обдумал план

- 150 -

побега: в ночное время по очереди забираясь под крыльцо, мы проламываем дыру в стене. Затем делаем подкоп под полом клуба, минуем пристройку, в которой жила охрана и выбираемся на свободу.

План побега был принят. Неожиданно к нам присоединился третий человек — Эмма. Сначала мы заготовили инструмент, потом составили график работы. Как только народ засыпал, мы вдвоем незаметно выходили на улицу, один из нас быстро залезал под крыльцо и начинал работать, а второй садился между стеной и крыльцом, подавая условленным знаком сигнал в

случае опасности. Работали две недели — каждую ночь посменно. Наконец лаз в подпол был готов. И вот мы оказались под полом помещения, где жила вохра. Теперь оставалось запастись продуктами, дожидаться подходящей погоды и — в путь!

Дождика и грома долго ждать не пришлось. Через три дня он загремел и полил. Весь июль дождя не было, погода стояла ясная, жаркая и вот небо прорвало. Под покровом ночи мы проникли в хлеборезку, прихватили там две булки хлеба, лапши килограмма три. Затем через лаз мы осторожно пробрались под полом вохры, копнули несколько раз и — на свободе!

Первое время мы ползли на животе метров двести, пока не очутились в каком-то огороде. Тут нас обнаружили деревенские собаки, которые подняли сумасшедший лай. Мы бросились бежать по огороду, собаки — с лаем за нами. Наконец мы выбрались из огородов и ввалились в тайгу. Кромешная тьма. Собаки, наконец, отстали. Мы остановились, прислушались — нет ли погони. Кругом стояла могильная тишина, только шелестела под дождем листва, да вдалеке слышны были раскаты грома. Отдышавшись немного, мы отправились дальше. По нашему плану мы должны были добраться до реки Чулым и идти вверх по течению, держа курс на станцию Асино. Там мы решили разойтись, а дальше действовать по обстановке. Я намеревался добраться до своей деревни. Иван Лисиенко и Эмма — люди городские, поэтому они стремились попасть в город: там легче затеряться среди городской жизни. Эмма надеялся в городе встретить своих друзей, через них достать какие-нибудь документы себе и Ивану, а потом пробираться ближе к прифронтовой полосе.

Все это мы обсудили еще в зоне. Там, на нарах, все получалось прекрасно, а очутившись в тайге, мы никак не могли определить, в какой стороне Чулым. Наугад пробираясь по лесу, мы старались уйти подальше от Батурине до наступления рассвета. Незаметно наступило утро, первое утро нашей долгожданной свободы! Теперь можно было остановиться, передохнуть, прийти в себя. Мы выбрали огромную пихту и расположились под ее огромной кроной.

- 151 -

Под ней было совершенно сухо. «Ну что, ребята, может споем: бежали бродяги с судоверфи, глухой сибирской тайгой». Однако было не до шуток: мы безнадежно заблудились. В добавление к этому — курево, спички, продукты во время бегства мы потеряли.

Два дня, голодные, мы блуждали по тайге. На третий день, под вечер, мы вышли на большую поляну, покрытую густым малинником. Вот это был пир! Ни до, ни после я не встречал такой крупной и сладкой ягоды. Насытившись, мы решили заночевать на этом благодатном месте. Разворошив гнилое дерево, уставшие и измученные, мы улеглись на гнилушки и быстро заснули. Долго спать, однако, не пришлось. Я проснулся от какого-то шума, тотчас разбудил своих друзей. В кустах малины кто-то шевелился — слышен был хруст сучьев и громкое чавканье. Мы поняли, что по соседству обосновался хозяин тайги медведь, встреча с которым не предвещала ничего хорошего.

Отбежав от поляны на порядочное расстояние, мы остановились и прислушались. Кругом стояла зловещая тишина, только шумели на ветру острые верхушки деревьев. Убедившись, что погони нет, мы успокоились. Рассвело, и я заметил, что мы шагали по другому лесу: пихты и ельник исчезли, появились невысокие сосны вперемешку с березами, вода под ногами уже не хлюпала. Это означало, что мы, наконец, выбрались из тайги. Я не ошибся — метров через триста мы вышли на большую поляну, на которой виднелось какое-то строение. Переждав в кустах и не

обнаружив каких-либо признаков опасности, мы решили подойти к той избушке. Приблизившись к окну и заглянув во внутрь, мы увидели страшную картину: посреди комнаты лежал человек, на его груди сидел кот и грыз ему подбородок. Увидев нас, кот куда-то исчез. За свою еще совсем короткую жизнь я много видел крови и смертей, но эта страшная картина произвела на меня ужасное впечатление. Отогнув гвозди, я вынул оконную раму. В нос ударила волна трупного запаха. Проветрив помещение, я влез в избушку. На полу лежал пожилой человек, обутый в сибирские бредни. На нем был одет поношенный пиджак темно-синего цвета, с зелеными петлицами. Лесник — поняли мы. На столе стоял стакан с солью, лежал коробок спичек, да еще позеленевшие грибы в ржавом котелке — вот и все припасы. Умер с голоду — решили мы. Прихватив с собой спички и соль, мы постарались побыстрее покинуть жилье. По закону христианскому мертвеца надо было бы предать земле, но нам не до этого тогда было, да простят нам люди этот грех. Но мы договорились, что первому же попавшемуся нам человеку мы обязательно сообщим о погибшем. Закрыв окно, чтобы в избушку не проник зверь, мы пошли дальше.

- 152 -

Третий день нашей свободы выдался погожим. Ярко светило солнце. Мы вышли на поля, засеянные овсом. Полакомиться овсом нам не удалось — колос еще не созрел. Но вот поле ржи. Присев, мы с жадностью набросились на недозревшее еще зерно. Пожевав зерна — огляделись: ни одной человеческой души вокруг. Остаток дня мы проспали в ближайшемоколке, а вечером опять двинулись в путь.

Шли всю ночь, утром наше путешествие закончилось. В то утро мы набрали на небольшой хутор, дворов семь, не больше. Зашли в первую же развалюху. В избенке застали старушку, хлопотавшую около русской печи. Увидев неожиданных гостей, она сначала сильно испугалась. Мы поздоровались и первым делом постарались успокоить хозяйку, потом попросили чего-нибудь поесть. Старушка засуетилась: проворно достала из печки чугунок, вывалила в большую глиняную миску картошку в мундирах, налила полную миску простокваши, поставила все это на стол, добавив, что хлеба нет. Подкрепившись, мы спросили: нет ли у нее курева. Так же проворно она слезила на чердак и принесла нам листьев сухого табака. Покурив, мы весело поведали бабушке, что идем из Батурина в Асино, в военкомат, да заблудились в тайге и, слава Богу, набрали на хуторок. С заметным облегчением старушка проговорила: «А я, грешным делом, подумала: уж не те ли вы беглецы, о которых передавали по радио. Говорят, откуда-то сбежали заключенные, и тот, кто сообщит о них в сельсовет, тот получит хорошую премию: два пуда муки, мыло, соль, мануфактуру. В нашем сельсовете дежурят милиционеры». В этот момент резко открылась дверь, и мы услышали команду: «Руки вверх! Выходи по одному!» Подняв руки, обалдевшие, мы вышли на улицу и увидели там двух стариков да двух женщин в милицейской форме. В сторонке стоял мальчик лет 13-14. Стоял и смотрел на нас с торжествующей улыбкой — местный Павлик Морозов. Потом он долго снился мне со своей ехидной улыбкой.

Вот так закончилась наша свобода. Поздно вечером нас, связанных, повезли в лагерь. Из помещения вохры вывалила толпа свободных от дежурства солдат. Вооружившись, кто чем мог, они взяли нас в круг и началось избиение не на жизнь, а на смерть. Били, чем попало и куда попало. Орудием избиения служили толстые доски, топоры, а кто не успел вооружиться, тот пинал ногами, стараясь нанести удар в самое чувствительное место. Я потерял сознание и не

помню, сколько времени продолжалось избиение.

Очнулся я в каком-то амбаре. Лежу в луже крови, голова пробита в трех местах. Я пошевелил ногами — ноги вроде целы, пошевелил руками — тоже целы. В противоположном углу кто-то со стоном пошевелился. Я окликнул, отозвался Иван. «Где Эмма, — спросил я, — что-то его не слышно». Иван ответил, что Эмма мертв. Эмму похоронили в Батури-

- 153 -

не, но не на кладбище, а рядом. Вместо памятника в могилу воткнули кол с дощечкой, на которой написали номер его личного дела. А в личном деле появилась запись, что заключенный убит при попытке побега. При задержании оказал яростное сопротивление, грозящее жизни стрелка.

Прибыв в лагерь, мы с Иваном месяц провалялись в больнице, потом нас перевели в следственный изолятор, начались допросы.

— Каким образом вы совершили побег? — таким был первый вопрос лагерного оперуполномоченного.

— Ночью, во время грозы мы вышли из зоны через главные ворота, — ответил я.

— Ворота не были закрыты?

— Еще до отбоя я увидел, что ворота не закрыты. Такое частенько случалось и раньше, думаю, из-за халатности вохры.

— Куда вы собирались бежать?

— Мы думали добраться до Томска, там добыть какие-нибудь документы, которые позволили бы нам попасть на фронт — воевать против фашистов за нашу Родину.

— Далеко вы ушли от лагеря?

— Я не знаю. Чтобы добраться до Асино, нужно было идти в южном направлении, но три дня лил дождь, солнца не было видно, поэтому мы сразу потеряли ориентировку и не знали в каком направлении шли.

— Вы заранее готовились к побегу?

— Нет, не готовились.

— А откуда вы знали, что надо идти на юг, чтобы попасть в Асино?

— Я родился и вырос на Чулыме. Это моя родная река, поэтому я знаю эту местность.

— Кто из вас первым предложил план побега?

— Никто никакого плана не предлагал, потому что его не было.

— По вашим ответам можно предположить, что вы, не сговариваясь, подошли к воротам и одновременно вышли из зоны. Уточните: как вы вышли из зоны?

— Не надо ничего предполагать. Я первый увидел, что ворота не закрыты, поэтому именно я предложил своим товарищам бежать.

— Вот это другое дело; — проговорил оперуполномоченный. — Раз ты являешься инициатором побега, то тебе и отвечать за все.

— Я готов отвечать. Гражданин оперуполномоченный, разрешите задать вам вопрос?

— Задавайте, — сказал опер.

— А кто будет отвечать за то, что мы с Лисиенко Иваном месяц отвалились в стационаре, я до сих пор мочусь кровью, а нашего товарища вообще убили?

- 154 -

— Это определит суд, — рявкнул опер.

Долго еще крутили, вертели меня на допросах, но больше ничего от меня оперы на добились. Иван показал то же, что и я. Еще в больнице мы с ним обо всем договорились. Никто из бригадников не знал, каким образом мы выбрались из зоны. Наш подкоп так никто и не обнаружил. Поэтому наказание нам определял не суд, а лагерная администрация. Побоявшись, видимо, что откроется дело с убийством Уммы, приговор нам вынесли мягкий — шесть месяцев Бура.

После следствия, Бура мы вновь на общих работах. Иван попал в бригаду Михаила Жульева, а я — в бригаду Григорьева, который имел в лагере репутацию человека жестокого и бестолкового. Поговаривали, что он был тайным осведомителем МГБ. Слух подтверждался тем, что члены его бригады слишком часто попадали в следственный изолятор, откуда редко кто возвращался назад: большинство шло под расстрел, а если кто и возвращался, то обязательно с дополнительным сроком. Их сразу же отправляли в другие лагеря. Так вот они и говорили, что каждый раз главным свидетелем был наш бригадир Григорьев. До ареста он работал где-то в Чувашии секретарем обкома партии. На партийную работу он был, по его словам, выдвинут за «большие» заслуги перед Родиной. Вот они: во времена раскулачивания он был ярким активистом района. Под его руководством вверенный ему район быстрее всех провел раскулачивание и высылку крестьян в отдаленные районы страны. Расправившись с так называемыми «кулаками», он, Григорьев, быстрее других согнал оставшихся крестьян в колхозы, а кто не успел вовремя войти в них, то он тоже отправил в ссылку, уже как подкулачников. Много еще разных дел числилось в его партийном послужном списке. В те страшные времена большого ума не требовалось, чтобы быстро двигать вверх по служебной лестнице. Тогда требовались совсем другие качества: луженая глотка, отсутствие совести, наглость, кровожадность плюс красный билет в кармане. Всеми этими качествами Григорьев обладал в полном объеме. Думаю, что он достиг бы больших высот, если бы его вовремя не остановили доблестные органы НКВД. Оказавшись в лагере, Григорьев продолжал с прежним рвением исполнять первейший долг коммуниста-большевика — помогать НКВД уничтожать врагов.

Во время нашего пребывания в «командировке» в Батурине в нашем третьем чкаловском лагере была осуждена большая группа заключенных по обвинению в подготовке вооруженного восстания. В качестве руководителя восстания проходил некто Никольский, бывший учитель

сельской школы. Это был очень умный, грамотный, интеллигентный человек. Мне одно время довелось работать у него в бригаде. Чуть позже Никольский был переведен на должность старо-

- 155 -

сты барака. Тогда он многое сделал, добиваясь улучшения бытовых условий для заключенных. Во-первых, в бараках были застеклены окна. Во-вторых, он достал горючую серу, при помощи которой были уничтожены все клопы, блохи и другая кровососущая нечисть. В бараке тогда стало теплее и уютнее. И вот его вместе с другими судили и расстреляли. Очень жаль таких людей. Нам рассказывали, что главным свидетелем по этому делу опять был Григорьев. Вот к какому бригадиру я попал в бригаду.

Снова 406 объект. Объект огромный — строительство длинных кирпичных корпусов. На воротах объекта висела доска, на которой крупными буквами было обозначено: Новосибирский автомобильный завод. Но мы догадывались, что строили не автомобильный завод, а что-то другое. Уже на Колыме я узнал, что тот объект назван почтовым Ящиком. Этих почтовых в те годы понастроили сотни, а может даже тысячи. В почтовые ящики превращались не только отдельные объекты, но целые города, например, в Челябинской, Горьковской, Томской областях. Нас, заключенных, гоняли на этот объект около трех тысяч, вместе с нами там работали и вольнонаемные — мужчины, женщины, молоденькие девчонки и даже пацаны. Работы всем хватало. Когда построили несколько корпусов, на объект пригнали солдат-новобранцев — совсем молоденьких ребятешек, наверное, не меньше полка. Они там и жили, в тех корпусах. Солдаты днем работали вместе с нами, а ночью их обучали военному делу. Солдат мало-мало обучали и гнали на бойню, а вместо них подвозили новеньких. В 1942 году в лагерь стало поступать пополнение из фронтовиков-инвалидов. Попадали они к нам в основном по двум статьям: спекуляция и антисоветская агитация. Дело по тем временам простое: продавал махорку на базаре — 7 лет лагерей, спел в вагоне частушку антисоветского содержания — 10 лет и пять «по рогам», ничего что слепой.

В начале сорок третьего вышел указ, по которому, если заключенный вышел на работу обут, одет и накормлен по нормам, а на объекте отказался от работы, то по заявлению бригадира составлялся акт об отказе от работы, акт подписывали прораб, начальник конвоя и заключенного расстреливали прямо на объекте. Я чуть не попал под действие этого указа. История началась с того, что однажды ночью я подслушал разговор бригадира Григорьева со своим помощником. Из разговора я понял, что бригадир присваивал наш хлеб, отрезал от нескольких паек куски граммов по 200. Утром, когда началась раздача хлеба, я объявил всей бригаде, что от нескольких паек бригадир отрезал по 200 граммов и забрал себе. Вся бригада возмутилась, тут же произвели обыск в бригадном закутке, нашли ворованный хлеб, отняли и отдали тем, кому хлеб принадлежал. Бригадиру тогда

- 156 -

набили морду, а помощника предупредили, чтобы он не подходил к раздаче пищи. Бригадир затаил на меня зло и решил отомстить.

Дня через два я опять заболел: бил озноб, от боли раскалывалась голова. С трудом одевшись, я отправился в санчасть, но попасть на прием к врачу не успел. Прозвучал сигнал на развод, в санчасть ворвались пожарники и пинками погнали всех на улицу. А там началась обычная канитель: били, пересчитывали, опять били, потом погнали на работу. В группе опоздавших я

кое-как доплелся до объекта и сразу же пошел к лекпому. Тот смерил мне температуру, она оказалась очень высокой. Лекпом не выпустил меня из санчасти, а уложил на топчан. Бригадир тем временем, разыскивая меня по всему объекту, решил, что я где-то прячусь от него. Григорьев сообщил об этом прорабу, а тот велел написать акт об отказе от работы. Начальник конвоя принял акт и порешил всех отказников расстрелять. Бригадир уже ликовал, что так ловко отомстил мне, но в этот момент начальнику конвоя позвонил лекпом и доложил, что в санчасти лежит больной, т.е. я, с очень высокой температурой, его надо немедленно отправить в стационар лагеря.

— Фамилия больного? — спросил начальник конвоя.

— Алин Данил Егорович.

— Алин? Ты не путаешь?

— Да, да, гражданин начальник.

— Бригадир Григорьев, а ну-ка, иди сюда! Ты что мне тут пудришь мозги, сволочь! — заорал начальник конвоя. — Да тебя надо снять с бригадиров! Ты не знаешь, что делается в твоей бригаде! Человек больной, а ты, стерва, пишешь акт об отказе! Вон отсюда, а то я тебя самого расстреляю вместе с остальными отказчиками. — Начальник конвоя позвонил в лагерь, чтобы немедленно выслали подводу на 406 объект. Сказал, а сам пошел расстреливать двух уголовников-отказчиков. Надо сказать, что тот страшный указ продержался недолго, его быстро отменили, но людей успели расстрелять достаточно.

- 157 -

ЖЕНЩИНЫ В ЛАГЕРЯХ

Почитайте женщину, мать вселенной.

В ней лежит истина творения.

Она — источник жизни и смерти.

Она — осознание всего доброго и прекрасного.

Защищайте ее. Благословляйте ее.

Геннадий Горчаков

Одно из самых страшных впечатлений от лагерной жизни — страдания женщин-заключенных. Как вспомнишь — сердце кровью обливается! Ежедневная картина: стоит женская бригада на разводе, мороз около 30, да с ветерком, они, бедняжки, жмутся друг к дружке, словно стадо колхозных овец весной — захудалых, облезлых за долгую голодную зиму. Типичный облик советской женщины, заключенной в лагерь: голова укутана каким-то тряпьем, бушлат, весь в больших и малых дырках, из которых торчат клочки серой ваты, стеганные мужские брюки, тоже все в дырах, на ногах обуты ЧТЗ. (По поводу этой обуви, в те времена ходил такой анекдот: обокрали квартиру, хозяин изумленно смотрит на следы, оставленные на полу и восклицает: «Я допускаю, что машина каким-то образом вошла в квартиру, но как она могла развернуться на такой крохотной площади!») На левом боку на грязной веревке —

опояске висел черный ржавый котелок — столовый сервиз — посуда для черпака холодной лагерной шлюмки. Это так назывался обед на объекте. Баланду привозили из лагеря в больших деревянных бочках. На три тысячи человек один раздатчик. Раздача жижи производилась на улице — в мороз, в летнюю жару, в осеннюю слякоть. Получил черпак — сразу здесь же и выпил. Хлеба на обед не было: пайку съедали еще утром. Женщины зиму и лето ходили в мужских брюках, бывших в употреблении, латаных-перелатаных. Некоторым доставались галифе цвета хаки, снятые, похоже, с убитых солдат. Добавлю несколько штрихов к групповому портрету лагерных мадонн XX века. Стриженные под машинку, с изможденными лицами серо-зеленого цвета, с потухшими глазами — все они выглядели гораздо старше своих лет.

Мне довелось бывать в женских бараках. Скажу вам: зрелище еще то — кругом грязь и запах ... специфический. Самое поразительное в том вертепе — искусная отборная матерщина, на которой объяснялись его обитательницы. Бывало, обращаешься к одной из них с каким-нибудь вопросом, а в ответ: «Ну, ты ...! Дай закурить». Других слов она, видимо, уже не знала. Кто они были — эти несчастные? Может, они были недостойны лучшей жизни?

- 158 -

Не будем торопиться с осуждением. Расскажу несколько историй, из тех, что видел сам, а не придумал. В нашем бараке полы мыла старушка. Спрашиваю:

— За что сидишь, мамаша?

— Был у меня теленочек. Я, дура, его ободрала и решила шкуру выделывать на кожу, а соседка донесла на меня. Явился председатель сельсовета — морда красная, здоровый мухряк, у него была какая-то броня и на фронт его не взяли — и отобрал эту шкуру. А она уже совсем была готова. Ну я, того, обозлилась, схватила чугунок, в котором варилась картошка и ударила энтим чугуном председателя. Через неделю приехал из райотдела милиционер и забрал меня.

— Дети у тебя есть?

— Дома у меня осталось трое детей: две дочки и сынок. Старшей было 13 лет, второй 9, а сыночку шел третий годик. Он у меня родился, когда отца забрали на фронт. Как меня осудили, то детей сдали в детдом. Старшая-то пишет из детдома, где ждет меня домой, а про младшеньких я ничего не знаю, их разлучили там. Сейчас старшей дочке пошел пятнадцатый годок, красивая она у меня, моя тростиночка, — утирая слезы, говорила женщина. — А муж-то не знаю, живой ли: ни слуху, ни духу, а может давно уж лежит в сырой земле.

— А сколько тебе лет, мамаша?

— Сорок второй пошел, — отвечала она, а по внешнему виду ей можно было дать все шестьдесят.

Еще одна история. В ее центре опять поломойка, на этот раз немка по национальности. Мыла полы она вместе с дочерью. Девушка была красивая: большие выразительные глаза, пухлые обветренные губы, маленькая стриженная головка на тонкой и длинной шее придавали ей вид детской куклы. В барак они попали по решению врачебной комиссии, перевели их с общих работ в жилую зону. Легкий труд они получили не потому, что были инвалидки, а потому, что они отощали до такого состояния, что считались дистрофиками. Сидели они по 58 статье, пункт

10 — антисоветская агитация — 10 лет сроку. Непонятно, где и кого они смогли сагитировать?

По каким признакам врачи определяли, кто дошел до кондиции и на объекте уже работать не может? Мера измерения этого у врачей была одна: заходишь в кабинет, где заседает врачебная комиссия, и, в первую очередь, снимаешь штаны. Если вместо ягодичных мышц торчат два острых мосла, а между ног может проскочить футбольный мяч, то считай ты уже кандидат на легкий труд. Натянул штаны, оголяешь тело до пояса. Если врачи видели скелет, обтянутый тонкой кожей, то в твоей больничной карточке появлялась запись: легкий труд, зона, сокращенно ЛТЗ. Через неделю тебя переводили на работу в жилую зону: в хозобслужбу лагеря, в промкомбинат и т.п.

- 159 -

В те годы в лагере было очень много совсем молоденьких деревенских осужденных девчонок, за побеги с заводов, других производств, куда их мобилизовывали во время войны. За побеги домой, к маме, им давали по 7 лет ИТЛ. Многие женщины сидели за кражу. Например, Зоя Калмыкова, народная артистка республики, певица, эвакуированная из Ленинграда вместе с Ленинградской филармонией. Она осуждена на три года за попытку вынести с фабрики трико. Помню женщину, которая попала в лагерь на пять лет за то, что была поймана с 3 кг гороха, который несла с производства своим голодным детям. Тысячи и тысячи несчастных матерей за подобные «преступления» попали тогда в лагерь.

Помню, что в нашем лагере много было женщин, осужденных по статье 155 УК РСФСР — проституция. Красивые, они имели успех у мужчин. Прибыв в лагерь, становились любовницами бригадиров, поваров, хлеборезов и т.д. Лагерная элита имела возможность регулярно подкармливать своих подруг. Сидели в лагере воровки — крадуньи, пользовавшиеся авторитетом среди воров-профессионалов. Сидели аферистки, кукольницы, формазонщицы, которые крутили червонец за сотню, марьяны, которые марьяжили богатых фраеров — уводили клиентов в темный угол, а там с ними разделялись сообщники. Сидели за убийство мужей, любовников, собственных детей. Один пример: влюбилась женщина в курсанта военного училища, а училище переводят из Сибири на Украину. Стала она просить его взять ее с собой, в ответ слышит: «Если бы у тебя не было ребенка, тогда — другое дело». И она решила избавиться от дочки-первоклассницы. Нашелся и консультант — соседка, которая насоветовала подвешивать ребенка каждый день за ножку вниз головой, чтобы у нее произошло кровоизлияние в мозг. Дуреха так и сделала. Экзекуции начались. На подавленное состояние девочки обратила внимание учительница.

— Ты что, болеешь? — спросила она однажды во время урока.

— Да, — ответил ребенок.

— А почему мама не сводит тебя к врачу?

— Мама сама меня лечит.

— А как она тебя лечит?

— Она подвешивает меня за ножку каждый день в гардеробе.

Учительница отправила девочку домой, а сама позвонила в милицию и указала адрес, где живет

школьница. Приехав по указанному адресу, милиционеры обнаружили девочку в гардеробе, повешенную за ножку. В результате — следствие, суд — 10 лет ИТЛ.

О женской доле в лагерях можно рассказывать бесконечно. Я ограничусь только этими эпизодами. Кто-то умный

- 160 -

сказал: об обществе можно судить по тому, как оно относится к женщине. Лучше не скажешь — человеконенавистническая коммунистическая система, господствовавшая в стране в течение десятилетий, переломала миллионы жизней несчастных женщин. Не будем торопиться с осуждением их поступков, а молча обнажим голову в память жертв государственного террора.

161 -

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМБИНАТ

В 1943 или 1944 году, не помню, 406 объект был законсервирован. Освободившаяся масса рабов была переброшена на территорию авиационного завода имени Чкалова, где открылся новый объект — Центральный аэродинамический государственный институт — ЦАГИ, филиал Московского ЦАГИ. Я в то время уже трудился в составе другой бригады. Бывшего бригадира Григорьева отправили в штрафной лагерь, который находился в городе Искитйме Новосибирской области. В штрафном лагере заключенные выжигали известь. Григорьев пробыл там месяца два и вернулся обратно уже инвалидом — туберкулез легких. Вскоре он умер. В Библии сказано: не суди другого, да не судим будешь. А он судил ... Я много встречал в лагерях людей, которые работали у оперуполномоченных сексотами и почти все они в итоге попадали в штрафные лагеря. Хозяева их ненавидели и презирали, понимая, что, если они продавали своих товарищей, то и хозяина при случае могли продать тоже. Поэтому при малейшей возможности они сбгивали их подальше.

Долго работать на новом объекте мне не пришлось. Очередная врачебная комиссия направила меня в оздоровительный пункт. Во время войны такие ОП создавали во многих сибирских лагерях. Собирали туда доходяг, военеды отпускали продукты в тройном размере, месяц их откармливали, а потом отправляли на особо тяжелые работы, откуда мало кто возвращался живым. За месяц-другой из человека высасывали все силы, а потом его или просто убивали прямо на объекте, или он умирал на больничной койке. Из нашего лагеря подкормленных рабов отправляли на шестую командировку — шестой тарный цех, который располагался на берегу Оби в черте Новосибирска. Про наш ОП доходяги сложили сатирические песенки. Вот одна из них:

Скоро в ОП меня положат,

Кости салом обрастут,

Куда я денусь с такой рожей?

Какой мне труд тогда дадут?

Нас, доходяг, набрали человек сто, отвели нам отдельную секцию в большом бараке. Надо

сказать, что кормежка по военным временам была хорошая. Плата за нее только была дорогая: расплачивались жизнью. На этом откормочном пункте я пробыл десять дней и ушел в стационар со странной болезнью — флегмона левой ноги. Ни с того, ни с сего у меня начала пухнуть икра на левой ноге, появилось покраснение. Потом начались страшные боли. Недели две я совсем не спал, температура доходила до 41, а врачи никак не могли

- 162 -

определить мою болезнь: ни раны, ни нарыва не видно, а нога все пухнет и краснеет. Потом меня решили показать доктору медицинских наук по фамилии Теф. Немец из Поволжья, до ареста он читал лекции в институте. В начале войны его осудили по 58 статье на 10 лет и 5 поражения. Это был крупный специалист — хирург, его имя было известно не только в СССР, но и в Европе и в Америке. Его часто возили под конвоем в городские клиники Новосибирска, когда надо было сделать сложную операцию какому-нибудь высокопоставленному партийному или военному деятелю. Для больных он был как отец родной. Так вот этот доктор Теф и определил, что у меня была флегмона — воспаление костной оболочки. С ней я пролежал в постели полтора месяца. Потом меня выписали из больницы со знаком инвалидности и предписанием использовать только на легкой работе, не связанной с длительным передвижением. Таким образом, я и попал в лагерный промкомбинат.

Производство это состояло из нескольких мастерских, где производили подшивку валенок, пошив сапог и ботинок, вязание носков и рукавиц. Валенки подшивали и зимой, и летом. За один год мы подшивали до миллиона пар валенок, шили до 200 тысяч пар сапог и ботинок. На этой работе было задействовано 800 мужиков. Варезки и носки вязали женщины. На этой работе числилось не менее 600 человек.

Я попал в бригаду Кириленко Василия Кондратьевича. Он сидел по статье 58, пункт 8 — террор. До ареста он служил в воинской части начальником снабжения. Часть стояла где-то на Украине. В 1938 году его обвинили в том, что он пытался отравить весь личный состав части. Суть диверсии заключалась в том, что по его распоряжению мастера, лудившие чугунные кухонные котлы, использовали цинк. Вот так: враг хитер и коварен, но доблестных чекистов не проведешь! Дур дом, конечно, но по приговору «тройки» Василий Кондратьевич получил пять лет лишения свободы и три года поражения избирательных прав. Свой срок он отбывал в городе Норильске. Там он написал тридцать жалоб по всем инстанциям, жалуюсь на то, что его незаконно осудили. Верховный Суд СССР отменил приговор, Василия Кондратьевича повезли на Украину на пересмотр дела. Война застала его в Новосибирской пересылке. С началом войны все этапы были прекращены. Вот так Василий Кондратьевич Кириленко оказался в нашем лагере. Справедливости ради надо сказать, что Василий Кондратьевич был человеком очень мягкого характера, честной и справедливой натуры. Проработав с ним около двух лет, я ни разу не слышал, чтобы он повысил голос на кого-нибудь из бригадников, поэтому все относились к нему с огромным уважением, даже с любовью. Помню свой первый рабочий день в сапожной мастерской. Впервые в жизни взяв сапожный нож

- 163 -

в руки, я не знал, что с ним делать. Через несколько минут к нашему сапожному верстаку подошел бригадир.

- Ты первый день вышел на работу — спросил он у меня. — Откуда пришел?
- С производственной бригады, — отвечаю.
- А в твоей карточке записано, что ты выписан из больницы инвалидом.
- Да какой я инвалид. Долго лежал в больнице, сделали операцию, развалили всю икру на левой ноге, а теперь рана не заживает.
- Ничего — до свадьбы заживет, — уверил он меня. — Теперь я твой бригадир, зовут меня Василий Кондратович. Срок-то большой?
- Да этим я не обижен. Пока имею червонец да пять по рогам. Но уже отбыл треть срока.
- О! Ты со стажем, а сколько же тебе лет?
- Да вот на масленицу будет 20.
- Сколько же тебе было, когда арестовали?
- Шел семнадцатый год.
- Рано ты, брат, начал по тюрьмам!
- А что сделаешь, — пожал я плечами, — такая судьба мне выпала, наверное.
- Вот я принес тебе работу — 100 пар головок от ботинок. Распорешь их, удалишь все старые нитки со швов, берцыскладешь в ровные стопки и завяжешь их вот этим шнуром. То же сделаешь с головками носков. Понял меня?
- Не совсем.
- А что непонятно?
- Что такое берцы?
- На простом языке — это голяшки от ботинок. Ну, начинай с Богом.
- И я начал, благословясь. Сто пар распорить, удалить нитки из старых швов — это была дневная норма. Я ее выполнял до обеда. После обеда я попросил вторую связку. Бригадир посмотрел на меня с удивлением, но, не говоря ни слова, принес вторую связку. Я и вторую связку закончил к концу рабочего дня. После смены бригадир забирал сделанное и тщательно проверял качество работы. Многим он возвращал изделия на доработку. Мои же обе связки принял, похвалив за качество сделанного, и объявил, что я сделал две нормы. Вот с этого и началась моя деятельность в качестве сапожника. Прошло месяца два с того дня, в одной из бесед Василий Кондратьевич признался мне, что он, грешным делом, сначала не верил, что из меня получится путевый сапожник.
- Думал, пуцай побудет в бригаде, отдохнет, а потом я его спишу куда-нибудь.
- А теперь ты изменил свое мнение обо мне?

— А то ты сам не знаешь? Ты ведь уже не распарываешь старые ботинки, а работаешь на подшивке валенок. А пороть и выскребать — это удел тех, у кого нет желания работать, и отсутствует смекалка, необходимая для освоения сапожного дела. Таких я обычно перевожу в хозобслужбу или на погрузку и разгрузку подшитой обуви.

— Я сам не пойму: откуда взялась у меня склонность к сапожному делу?

Еще через месяц я уже числился в числе лучших работников промкомбината. Становясь на фронтную вахту, я подшивал по 16 пар валенок за смену, что составляло 600 % к норме. На 100 % надо было подшить две с половиной пары. Вместе с нами в одном цеху работали женщины, которые вязали рукавицы, варежки, распарывали всевозможные сумки, рюкзаки, стирали их, проглаживали, упаковывали ровными стопочками. Все это куда-то отправлялось, видимо, на переработку. Сырье привозили из прифронтной полосы. В этих сумках, планшетах, рюкзаках часто находили различные документы: письма солдатские, фотокарточки, немецкие деньги, зубные щетки, мыло, одеколон, полотенца, даже презервативы. Мы, сапожники, часто находили в валенках, ботинках, сапогах советские деньги, зажигалки и многое другое. Но чаще всего мы обнаруживали засохшую человеческую кровь, иногда по полному валенку.

Наша бригада состояла в основном из молодежи, были и малолетки, поэтому руководить такой бригадой бригадиру было нелегко. Попробуй, заставь ребенка в 12-13 лет весь день сидеть за верстаком да подшивать валенки! Вот что-нибудь наблудить, подшутить, поломать, перевернуть — это они творили с большей выдумкой и умением. Поднимется, бывало, старик сходить в туалет, сядет, вернувшись, на липку, а снизу острый гвоздь впивается в ягодицу, старик, как ужаленный, вскакивает, озирается кругом, ища виновника, а того и след простыл. Он уже шныряет среди женских верстаков. Подождет клочок ваты, незаметно подсунет женщине под липку, та крутится на месте, обшаривает себя: что горит? Пока крутится, у нее вязальные иголки исчезают. И так целый день. Что с ними было делать? Они были детьми, а дети должны играть. Однако наши дети были далеко не пай-мальчиками: многие из них могли спокойно всадить нож в бок любому, кто их обидит. Жили ребяташки в «индии». Что это такое? Поясню: в любой зоне индией назывались бараки, в которых собирался весь лагерный сброд — чахоточные, инвалиды, блатные, малолетки. Здесь же кантовались те, кто проворовался и был изгнан из других барачков. В индии проходили сходняки блатных, приговоры воровских судов приводились в исполнение тоже там же. Клоака эта была университетом лагерной жизни для малолеток. Здесь они познавали жестокие законы преступного

- 165 -

мира, осваивали искусство карточной игры, обучались блатному жаргону. Это была школа злословия и ненависти ко всему живому.

Были в составе нашей бригады и воры. Старший нарядчик лагеря был мужик умный и хитрый. Он всех воров по два-три человека распределял по бригадам, чтобы бригадиру было легче проводить блатных по нарядам, не объедая бригаду. Рядовые бригадники и не догадывались, что на их шее сидели нахлебники. Как говорится: и овцы целы, и волки сыты. Блатные никогда с работягами не общались. Жили они отдельно, лагерной пищей пренебрегали. У них были свои каналы, по которым они добывали пищу. На столе у них нередко было сливочное масло, белый хлеб, красная рыба, даже черная икра. Не всегда, конечно. Бывало, и они сидели на черном хлебе с чаем.

В конце войны питание в нашем третьем чкаловском ОЛП стало улучшаться. Пайка хлеба потяжелела до 700 граммов. За выполнение нормы на 125 % выдавали дополнительно 250 граммов хлеба, улучшился приварок: в баланде даже появились жировые пятна. Открылась столовая, теперь люди не стояли на улице в очередях за шлюжкой, а побригадно приходили в столовую, получали пищу из раздаточного окна. В помещении столовой соорудили сцену, столовая превратилась в великолепный клуб. С открытием клуба появился духовой оркестр. Оркестр состоял из лагерных придурков — поваров, раздатчиков, банщиков, парикмахеров, дневальных, вахтеров. Таким образом, с музыкантами проблем не было, а руководил всем этим делом начальник КВЧ (культурно-воспитательная часть), плотный общительный мужичок лет сорока, видимо, бывший фронтовик: на правой руке у него отсутствовали пальцы. Создавался духовой оркестр, однако не для того, чтобы веселить рабов, а для того, чтобы развод проводить под музыку. Оттрубив утром, музыканты кантовались до вечера, а вечером опять бежали рысью на вахту, встречали «трудящихся» страны Советов. Капитан из КВЧ просуетился недолго. Его сменили три женщины. Они начали свою трудовую деятельность опять с духового оркестра: «Какой развод? Какая музыка? Безобразие! — кричала новый руководитель КВЧ. — Мы им покажем музыку! Они все от нашей музыки подохнут! Какой дурак это придумал? — все более свирепея кричала она, разбрызгивая слюну. — Танцы! Вот что нам нужно!» Сказано — сделано! Заканчивался ужин, двери столовой закрывались, вход в клуб был только для избранных — лагерных дворян, которых в лагере насчитывалось до сотни: бухгалтерия, ИТР, работники хозобслужбы, хлеборезы, проститутки, которые именовали себя воровками, бригадиры и бригадирши — все это «дворянское гнездо» называлось просто — лагерные придурки. И начиналось: «Страшные, дикие звуки всю ночь раздавались там».

- 166 -

Однажды мне «посчастливилось» быть невольным свидетелем одной из таких ночных оргий. Дело было так. В нашей бригаде сапожников появился новичок — молодой парень, забитый, заморенный, довольно страшненький на вид: заячья губа, веко левого глаза вывернуто наизнанку. Он сразу стал объектом насмешек, довольно злых розыгрышей. Особенно в этом преуспевали малолетки. Я взял новичка под свое покровительство, как мог, защищал его. Звали парня Сева, фамилия Фолькинштейн, по национальности он был еврей. Евреи в нашем лагере долго не работали на общих работах, так как они сразу попадали под покровительство хозяина зоны — старшего нарядчика Исаака Соломоновича. Старый лагерник, умный и хитрый человек, он умел ладить не только с начальством лагеря, но и с блатными и, что не менее важно, с работниками МГБ. Так что, скоро «заячья губа» исчез из бригады, а через день я увидел его в раздаточном окне на кухне с черпаком в руках. Сева не забыл моего доброго отношения к нему. Однажды ночью он пригласил меня на кухню, познакомил со сменным ночным поваром.

— Вот этот паренек сегодня поможет тебе в работе. Человек он честный и работающий, — представил он меня повару.

— Давай, Даня, поужинаем, я пойду спать, а ты поработаешь с Павликом.

— Слушай, Данил, — распорядился повар после ужина, — сначала помой два котла, потом растопи печь и вскипяти в этих котлах воду. Действуй. — Повар стал делать свое дело, а я свое. К часу ночи все было закончено. И все это время за перегородкой, отделяющей кухню от столовой, творилось что-то невообразимое. Там безостановочно ревел духовой оркестр,

раздавался громкий топот сотен ног, кто-то визжал, кричал, стонал — вертеп.

— Долго будет продолжаться этот концерт? — спросил я у Павлика.

— Да часов до двух-трех, а потом, набесившись, все расползутся по своим углам.

— И КВЧ здесь?

— А как же: они-то все это и организуют. А что им не дуреть — хозяйева!

В конце войны опять во всю мощь заработали карательные органы. Вновь по необъятным российским просторам из конца в конец пошли многолюдные этапы, застучали по рельсам до отказа набитые заключенными эшелоны, зашумели переполненные пересылки. ГУЛаг радушно встречал новое пополнение.

— Данилко! Хватит дрыхнуть, поднимайся! — теребил меня Антон Цюжет.

— Отвяжись от меня, ради Бога, что ты пристал?

— Этап пришел, пойдем выбирать жен!

- 167 -

— Иди ты к черту со своим этапом и со своими женами, не видел я этапы!

— Такого этапа ты и во сне не видел: бабы — цимус — королевы Шотландии, красивее самой Мэри Пикфорд.

— Да откуда этап-то?

— Львовский, — Антон, видя, что я не собираюсь подниматься, схватил меня за ногу и потащил с нар вместе с одеялом и матрацем.

— Слушай, Антон, у тебя совсем нет совести, ты знаешь, во сколько я лег спать?

— Давай быстрее, а то всех жен расхватают, — торопил Антон.

— Я не узбек: у меня уже есть одна жена, мне хватает по горло, хоть отбавляй. А где этап-то?

— Около вахты в отстойнике.

— Ого! Вот это этап!

— Человек триста, давно такого этапа не было, подвезли с Запада, — суетился Антон, — Вон видишь, белобрысенькая, чем не баба?

— Баба-то хорошенькая, да не для тебя. Эта баба для придурка какого-нибудь. А вещей-то сколько? — удивлялись мы.

Действительно, прибывшие были нагружены основательно: баулы, рюкзаки, какие-то узлы, мешки, огромные чемоданы — богатая пожива для уголовников. Большинство женщин из львовского этапа были осуждены за измену Родине, имели сроки от 10 до 20 лет ИТЛ. Скоро наши «умельцы» сначала обобрали всех до нитки, а потом поволокли их по темным углам за

пайку хлеба.

Через два месяца прибыл еще этап, из Кременчуга. Он был беднее — их уже где-то по дороге обобрали. Пришел как-то в наш барак пацан лет 15, а дневальный его не пускает.

— Меня нарядчик послал сюда, сказал, что в этом бараке живет моя бригада, — взмолился малец.

— А ты по какой статье осужден-то? — спросил дневальный.

— По 54. Это по украинскому кодексу, а по вашему — 58.

— А какой же пункт у тебя?

— Пункт 6, — отвечает мальчик.

— Так ты шпион?

— Ну да, — мальчик машет головой.

— Эй, шпион, иди к нам, — крикнул Антон, — поговорим, познакомимся.

Подошел, сел на краешек нар, смотрит на нас с любопытством.

— Срок-то большой?

— Та пять рокив, та я вже один год отсидив. — В разговоре он смешивал русскую речь с украинской мовой.

— А мать-то у тебя есть?

— Мамки нема. Я был в саду, когда вернулся домой, то

- 168 -

не нашел своего дома. Он был разрушен. Я нашел только обрывок ее платья. Она погибла вместе с моей маленькой сестренкой. А потом я ушел в город, спал в подвалах. Однажды проснулся и увидел, что по улице куда-то бегут люди. Я побежал вслед за ними. Бегу, вижу — на дороге деньги, много денег. Я стал их собирать. Потом я выбрался за город, ночевал в копнах сена. Один раз я встретил двух дядек. Они отвели меня к какому-то большому начальнику, который долго меня бил и все спрашивал: какое задание я получил. А я ни от кого никакого задания не получал.

— А откуда у тебя деньги?

— Я их набрал на улице. — Потом был суд, и мне дали пять лет.

В марте 45-го вновь я попал на производственный объект. Мы строили жилые дома. Вместе со мной на объекте работала моя «жена». Ее звали Анна Федоровна Кузьменко. Однажды выходим на развод. Воскресенье, день солнечный, теплый. Что-то долго развод не начинается, уже шел девятый час. Странно. Смотрим: из управления МГБ вывалила толпа офицеров, один из них вскочил на перевернутую вверх дном пожарную бочку и громко объявил: «Конец войне! В честь Победы объявляется выходной день!» Что здесь началось: зазвучало тысячеголосое

«Ура!», люди бросились обнимать и целовать друг друга, даже вечных врагов — пожарников — не обошли стороной, тоже расцеловали, простив на миг все их грехи. Даже МГБ, собравшись на крыльце, смотрели на заключенных и улыбались. Ликование было поистине всенародное.

Эмоциональный подъем, вызванный известием о Победе, быстро прошел. Жизнь лагерная продолжалась своим чередом. Победа ничего не изменила: в зоне по-прежнему свирепствовали пожарники и надзиратели, в отделе МГБ работали те же обгаренные человеческой кровью сотрудники, как и раньше нарядчик Исаак Соломонович решал судьбу любой бригады. В лагерь регулярно прибывали этапы со всех концов страны. Амнистия, о которой столько говорили и которую ждали всю войну, тоже была куцая. Из нашего лагеря освободили по амнистии самое большое человек сто из Ю тысяч. На волю ушли бывшие милиционеры, осужденный по статье 183 УК РСФСР, да молоденькие девушки, заимевшие в зоне ребятишек. В лагерь пришли девочками, а освободились мамками. Вот и вся амнистия.

Ровно через год все бригады, что работали на строительстве жилых домов, этапировали в новый лагерь-командировку, который был образован на 406 объекте. В тех корпусах, что мы в свое время построили, нас и разместили. Пригнали туда человек 800. Я опять работал в сапожной мастерской, а Аню перевели в лагерную кухню по беременности. Однажды, кончив работу в ночную смену, мы с Сашей по кличке

- 169 -

Колыма вышли на воздух подышать. Устроились на фундаменте заложенного нового корпуса. Сидим, курим, люди идут к вахте на развод. Мимо нас шагал вор Никола по кличке Бацилла. Подошел, поздоровался, распахнул телогрейку и показал нам топор.

— Куда это ты, Никола, собрался? — спросил Саня Колыма. Бацилла улыбнулся и ответил:

— Сейчас буду рубать.

— Кого?

— Транзитника Колю.

— Давай, а мы посмотрим.

Коля-транзитник сидел в то время около вахты со своей «женой». Бацилла подошел к нему и попросил закурить. Тот ответил: «С начальником на разводе покуришь, понял?» Бацилла зашел сзади, поднял топор двумя руками, а потом ногой толкнул сидящего в бок. Тот оглянулся, в это мгновение топор резко опустился на голову транзитника. Оглушенный транзитник покатился по фундаменту. Бацилла, шагая за ним, еще нанес два удара в голову, затем вытер лезвие топора о телогрейку зарубленного и, смеясь, подошел к нам.

— Ну, как я его «уделал»?

— Нормально, — ответил Колыма. Кто-то сообщил в санчасть, оттуда прибежали санитары, положили труп на носилки и утащили Колю в санчасть. Бацилла еще постоял с нами, покурил, потом отправился в надзорку сдавать топор.

На площади собралась вся обслуга лагеря. Каждый старался узнать, что произошло, и за что порубали транзитника. Саня Колыма некоторые воровские тайны знал. Он-то мне тихонько и

разъяснил, что транзитник — бывший вор, но его в чем-то обвинили на воровской сходке, с тех пор он не пользовался воровскими правами. Недавно вора стало известно, что транзитник связан с «кумом», поэтому последний воровской сходняк приговорил его к смерти. Приговор привести в исполнение взялся Коля Бацилла.

Я рассказал об этой расправе потому, что имел к ней отношение. Сейчас поясню. Однажды вечером, закончив работу в мастерской, мы с Колымой решили помыться в бане. Я, забыв снять сапожный фартук, отправился туда. Только я подошел к помещению в пустом корпусе, оборудованному под баню, ко мне подскочил незнакомый мужик и вполголоса заговорил:

— Здорово, Коля! Я жду тебя уже целую неделю. Мне работник МГБ сообщил, что ты придешь ко мне в баню, на тебе будет одет сапожный фартук. Ты понял меня?

— Понял, — ответил я.

— Зайдем ко мне, я тебя проинструктирую. Коля, ты ознакомился с людьми?

— Да, — ответил я.

— Ты понял, с кем тебе надо работать?

- 170 -

— Нет, еще не понял.

— Я тебе объясняю. С тобой рядом работают западные украинцы. Ты прислушивайся к тому, о чем они разговаривают на рабочем месте, в столовой, в других местах. А после работы сразу беги ко мне, не снимая сапожного фартука. Это будет наш пароль. Запомни фамилии всех, с кем работаешь. Сам в разговоры не встречай, но исподволь, ненавязчиво старайся направлять разговор на политические темы. Понял меня?

— Понял, — ответил я, стараясь побыстрее уйти, чтобы не встретить настоящего Колю.

— До свидания, жду тебя, будь осторожен, смотри чтобы тебя не засекли! Об этой встрече я сразу же рассказал Сане Колыме. Он быстро вычислил, что насадкой, которую МГБ внедрило в нашу мастерскую, являлся Коля Транзитник. Потом он сообщил об этом, кому следует. Остальное вы уже знаете.

Наступил последний день моего пребывания в новосибирских лагерях. В утро того дня мы с Аннушкой проснулись рано. Лежали в постели и тихонько разговаривали. Она, прижавшись ко мне плотненько, сообщила:

— У меня беременность уже четвертый месяц. Боюсь, что тебя возьмут на этап, а я останусь одна без тебя.

— Не надо бояться. Спокойно жди своего освобождения — тебе до конца срока 8 месяцев. А вообще-то надо было давно забеременеть, сейчас бы уже была на свободе.

— Я не виновата в том, что так поздно забеременела. Прозвенел звонок рельса — подъем.

— Ладно, я побегу в свой барак, переоденусь, да до работы надо успеть принести тебе на

завтрак чего-нибудь вкусненького.

Не успела моя Аннушка выскочить на улицу, как в секцию ввалились надзиратели и объявили о сборе на этап. Нагнали нас в надзорку человек сто, все с большими сроками. Наши «жены» на работу в тот день не вышли, все остались в отказе. Сначала их посадили в ШИЗО, но приехал начальник лагеря и приказал выпустить — пусть проводят своих возлюбленных. Они окружили нас около вахты, каждая из них, громко рыдая, прощалась навсегда со своим «мужем». Моя Аннушка, вся в слезах, стремилась прорвать окружение надзирателей, чтобы последний раз поцеловать меня, но это ей не удалось. Удар надзирателя сбил ее с ног. Я успел только крикнуть: «Аня, напиши письмо моим сестрам в Томск, сообщи им, что я ушел на этап, а как освободишься, сразу же поезжай к ним в Томск!»

Открылись главные ворота, зазвучали команды, колонна двинулась в путь. Долго еще вослед нам звучал громкий трагический плач женщин, потом он затих. Этапы большого пути продолжались. Лежал впереди Магадан — столица Колымского края.

- 171 -

«ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ»

Шестнадцать суток мы безвылазно провели в телячьих вагонах, добираясь от Новосибирска до бухты Находка. Здесь, в Находкинской пересыльной тюрьме, я стал свидетелем и участником кровавой схватки между прибывшими с нашим этапом ворами и командовавшими в зоне суками — тоже уголовниками, но нарушившими воровской закон и сотрудничавшими с администрацией. В те годы беспощадная война между ними разгорелась во всех лагерях Советского Союза.

В этот день, выгрузившись из вагонов, пройдя санпропускник, баню, парикмахерскую, врачебную комиссию, мы только глубокой ночью попали в барак. Там нас принимал староста барака, здоровенный мужик в военной одежде с намотанным на правой руке широким офицерским ремнем. Двухэтажные сплошные нары были забиты до отказа, в проходах между ними тоже шагнуть некуда. «А ну, что вы, гады, остановились? Проходите!» Задних староста начинал хлестать ремнем. Все шарахнулись прямо по людям в глубь прохода. «Ложись!» — орал помощник старосты. Мы падали на лежащих людей, постепенно втискиваясь между ними. Наконец все утихло. Я долго не мог заснуть. Часа в три ночи в барак ввалилась группа молодых ребят. Все были в изрядном подпитии и чем-то сильно возбуждены.

— Ну что? — спросил староста.

— Без изменений. Лежат на земле, автоматчики не дают им даже голову поднять, стреляют поверх голов. Звонило начальство, мы просили подогнать пожарку, нам сказали, что обе машины сломаны. Потом позвонили во Владивосток, чтобы выехал прокурор. Сказали, что он к утру подъедет на дрезине.

— А что они хотят?

— Они требуют, чтобы из бани убрали всю обслугу, тогда они войдут в зону.

— Вот пидорасы, догадались, что мы их ждем. Сейчас главное — не дать им вооружиться. Надо

зорко следить за фраерами, чтобы они не передали тем ножи.

— Значит на сегодня варфоломеевская ночь не состоится?

— Выходит так.

— А ты в своем бараке всех прощупал? Никто не проскочил?

— Да их в бане хорошо прощупали, да они по одному в зону не пойдут, — отвечал староста.

— Лады, мы пойдем допивать.

После подъема был разрешен выход из барака, все кинулись в туалет. В семь часов принесли хлеб и бочки с баландой. Каждый получил пайку и шлюмку какой-то черной жижи, чуть тепленькой. Миски были жестяные, изгото-

- 172 -

вленные из консервных банок местными мастерами-жестянщиками. После завтрака блокада барака была снята, все вывалили на улицу, надеясь познакомиться с территорией пересылки. Но вокруг барака стоял заслон из вахтеров, которые зорко следили за порядком в зоне. В Новосибирске этих псов называли пожарниками, а здесь их кликали вахтерами. Все они — упитанные, здоровые, хорошо одетые, краснорожие мужики — были вооружены деревянными дубинами. Один из них, морда красная, явно кирпича просит, подошел ко мне:

— Ты, продай валенки. Другие-то уже все продали в бане еще вчера, а ты все ходишь в валенках.

— Ты что придумал? Я же иду на Колыму.

— Там все равно снимут, а здесь они тебе ни к чему, тепло. — Эти валенки нам выдали в Новосибирской пересылке, когда формировали этап. Мне попали добротные валенки, черные, подшитые на совесть. — Ну, так что, договорились?

— А что ты мне дашь?

— Дам булку хлеба, — ответил вахтер. В то время булка хлеба весила два килограмма. «Холера с ними, с валенками, толкну я их».

— Согласен. Только ты дашь мне еще трехлитровый котелок воды.

Сделка состоялась. Он принес булку хлеба, трехлитровый котелок воды и рваные ботинки. В тот день мы с Леной Исаевым ужинали по-царски.

После ужина нас на улицу не выпустили: все бараки были оцеплены вахтерами. Мимо барака провели человек двести воров-рецидивистов, которые сутки провели на улице, отказавшись входить в зону. Они вошли туда только после переговоров с, приехавшим утром прокурором.

— Что вы хотите? — спросил прокурор у воров.

— Мы хотим, чтобы убрали всех работников бани. Мы без них помоемся и побреемся.

— Чем объяснить ваше желание?

— Это не наша прихоть, гражданин прокурор. Баню обслуживают суки, а мы воры. Вы, наверное, догадываетесь, что может произойти в бане?

— Хорошо. Я сейчас дам распоряжение администрации, чтобы она сняла всю обслугу бани.

Об этом разговоре мы узнали позднее, а в тот вечер только видели в окно, как мимо барака провели остатки нашего этапа.

С наступлением темноты нервное напряжение в бараке нарастало, все молчали, чего-то ожидая. Старые лагерники знали — когда воры и суки идут стенка на стенку, фраерам надо искать пятый угол, а пятого угла-то нет. Значит: или поддерживай одну из воюющих сторон, или залезай под нары

- 173 -

и там отсиживайся. Многие так и делали, спасаясь кто как может. Другие же сначала соблюдали нейтралитет, а затем становились на сторону тех, кто начинал побеждать. Таким образом вела себя вся лагерная отрицаловка. Как только воры помылись, обслуга бани вновь заняла свои места. Они сразу же начали готовиться к ночному штурму воровского барака. В бане заседал штаб этого штурма.

— Ну что, братцы, осилим?

— Конечно, осилим, — дружно подхватила сучья сходка.

— За фраерами следили? Не могли они вооружить воров?

— Вахтеры ничего не заметили, после обеда вообще хождение по зоне запретили.

— А пожарный инструмент убрали со щитов?

— Не успели убрать, его растащили еще в прошлую ночь.

— Как же вы это допустили, гадюки? Я вас спрашиваю! Теперь все топоры, багры, ломы с крючками в руках воров!

— Ничего, справимся, половину вырежем, остальные сдадутся. Вспомните Воркуту, Экибастуз, Карлаг, Котлас! Всех сокрушили. А тут, подумаешь, 200 рыл прибыло.

— Все! Базар кончаем. Начнем в 12 часов. Все бараки окружить, чтобы ни один фраер не смог вырваться. Остальные на штурм воровского барака. Действовать быстро, всех уничтожить беспощадно!

В эти минуты в воровском бараке заседал штаб противной стороны. Первым выступал Толик-колдун:

— Десять минут назад вахтер передал записку, что штурм назначен на 12 часов ночи. Он сам присутствовал на сучьей сходке, ему можно верить. Весь пожарный инструмент в наших руках, удалось пронести в зону ножей штук сорок. Кому инструмента не хватает, тот должен достать его у сук в первые же секунды схватки. Ни один вор не должен сдаваться живым.

Администрация пересылки знала о штурме и дала указание выставить дополнительную охрану на вышках и снабдить ее ручными пулеметами. В половине двенадцатого «Варфоломеевская ночь» началась. Мы тихо сидели в бараке, слушая звуки разгорающегося боя: громкий треск ломаемого дерева, топот множества ног, истошные крики «Ура!». В двери нашего барака кто-то пытался проникнуть, но безуспешно. Опять крики «ура!» Это кричали суки, воры не имели права кричать «ура». Значит, суки наступали. Через стену барака стали слышны стоны, появились раненые. На улице кто-то радостно закричал: «Братцы, подмога! Толик Воропай с нами!» «Теперь воры возьмут верх», — комментировал кто-то в темноте барака. «К восьмому бараку отступаем», - звучала истошная команда к отступлению. «Выходите! — кричали около наших окон. — Помогайте!»

Народ из барака хлынул на улицу. Вооружившись досками, стали бить всех бегущих. Бойня была в разгаре. Толпы

- 174 -

людей металась по зоне, не обращая внимания на валяющиеся трупы. Восьмой барак был окружен. Вдруг на всех вышках включили сильные прожектора. Толпа была ослеплена, застрочили ручные пулеметы, над головами тонко запели пули. Над восьмым баракком взметнулось пламя, освещая всю зону. В суматохе раскурочили кухню с хлебрезкой. Повара и хлебрезы разбежались, попрятались.

Начало светать. В зону ворвались солдаты с автоматами, а за ними следом появились вахтеры. Штурмующих оттеснили от 8-го барака. Воры брали верх. Когда битва немного утихла, я обнаружил, что у меня левая штанина вся мокрая от крови. Я даже не почувствовал, что кто-то в горячке засадил мне нож в ногу. Вероятно, по ошибке. Мой Леня не пострадал. «Сегодня завтрака не будет, — объявили надзиратели. — Кухня разрушена, продукты растащены. Хлеб должны подвезти часам к двенадцати дня». Вахтеры присмирели, стали такими добренькими. Сколько трупов было вынесено за зону в тот день, никто не знал. Через два-три дня все береговые лагеря Владивостока знали, что в Находке произошла очередная рубка. Цифры погибших назывались разные: от тысячи до пяти тысяч.

Находкинская пересылка перешла в руки воров. Решающий вклад в их победу внес Толик Воропай. Толика я знал еще с 1944 года по Новосибирскому лагерю. Он числился в нашей бригаде сапожников, но, естественно, не работал. Толик часто забегал к нам навестить своего друга Витю Кладько. Они в прошлом были ворами, но за какие-то дела оба не имели права пользоваться воровскими привилегиями. Поэтому жил тихонько, никому не мешая. В конце 45 года Воропай ушел на этап. И вот я столкнулся с ним в Находкинской пересылке. Будучи уже на Колыме, я слышал, что Воропая зарубили в пересыльной тюрьме Ванино.

20 ноября 1946 года холодные и сырые трюмы теплохода «Советская Латвия» были до отказа забиты живым грузом. Корабль взял курс на Магадан. Левая сторона трюма была занята двухъярусными нарами, наспех сколоченными из сырых нестроганных досок. Нары были заняты теми, кто первыми попали в трюм. Конечно, основная площадь была занята блатными. На оставшейся площади вповалку расположился остальной люд. Кто где стоял, там и сел на мокрый стальной настил. Под узкой стальной лестницей, ведущей вверх на палубу, стояла огромная деревянная бочка — параша. Вот в эту парашу мы, тысячи людей, должны были испражняться. Снимай штаны и лезь на бочку. А за что держаться-то? Человек не воробей,

лапками не уцепишься! Ничего, приспособишься! На то ты и человек.

— А я лично считаю, что эта бочка может и пригодиться.

— На что же это она может пригодиться?

- 175 -

— А ты погляди на нее! Такая дура может поднять трех-четырех.

— Да ты что, не бежать ли на ней собрался?

— А что, неплохая идея, но я не это имею в виду. В случае кораблекрушения на ней можно доплыть до берегов Канады и поведать живым, где могилка остальных.

— Типун тебе на язык.

Большого смеха такая шутка не вызвала у каторжан, но настроение улучшилось, слышались другие шутки, а там, в углу, даже слышался смех. Качка усилилась.

— Во, братцы, чувствуете, качеля набирает обороты! Значит, мы вышли в открытое море.

— А до сих пор мы где плавали?

— А ты че, не понимаешь, где плавали? Мы до сих пор плыли по бухте Находка, ты че, думаешь, она маленькая?

— Я ничего не думаю, я просто спросил. Сразу видно, что тебе не впервой плавать.

— Конечно. Я еще до войны бывал на Колыме.

— Ну и как, понравились тебе золотые россыпи?

— Очень понравились, придешь, сам увидишь. В это время один дядька вскочил на ноги и, зажимая рот обеими руками, устремился к бочке.

— Ты че, батя, торопишься? Подожди, рано лезть в бочку, еще не тонем! — бедняга еле успел до бочки добежать, его выворачивало наизнанку. — А я, батя, думал, что ты торопишься занять место в бочке, чтобы к берегам Канады первым прибыть.

— Иди ты к черту со своей Канадой, — окрысился дед.

— Да ты что, батя, шуток не понимаешь?

— Какие шутки могут быть, когда голова кругом идет, тошнит.

— Да ты, дед, не расстраивайся, вот пройдем пролив Лаперузу, там пошибче будет, там океан начнется и болтанка будет до самого Магадана. Чуешь, дед?

— Отстань от старика! Что ты прицепился к нему? Не видишь его состояние?

— А я шо, в парке Сокольников сажу на диване што ли? — осклабился приклатненный.

— Ты, иди сюда! Я тебе покажу Сокольники! Замолк, подействовало. Разговоры затихли, многие

с «умилением» поглядывали на бочку. Меня тоже подташнивало, но я крепился.

Наступила ночь. Я привалился к соседу и как-то незаметно заснул. Да так заснул, что проспал подъем. Когда проснулся, полным ходом шла дележка хлеба: пайки были разложены на двух бушлатах, расстеленных на мокром металлическом полу. Показывая на пайку пальцем, один кричал: «Кому?» Второй отвернувшись, по списку зачитывал фамилию. Полная демократия. Почему-то во все времена в

- 176 -

тюрьмах и лагерях горбушка считалась более престижной пайкой, чем серединка. Я никогда не считал горбушку лучшей пайкой. Я даже мог обменять ее на серединку своему соседу. Потом к нам в трюм бросили сверху несколько рогожных мешков, наполненных рыбой. Соленая треска, без голов, крупная, но соленая до потери сознания. Как ее есть? Воды-то нет. На третий день сверху спустили резиновый шланг и полилась вода. Наливай, у кого есть посуда. А посуды-то ни у кого не было. Шланг хватили руками и струю воды направляли в рот. Не успел глотнуть пару глотков, как шланг из твоих рук вырывали другие. Прошло минут десять, и водопой кончился. Некоторые успели намочить рукав бушлата или телогрейки. Тем повезло! Они еще долго сосали намоченный рукав. Самыми счастливыми были те, кто успел набрать воду в обувь. Вы знаете, какое это удовольствие — пить воду из собственного сапога или валенка!

В морском путешествии самое неприятное — качка. Желая отвлечься от неприятной тошноты, обращаюсь к говорливому приبلатненному:

— Слушай, колымчанин, что-то ты приуныл. Что, тоже укачало?

— Укачало? Нет, меня не укачаешь, просто последние ночи мне почему-то все время снится маленький ручеек с прозрачной, как слеза ребенка, холодненькой водичкой, которую я всю ночь пью, но никак не могу напиться.

— Колыма, кругом необозримый океан, а ты толкуешь о каком-то маленьком ручейке.

— Да я бы сейчас все океаны променял на тот маленький ручеек, который протекал рядом с дедушкиной пасекой. Да что теперь вспоминать про далекое детство! — тяжело вздохнул остроумный каторжанин, который частенько выводил трюм из унылого состояния.

— Слушай, Колыма, ты лучше объясни нам, где мы сейчас находимся?

— Я вам что, лоцман или капитан? Вот пойдите к капитану и спросите у него, — вроде бы со злом отвечал Колыма, а по лицу его видно было, что он был доволен вниманием к его персоне хотя и небольшого, но общества. Далее Колыма решил блеснуть своими географическими познаниями. — Так, — начал он издалека, — мы держим курс к Малайскому архипелагу, там мы причалим к берегам небольшого острова Суматра, где живут племена под названием Кубу. Жизнь тех людей еще не тронула современная цивилизация. Основным орудием производства у них являются собственные зубы. А орудием охоты у них считается лук. Как только человек мужского пола научился изготавливать лук, он считается совершеннолетним мужчиной. Они редко доживают до старости и своей смертью умирают, а становятся жертвами хищников. Живут они в густых зарос-

лях джунглей, спальным ложем для них служит голый камень, крыши над головой не имеют... Тут кто-то его перебил, спросив:

— Слушай, Колыма, а тебе не приходилось встречаться с легендарным капитаном Гатерасом?

— Нет, — серьезно ответил лектор. — Надо вам сказать, что столицей того острова является Магадан.

Поболтали, облегчили душу. К ночи состояние людей ухудшалось. Мой Леня лежал пластом на полу и только тихо стонал. Я держался бодрей. Один из блатных по кличке «Толик-Полуцветняк» подарил мне трехлитровый котелок, который я при «водопое» наполнил водой. Этот «полуцветняк» в Новосибирском концлагере был членом нашей сапожной бригады. Он, конечно, лежал на нарах, пользуясь правами вора. Во время штурма сучьего барака в Находке ему засадили нож под ребро, он прямо из больницы пошел на этап. Закончился еще один день пути, наступила ночь.

СОН В РУКУ

Заснув, я увидел сон. Я в окружении огромной массы людей стою на каком-то мысу, который глубоко простирается в море. Весь мыс заполнен народом разного возраста и пола: грудные дети на руках у матерей, старики и старухи, молодые девушки и парни. По какому случаю собралось здесь столько народа? Неизвестно. А вода все прибывает, вздымаясь огромными крутыми волнами. Мимо мыса проплывает огромная льдина, забитая народом. Люди на льдине кричат, машут руками, просят о помощи, а мы ничем не можем им помочь. Льдину стремительно уносит в открытое море. Кругом все плачут, особенно женщины. Распустив волосы, они бегут по берегу, пытаюсь чем-то помочь тем, кто на льдине. И вдруг та огромная льдина, развернувшись, стала надвигаться на мыс, на котором мы стоим. Многие из стоявших падают. Льдина их давит. Человеческая кровь крупными брызгами окатывает оставшихся в живых людей...

Меня разбудил душераздирающий крик: «Тонем, братцы, тонем!» Я вскочил на ноги, схватил Леню и оттащил его к противоположной стенке. Это спасло нас, так как в этот момент двухъярусные нары с грохотом рухнули на то место, где мы спали. Все, кто спал на нижнем ярусе, кто не успел соскочить с пола, оказались погребенными под обломками сооружения. Сверху их открытого люка хлестали потоки холодной морской воды. В считанные минуты вода в трюме доходила почти до колен. Десятки людей, придавленные рухнувшими нарами, захлебывались в воде. Об их спасении никто не помышлял. Бортовая качка судна была такой сильной, что устоять на ногах было невозможно. Судно раз за разом ложилось с боку на бок, люди, которые были способны держаться на ногах, вытянув руки, вынуждены были бегать от борта к борту. Огромная бочка-параша, опрокинувшись, каталась вместе с людьми. На огромной скорости она своей тяжестью сбивала людей. Содержание ее плавало в трюме. Этот ад продолжался до самого утра. Никто не знал, что произошло: или мы тонули или случилось еще что-то страшное. Мы видели через люк, что матросы из команды теплохода несколько раз пытались закрыть его брезентом, но следующая волна смывала брезент за борт. Один раз вместе с брезентом в морскую пучину смыло матроса. После этого они уже не пытались

прикрыть наш люк. Все, что находилось на палубе, утащило в море. Когда грузились в Находке, мы видели, что на палубе стояло четыре грузовика, закрепленные стальными тросами на растяжку. Все автомобили смыло за борт. Только к середине второго дня шторм стал стихать. Матросам удалось прикрыть и наш люк брезентом. Потоки воды сверху прекратились. Мы уже не бегали от борта к борту как белки в колесе.

- 179 -

Измученные, мокрые с головы до ног люди не имели возможности даже присесть. Куда сядешь? Трюм-то был залит водой. Так вот и отдыхай, стоя, как лошадь. Да третий день без пищи и воды. Поступило предложение поработать наверху. Желающих оказалось немного, человек 12. Я тоже изъявил желание не потому, что очень хотелось потрудиться, а потому, что надеялся добыть чего-нибудь поесть для моего юного друга Лени. Ему, бедняжке, было совсем плохо. Был он родом из Новосибирска, познакомились мы с ним с Новосибирской пересылке и вместе пошли на этап. Я соорудил ему из досок что-то вроде плавучего плотика, устроил Леню на нем. Отправляясь работать, я попросил одного парня поглядеть за другом.

Выбравшись на свет божий, мы не увидели на палубе ни автомобилей, ни кухни. Палуба была промыта до блеска, только кое-где болтались какие-то морские растения. Матросы объяснили, что это была морская капуста. Работать нам пришлось в машинном отделении. Как выяснилось, во время шторма наша посудина получила пробоину и, продлись непогода еще несколько часов, мы пошли бы на корм рыбам. Нас спас опыт и решительность капитана и механика, которые не растерялись и сумели организовать заделку пробоины «пластырем», что позволило судну держаться на плаву. Откачивая воду из трюма ручными поршневыми насосами, мы узнали и другие новости. Получив пробоину, судно сошло с курса. Все запасы, включая сольерку, были исчерпаны, судно легло в дрейф.

На курс Магадана нас вывел какой-то иностранный военный корабль. Мы, конечно, этого не знали, до нас доходили только слухи. А Магадан, наверное, и не думал о спасении нашего судна. Подумаешь, утонет несколько сот заключенных! Колыма обойдется и без них. Наперекор всему наша «Советская Латвия» все-таки добралась до бухты Нагаево. На подходе к Магадану трюмы стали обмерзать, а значит, начали замерзать и мы. Одежда быстро задубела и, чтобы не оказаться в ледяном скафандре, все вынуждены были беспрестанно двигаться. Но мы не погибли. Заключенные — люди особой породы и так запросто не сдаются костлявой. Второго декабря 1946 года «Советская Латвия» вошла в воды бухты Нагаево. Перед нашим приходом ледокол, который круглосуточно колот лед в бухте, сломался. Высокое начальство решило выгружать «рабочий скот» прямо на лед. Рано утром 2 декабря мы впервые почувствовали что-то твердое под ногами. Мы с Леной попали в первую пробную партию. Лед выдержал, мы прошли. До берега пришлось шагать километров пять. Вслед за нами метров через 200 двигалась вторая партия, потом третья и т.д. Добравшись по льду до берега, мы поднялись в гору, пошагали по центральной улице Магадана — «Колымскому шоссе». Наши пути пересе-

- 180 -

кались с партией заключенных женщин. Кто-то из них спросил с какого мы парохода. Ответили — с «Советской Латвии». Те не поверили:

— «Советская Латвия» затонула!

— Да, затонула, а мы добрались до вас, наши миленькие девочки, пехом.

Женщины рассмеялись, колонны разошлись в разные стороны. Мы — в Магадане.

- 181 -

КОЛЫМСКИЕ БУДНИ

— Раздевайтесь! Быстро! Вешайте вещи на кольца для прожарки.

— А меховые вещи куда?

— Все вешайте, не бойтесь, ничто с вашими мехами не случится.

— Да ведь наши меха-то мокрые!

— Вот и высохнут!

Моечное отделение: ни шайки, ни тазика. Возле кранов столпотворение — каждый, давя других, стремится глотнуть водички. Под душем то же самое. Пока давили друг друга, бегая от крана к душу, время мойки прошло. «А ну, выходи быстрее, размылись! Надо было на свободе мыться, выходи!»

— Банщики — ребята здоровые — отрывали людей от кранов и выбрасывали в раздевалку, «На пересылке намочетесь!» — отвечали нам. — «Подходи по одному, расписывайтесь в ведомости за получение одежды!» — В открытое окно каптерки выбросили связки одежды в комплекте: пара нижнего белья, пошитого из неотбеленой бязи, телогрейка, ватные брюки, шапка «министерская, на рыбьем меху», рукавицы ватные, бурки, тоже ватные, подшитые кошмой. Все, больше ничего не положено.

— А наша одежда где?

— Свой деревянный бушлат получите на прииске. Понятно? Выходи и стройся строго по пятеркам. Живо!

Вечером 18 декабря 1946 года мы выехали из Магадана, направляясь на прииск. Преодолев за 6 суток путь в 640 км, 24 декабря, ночью, мы прибыли на прииск Мальдяк. Мороз -56. Нас принимали надзиратели и лагернаяхозобслуга.

— Хасан, забирай их и веди в палатку № 1.

— Пошли за мной.

В палатке двухъярусные нары располагались не сплошняком, а в виде вагонок.

— Вот тут устраивайтесь, кто где пожелает. Вам повезло, тут тепло. Вон за дверью живет и там же работает сапожник. Вот он и протопил сегодня печь, а завтра сами будете топить, если не хотите замерзнуть. Понятно объясняю?

— Вполне понятно.

— Лады, я — староста зоны. Если завтра утром обнаружу около барака хоть единственный

рисунок на снегу, всех буду бить забурником до потери сознания.

— Товарищ староста, а если рисунок сделает кто-нибудь из соседней палатки, тогда как?

— Не сделает никто другой, кроме вас, я в этом уверен.

Утром познакомились с бригадиром. Его фамилия была Толмачев. Получив паечку 600 грамм, мы направились в столовую. Там не было ни столов, ни сидений, к тому же она не отапливалась. Посуда в столовой была такая же, как

- 182 -

в Магаданской пересылке, изготовлена из консервных банок местными умельцами-жестянщиками. Меню было изысканным, один «супчик» чего стоил: на шестьсот литров воды разварили три ведра соленой колбы, а на заправку шло ведро соленой кильки. Вкус у этой зеленой жижи был «специфический». Надо сказать, что мы приехали на прииск Мальдяк в удачное время: с 20 декабря морозы стояли -56, поэтому тем, кто работал на поверхности, дни активировали и на работу не выводили. Вскоре температура поднялась до -50, наступили колымские рабочие будни.

О буднях потом. Сейчас расскажу о страшном горе, которое пережил в первый год пребывания на Колыме — гибели моего дорогого друга Лени Исаева. Мы познакомились с ним в Новосибирской пересылке в 1946 году. Познакомившись, быстро сдружились. Леня сидел первый год. До ареста он жил в Новосибирске вместе с матерью. Мать его работала в каком-то учебном заведении. Отец погиб на фронте. Ему шел 19-й год. На нары он попал по глупости: связался с уголовной компанией, которая промышляла грабежом квартир. В те голодные годы можно было запросто попасть в криминальную историю. Так вышло, что мы вместе ушли на этап из Новосибирской пересылки. Всю дорогу до Находки держались рядом. Потом были: рубка в Находкинской пересылке, трюм теплохода «Советская Латвия» — все это мы прошли вместе, поддерживая друг друга.

Я к тому времени уже отсидел 7 лет. За это время успел кое-чему научиться, накопил опыт лагерной жизни. Я понимал, что в колымских лагерях жестче, чем где-либо, действовали законы беспощадной борьбы за выживание: сильный пожирал слабого. Таков был закон Севера, закон Колымы. Не зря поется в песне:

Будь проклята ты, Колыма,

Что названа черной планетой.

Сойдешь поневоле с ума,

Отсюда возврата уж нету.

Да! С Колымы вернулись немногие. Примерно, из сотни привезенных сюда каторжан вернулись десять, а может, и того меньше. Кроме того, я знал, что там процветал гомосексуализм. А мой юный друг был очень красивый парень. Я очень боялся, что Леня по неопытности попадет в лапы извращенцев. Поэтому я в меру своих сил и возможностей оберегал его от этой беды. И уберег. А вот уберечь от гибели не смог...

Все началось с того, что Леня задумал бежать из лагеря. Своими тайными мыслями он,

естественно, поделился со мной. Я запретил ему даже думать об этом. С Колымы не убежишь. Но он не послушал моего совета и продолжал в

- 183 -

тайне от меня готовиться к побегу. Однажды, в очередной активированный день я продал свою новую телогрейку за большой кусок соленой кеты и 20 скруток махорки. Все это добро я принес в барак. Кету мы с Леной сразу съели без хлеба. А потом курили до потери сознания, угощали соседей по нарам. После ужина влетел в барак бригадир и сразу ко мне.

— А ну, гаденыш, чтобы брюки сию минуту были здесь!

— Какие брюки? — удивился я.

— Те брюки, что ты продал за кусок кеты и курево, понял?

— Я никаких брюк не продавал, я продал свою телогрейку. Хочешь, пойдём спросим у того, кому я продал ее.

— А, гадюка! Ты еще вешаешь мне лапшу на уши? Ты же меня знаешь. Убить тебя для меня, что муху задавить!

Это был ссучившийся вор. Я его знал еще по Новосибирску. Убить человека для него было все равно, что два пальца замочить. Окончательно остервенев, он выхватил топор из-под матраца и кинулся на меня. Одним ударом топора он сбил меня с ног и долго бил лежачего обухом по спине, по бокам, по ногам. Мой Леня попытался защитить меня, но, получив удар топором по спине, улетел под нары и больше оттуда не вылезал. Вся бригада безмолвно наблюдала эту сцену, но никто не попытался меня защитить. Все боялись бригадира — он один мог поубивать всю бригаду. Он бил меня до тех пор, пока я не потерял сознание. Потом он облил меня холодной водой. Очнувшись, я взмолился:

— Толик, я отдам тебе свои брюки, а надзирателю утром скажу, что брюки у меня украли.

— Какие брюки ты мне отдашь, гадюка?

— Да вот свои, ватные, — проговорил я. После моих слов бригадир замер с поднятым топором.

— Повтори, что ты сказал! — Я повторил. Тогда он сел на нары, вытер пот со лба и проговорил:

— Что ты плетешь? Про какие ватные брюки. Брюки-то потерялись не ватные, а бостоновые.

Тут только до него дошло, что я совершенно не знал, о каких брюках шла речь, а это значит, что я был не виноват. На следующее утро я не смог встать — тело было сплошной синяк, температура за 40. Бригадники утащили меня в санчасть, а оттуда в стационар. Через несколько дней, лежа в стационаре, я и узнал страшную весть о том, что мой дружок Леня Исаев вдвоем с напарником все-таки совершил побег. Но их в тот же день поймали. Леню посадили в шизо, и там он погиб. Его задушили сидевшие в шизо уголовники. Они это сделали для того, чтобы просидеть в тюрьме под следствием всю зиму. А второго беглеца старший надзиратель Моргун заморозил. Он расстегнул у обреченного бушлат, разорвал рубашку и стал обсыпать грудь снегом, наблю-

дая с улыбкой, как постепенно замерзал человек. Он до тех пор обсыпал его грудь снегом, пока снег не перестал таять. А потом труп бросили в запретку, чтобы все видели, что их ожидает в случае побега. Через месяц я вернулся в бригаду и узнал, что брюки, за которые меня бил бригадир, нашлись. Они оказались в наволочке его матраца. Те брюки принадлежали не бригадиру, а его дружку по кличке Квадрат. Когда Квадрата забирали в шизо, он их спрятал в постель нашего бригадира. Поэтому тот и решил, что брюки украли. Этапы, которые длились почти два месяца, пересылки, полуголодная жизнь, последнее избиение сделали свое дело. Я превратился в доходягу, что и определило мою дальнейшую жизнь на Колыме.

МАЛЬДЯК — ДОЛИНА СМЕРТИ

Шесть часов утра, подъем, одеваться не нужно, потому что спать ложились одетыми и обутыми. Иначе нельзя — в палатке стоял невыносимый холод. Палатки не отапливались, не было топлива. Правда, с вечера немного протапливали печи-бочки из-под горячего, стоявшие посреди палатки, протапливали тем, что приносили с работы. Дров на работе не было, поэтому топили в основном аммонитом. Печи протапливали не столько для того, чтобы нагреть помещение, сколько для того, чтобы натопить снегу, чтобы напиться. Несмотря на голод, пить хотелось еще больше, чем сытому. Поэтому когда разжигали печку, все старались быстро натаять снегу и напиться. Снег черпали здесь же, около палатки, другого места не было. Кстати говоря, посуда у каждого была своя: один приспособил котелок, ржавый, прожженный и закопченный; другой — банку из-под консервов, найденную где-нибудь на помойке. Если у кого не было посуды, то он был обречен остаться не только без воды, но и без баланды. Но таких полоротых было мало, всеми правдами и неправдами каждый старался обзавестись так необходимым для жизни черепком.

С водой в зимнее время было плохо. Все реки и озера промерзали до дна. Для нужд кухни воду таяли изо льда. Специально расконвоированный заключенный ломиком колот лед и возил его в зону на лошади. За день один человек успевал обеспечивать кухню и лагерных придурков, а остальные — пей, кто что сможет добыть, а не сможешь — подыхай. Туда тебе и дорога. О том, чтобы помыть руки или лицо, не было и речи. Лицо и руки мыли в бане три раза в месяц.

Я начал свой рассказ с подъема. Вслед за звоном рельсы раздавался рев надзирателя: «Подъем! Подъем, людоеды!» Все вскакивали, хватали свои черепки, устремлялись в «столовую». Каждая бригада старалась опередить другие бригады, чтобы первой занять очередь за баландой у раздаточного окна. На 700-800 человек было одно раздаточное окно. Выскочишь на улицу, а там мороз -50, туман, темень, где-то поблизости слышна невероятная матерщина с грузинским акцентом, раздаются глухие удары. Это Хасан, староста барака, поймал того, кто оставлял рисунок около барака. А провинившийся старался убежать от него, но убежать было не так-то просто. Хасан свою работу исполнял добросовестно. Орудием возмездия служил легкий ломик, с которым староста не расставался. За утро он ухитрялся побить человек десять. Иначе нельзя — такая работа. Не будет бить он — будут бить его. Таков закон жизни на Колыме. Там били все, начиная с начальника лагеря и кончая дневальным в

бараке. Сам начальник «Дальстроя» Никишов на каком-то большом совещании в Магадане заявил: «Устилю забой трупами, но план по намыву золота выполняю». И устились забой трупами каторжников, и государственный план выполнялся.

Но продолжу свой рассказ об одном дне на прииске Мальдяк. После подъема все устремились в «столовую». Она забита людьми — рев, гам, матерщина на все этажи, каждый старался получить порцию зеленой жижи, сваренной из колбы. Но вот получил, проглотил ее через край, все — вылетай на улицу, завтрак окончен. В палатке дневальный вручал тебе 250 граммов так называемого хлеба, испеченного на 50 % из прогорклой ржаной муки, на 50 % из молотого зерна магары. Хлеб, испеченный с примесью этого зерна, был похож на обжаренный кирпич. В два укуса съедал пайку и бегом на развод. Тут не зевай: каждый старался выбраться из палатки первым, ибо последний получал пинок от дневального или бригадира, а то и двойную порцию от обоих. На улице туман, темень, светать начинало только часов в 11 дня. Около вахты выстраивались побригадно и строго по пятеркам. Долго ждем прихода конвоя. Наконец ворота открывались, начинался отсчет строго по пятеркам. Не дай Бог было замешкаться, подойти к выходу, отстав от пятерки. В этом случае начинал действовать дежурный надзиратель. Он хватал бедолагу за шиворот, пинками вышвыривал его за ворота, а там уже бил капитально, ногами, стараясь растоптать лежащего на снегу. В этом деле особенно усердствовал надзиратель по фамилии Капран. Он от избытка чувства ненависти в нетерпении не мог спокойно стоять на месте, а, приплясывая, зорко следил за выходящими и, наметив очередную жертву, бросался на нее с быстротой и яростью овчарки, хватал, тащил, бил, калечил человека. При разводе всегда присутствовали начальник лагеря, оперуполномоченный, врач, которые на все эти зверства Капрана смотрели без всякого интереса. А Капран, избивая очередную жертву, так распался, что от него валил пар, губы его покрывались пеной, глаза наливались кровью. Это был чистокровный садист.

Одной из жертв надзирателя в тот день оказался я. Не знаю где — в столовой или еще где, но я потерял рукавицу с левой руки и, подойдя к нарядчику, заявил ему об этом, показав голую руку. Около нарядчика на снегу лежала куча рукавиц, сшитых из мешковины. Они были приготовлены на такой случай. Нарядчик схватил одну из рукавиц и сунул ее мне. Надзиратель это заметил и быстро подскочил ко мне. Он выволок меня за ворота, одним ударом сбил с ног, а потом уже лежащего долго пинал меня в спину, в живот, в грудь. Натешившись, он отпустил меня. Я кое-как поднялся на ноги и сразу почувствовал страшную боль в правой

стороне грудной клетки. Я постарался протиснуться в середину строя, чтобы вновь не оказаться в руках злодея.

Прибыв на объект, каждый хватал ломик, нырял в шурф и там долбил мерзлый грунт, смешанный с камнями, т.е. бил бурку глубиной не менее 50 см глубиной. Вечером подходил взрывник, замерял глубину. Если 50 см не было, то он взрывать отказывался. Значит, после работы вместо зоны каторжанин попадал в шизо. Это заведение не отапливалось, поэтому при температуре -50 на улице в нем было не выше -40. А утром — опять в забой. После такого

ночлега какой из тебя работник? И ты вновь не обеспечил взрыв, и опять в шизо.

Днем на обед нас водили в зону. Ударили врельсу — сигнал на обед. Я попытался выбраться из своего шурфа. Он был глубиной 6-7 метров. После нескольких попыток, обессиленный, я упал на дно шурфа. Лежу там и плачу: неужели пришел мой конец? Вдруг слышу голос бригадира: «Ты что, сука, там разлегся? Люди ждут, а ты прохлаждаешься, — он бросил мне конец веревки, — Цепляйся скорей!» Я ухватился и он выдернул меня из ямы. Попинав меня для порядка, бригадир предупредил: «Если ты, падаль, после обеда выйдешь на работу, убью, понял?» У нашего бригадира слово не расходилось с делом. Если он говорил, что убьет, то убивал обязательно. За все время, что я находился у него в бригаде, не было ни одного случая, чтобы он не выполнил своего обещания. Сам он убивал редко, не хотел пачкать руки «фраерской кровью». Он просто договаривался об этом со стрелком, который охранял нас. Тот охотно соглашался. Бригадир посылал свою жертву набрать дров для костра, тот выходил за запретную зону, выстрел — нет человека. По этому поводу составлялся акт: убит при попытке бегства. При задержании оказал сопротивление, пришлось применить оружие.

Когда нас гнали в зону на обед, я думал только об одном: не упасть. Если бы я упал, меня тут же пристрелили бы или растерзали собаки. Но я дошел. Еще в дороге я почувствовал, что моя левая рука стала мерзнуть, но отогреть ее я не пытался — не было сил, а потом я перестал чувствовать холод. В лагере, войдя в барак, я снял с руки холщовый мешок, заменяющий рукавицу и увидел, что пальцы левой руки были абсолютно белые. Испугавшись, я побежал в санчасть. По дороге я сунул руку в снег. Снег на пальцах не таял.

В санчасти жарко топилась печь. На печке стоял трехлитровый котелок с водой. Не знаю, зачем «врач» грел воду, но когда я показал ему свои пальцы, он пришел в бешенство, схватил резиновый шланг и начал меня бить. Бил он от всей души, приговаривая: «Что, сука, захотел под расстрел? Так я сейчас это дело оформлю». Потом схватил мою обморожен-

- 188 -

ную руку и сунул ее в котелок с горячей водой. Боль была невыносимая. Когда «врач» вынул мою руку из котелка, она была — один сплошной кровавый пузырь. Потом он пнул меня, и я очутился под порогом. Я был в полуобморочном состоянии не только от страшной боли в руке. Позднее выяснилось, что утром, пиная меня, надзиратель Капран погнул мне два ребра с правой стороны грудной клетки. Поэтому я задыхался от боли в груди.

Через несколько минут явился надзиратель, вызванный врачом.

— Забери его в шизо. Его надо судить за членовредительство, — заявил мой мучитель. Когда мы подошли к шизо, надзиратель велел мне раздеться. Я снял бушлат, он сбил меня с ног и долго топтал, стараясь поглубже закопать меня в снег. Удовлетворив свою садистскую похоть, надзиратель заволок меня в шизо. Раздетый, с раздутой рукой, я очутился в камере, стены которой были покрыты колючим инеем. Дверь захлопнулась, и я услышал голос другого надзирателя:

— Слушай, бушлат-то ему отдай.

— А зачем ему бушлат? Я его хочу заморозить.

— Да сколько же людей ты уже угробил?

— Количество для меня не имеет значения. Я провожу эксперимент.

— Ну и каков результат?

— А знаешь, почти все замерзают в одно и то же время — через сутки, самое большое полтора.

Дальнейший разговор я уже не слышал, оба вышли из барака. «Все, амба», — подумал я. Прижав левую руку к груди, я медленно ходил по камере. Что же мне делать? Разбежаться, удариться об косяк, чтобы раскололся череп? На это у меня уже не было сил. Из левой руки сочилась сукровица и, стекая по рубашке, тут же замерзала. Правая сторона груди горела от страшной боли, и трудно было дышать.

Наступила ночь. Суждено ли мне дожить до утра? Вдруг слышу, что открылась входная дверь, кто-то вошел в барак, шаги приблизились к моей камере, щелкнул замок, дверь распахнулась. Я увидел надзирателя.

— Выходи! — скомандовал он. — Там, в углу, забирай свой бушлат, одевайся и шагай к вахте.

Я думал, что наступил мой смертный час: сейчас меня расстреляют, а труп бросят около вахты в запретке в назидание тем, кто вздумает отлынивать от работы путем членовредительства. Но в очередной раз «костлявая» прошла мимо. Дойдя до проходной, надзиратель отправил меня в бригадный барак.

Бригада была в сборе. Увидев меня, бригадир закричал:

— Алин, собирайся! Мы идем во второй лагпункт. Вот твоя пайка, быстреешь и айда. Конвой ждет нас на вахте.

— Тут он увидел мою левую руку. — Что с рукой?

- 189 -

— А ты что, не видишь?

— Стерва, до чего ты дошел?

— А кто меня до этого довел. Сперва ты у меня полжизни отнял за брюки, которые я в глаза не видел, а вчера пообещал убить, если я выйду на работу после обеда. Что, все не так?

— Я не заставлял тебя обмораживать руку.

— А что мне оставалось делать?

— Ты что, этим хотел спасти себе жизнь?

— Я ничего не хотел! Я уже ничего не хочу.

— Хватит болтать, пошли!

Кто-то из бригадников помог мне одеть оттаявший бушлат, мы вышли в ночную морозную тьму. Командировка находилась от центрального лагпункта километрах в пяти. Часа в два ночи мы

добрались до места назначения. Вся бригада упала на голые нары и заснула. Не спал только я, не находя места от боли в груди и в руке. В шесть утра все поспешили в столовую, а я — в лекпункт. Утренний прием скорый. Очередь дошла до меня. Прием вел настоящий врач, сидевший по делу об убийстве Горького, по фамилии Либерман. Я показал ему свою левую руку, покрытую до самого локтя засохшей кровью, с пальцев свисали обрывки кожи. Врач молчком взял ножницы, обрезал все лохмотья, обтер кровь и сказал:

— Я вас отправлю в стационар центрального лагпункта.

— Еще, товарищ доктор, пощупайте мою грудную клетку, такая боль в груди, что не могу дышать.

Доктор тщательно обследовал меня и обнаружил трещины в нескольких ребрах.

После приема в сопровождении солдата я пошагал обратно в центральный лагпункт. Шли мы на пару: я впереди, боец сзади. Туман — на десять метров ничего не видно — значит, мороз за -50. Солдат мерз в полушубке, а мне в рваном бушлате было даже жарко. Я часто терял сознание, падал на колени. Толчок прикладом в спину возвращал меня из небытия. Всю дорогу я молил Бога, чтобы снова не попасть в руки вчерашнего «лекаря». До войны он работал пожарником где-то на Украине, во время войны служил полицаем у немцев. Вот такой у нас был «врач». Сколько он загубил человеческих жизней, одному богу известно. Даже кладбище у нас называлось его именем — «Куделевскийкатандык». Я не помню, сколько времени мы шли те пять километров, но я хорошо помню, что на вахту нашего ОЛП мы прибыли уже затемно. Войдя в помещение, я упал в обморок. Слышу надзиратель учит моего солдата уму-разуму.

— Надо же тебе дураку, было тащить его на себе, говорил Капран.

— Так он же не мог идти, — оправдывался молодой боец

- 190 -

— Надо было пристрелить его и все дела. Мы бы послали бесконвойников, они бы труп и притащили.

— Откуда я знал, что так можно делать?

— Теперь знай. Стреляй любого и конец. — Капран увидел, что я очнулся, пнул меня в бок. — Идем!

В маленькой грязной клетушке — приемном покое стационара — стояла бочка из-под горячего, наполненная до половины мутной тепленькой водичкой. «Раздевайся, лезь в бочку, мойся». — приказал санитар. «Доведется ли мне выбраться живым из этого стационара?» — подумал я и потерял сознание. Только на десятый день я пришел в себя.

— Ну что, голубчик, очнулся? Молодец! Я не думал, что ты оклемаешься. А теперь, голубчик, потерпи немного, будем удалять все четыре пальчика.

— Товарищ доктор, удалять пальцы не будем, — возразил я.

— Это почему же?

— Я думаю, что можно обойтись и без удаления пальцев.

— Нет, нет, — сказал врач, — никак нельзя не удалять, иначе будет заражение крови: ткань на пальцах проморожена до костей, без удаления нам никак не обойтись!

— Нет, — твердо ответил я.

— Голубчик, насильно делать операцию я не имею права. Не хочешь жить — дело твое. Мое дело предупредить тебя о последствиях.

— Товарищ доктор, я согласие на удаление не даю. Потекли однообразные деньки. Раз в три дня я ходил на перевязку. В стационаре всегда было холодно, поэтому в кабинет врача я ходил, закутавшись в одеяло. Помощник врача без церемоний отрывал бинты с моих пальцев и бросал их в ведро. Эта процедура всегда причиняла сильную боль. Вместе с бинтами с руки сдирался слой сгнившего мяса. Пальцы становились все тоньше и тоньше. Такое лечение длилось несколько месяцев. Наступила весна 1948 года. Наконец, мои пальцы стали покрываться тоненькой пленкой. Бинты уже не присыхали и легко снимались с кисти. Даже врач удивлялся тому, что мои пальцы остались целыми, легко сгибались, рука работала. Только на мизинце верхняя фаланга почернела, а потом, во время умывания она отпала. Не дав тогда согласие на удаление пальцев, я сохранил руку целой. Я оказался прав, а врач ошибался, хотя имел ученую степень доктора медицинских наук. Это тот самый Либерман, о котором я упоминал выше. По национальности он был еврей, спокойный, добрый человек, прекрасный специалист. Многих он спас от смерти.

Само место расположения прииска было гиблое. Старики-якуты рассказывали, что в Мальдякской долине в давние времена погибло целиком якутское стойбище. С тех пор это место якуты стали называть долиной смерти. Одно упоминание о ней на якутов наводило ужас. Они старались всегда

- 191 -

обходить эту долину стороной. Не берусь настаивать на справедливости этой печальной истории, но на собственной шкуре испытал, что эта долина смерти вполне оправдывала свое страшное название.

В декабре 1946 г. нас привезли на прииск Мальдяк 23 человека. Через четыре месяца в живых осталось только трое: Алин Даниил, Дикан Леша, Лосев Саша. К нашему приезду в лагере находилось 800 человек, к весне осталось меньше половины. Такова арифметика. В той долине похоронена не одна тысяча человек — «славных сынов отечества». Основную массу каторжан на прииске составляли люди, прошедшие фронты Отечественной войны. А на фронте многие из политработников часто употребляли слова: «Вперед, славные сыны отечества!» Вот эти славные сыны и оказались за колючей проволокой. Долгое время моим соседом по нарам был Герой Советского Союза Комаров Володя, о котором расскажу ниже.

- 192 -

БУЛЬДОЗЕР

От роду ему было лет шестьдесят. На Колыму он попал еще до войны. Из зеков мало кто знал его настоящее имя, его просто называли Бульдозер. Не знаю, кто первый так назвал его, но по внешнему виду он и вправду немного смахивал на бульдозер: среднего роста, широк в плечах, когда шел, слегка наклоняя туловище вперед, со стороны создавалось впечатление, что он что-то толкал впереди себя. Он обладал огромной физической силой, что и помогало ему выжить и пережить все то страшное и кошмарное, что творилось в советских концлагерях.

Он никогда не болел и не жаловался на свое здоровье. Лишь однажды зимой 1947 года у него что-то забарахлило внутри, и его положили в стационар. В стационаре он пролежал недолго, быстро оклемался и был оставлен при стационаре санитаром. В те тяжелые времена попасть на работу при стационаре было очень сложно. Попадали туда только те, кто имел блат или рекомендацию кума (оперуполномоченного, т.е. был его сексотом. Наш Бульдозер никогда не имел блата и, тем более, никогда не являлся кумовским осведомителем. Я точно это знаю. Обычно тайные агенты кума долго не жили: их быстро распознавали и уничтожали, подловив где-нибудь в укромном месте.

Скорее всего, Бульдозера оставили работать при стационаре за его физическую силу. Когда в палате умирал человек, Бульдозер безо всяких усилий брал труп подмышку, тащил его в морг. А умирало за сутки много. Я не могу назвать точную цифру, но не совру, если скажу — от 5 до 10 человек в сутки.

Больные, находящиеся на излечении в стационаре, лежали на общих деревянных нарах голыми, белья стационар не имел. Да, к слову сказать, белье-то и ни к чему больному, ходить некуда. Параша стояла тут же за дверью. Завтрак, обед и ужин тебе подавали санитары прямо на нары. Так что лежи себе спокойненько и ни о чем не тужи. Срок большой, успеешь умереть. Ну, а если требовалось больному пройти на прием к врачу, то он укутывался в одеяло и следовал в так называемую ординаторскую, или операционную. Врач Либерман, маленький, худенький старичок, недавно освободившийся из нашего лагеря после 12 лет отсидки, осмотрев больного, давал распоряжение помощнику: «Отрезать остатки пальцев на руке или на ноге». Помощник брал обыкновенные сапожные кусачки, откусывал или обрывал остатки болтающихся конечностей и, смазав какой-то желтой жидкостью, кричал в коридор: «Следующий!» «Прооперированный» самостоятельно добирался до своих нар. Все. Операция прошла успешно. Если сможешь, то выживешь, а не сможешь — дело твое.

- 193 -

Покойников из зоны вывозили на быке. Утром их грузили голыми на сани, укладывали аккуратненько штабелем, увязывали крепенько веревкой, чтобы дубари по дороге не «разбежались». Везли умерших за сопку на Колымский Катандык — кладбище и сваливали в шурф. Шурфы были глубокие, копали их впрок, чтобы хватило на всю зиму. В основном вымор шел в зимние холодные времена.

Однажды тот бык сдох. И, естественно, встал вопрос о транспортировке умерших людей. Помощник врача (до ареста он работал налоговым агентом в немецком Поволжье) предложил эту работу Бульдозеру. Бульдозер с этой работой справлялся успешно, получая за свой труд лишний черпак шлюмки и наперсток жиденькой каши.

Каждое утро Бульдозер укладывал свой груз на тяжелые сани и, подтащив груз к вахте, кричал в окошечко вахтеру: «Воз прибыл, открывай ворота!» Дежурный надзиратель выходил

из вахты с большим железным молотком, которым он всем усопшим пробивал черепа. На этом процедура проводов заключенного в последний путь заканчивалась. Свалив покойника в шурф. Бульдозер обязан был заехать на озеро за льдом, погрузить его в те же санки и привезти в стационарную кухню.

Однажды, окончив свой трудовой день, Бульдозер лег отдохнуть и не проснулся. Помощник врача распорядился утащить его в морг до утра, а утром, когда придет врач, они проведут вскрытие. Простых зеков врачи не вскрывали, их болезни и так были всем известны — истощение, воспаление легких, заражение крови или цинга. Но раз Бульдозер был штатным работником стационара, то врачи решили установить причину его смерти. Утром, когда труп был доставлен в стационар, оказалось, что он уже проанатомирован: мясо с костей было срезано, полость живота вскрыта, вырезаны печень, сердце, почки. Таким образом, причина смерти не была установлена, да об этом никто и не горевал. Решили лишь установить, кто же съел Бульдозера.

За моргом был организован негласный надзор и вскоре были пойманы двое мужичков: один по фамилии Апорышев, второй Сергей Лузгин. Их не судили, дали по 10 суток шизо. Но морг перенесли на зону, чтобы другим неповадно было добывать себе пищу ночью, шарясь по моргам. Через 10 суток оба вернулись в зону. Через месяц Апорышева убили воры за кражу сапог. Казнь производилась в нашем бараке. Их было четверо. Они подняли Апорышева на вытянутых руках вверх и ударили четыре раза об пол. К утру казненный скончался. Второй, Сергей Лузгин, дожил до лучших времен, был расконвоирован, работал шофером в приисковом гараже. Я его хорошо знал, разговаривал с ним по поводу того события. Он рассказал, что в морге не одни они «работали», туда в иную ночь собиралось человек пять-шесть, а кто

- 194 -

изрезал Бульдозера, он не знал. Мясо, что удавалось заготовить за ночь, варили и ели сами, меняли на курицу.

Мне довелось работать в одной бригаде с Бульдозером. В то время он еще не трудился в больнице. Был он хорошим человеком, но крайне замкнут, необщителен, видимо, жизнь сделала его таким. Не знаю почему, но ко мне он относился с большим уважением, можно сказать с любовью, по годам-то он годился мне в отцы. Желая хотя бы морально поддержать меня, он часто говорил тогда: «Главное, сынок, не вздумай пойти на помойку. Если человек туда пошел, то он быстро умрет, я за 9 лет много видел таких людей и много видел смертей, так что, слушай, что я говорю и мотай себе на ус. Жалко мне тебя, ты еще совсем молоденький».

Сам он до ареста жил в деревне в Саратовской области. Работал председателем колхоза, был членом партии. В гражданскую войну воевал на стороне красных, имел орден, который ему вручал сам Тухачевский. В 1938 году в разгар посевной кампании его вместе с другими колхозниками арестовали по линии НКВД.

Вот такой случай — жил себе на свете хороший человек и не стало его. Кто виноват? Кто ответит?..

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Своей племяннице Любове Сергеевне посвящаю

В конце марта 1948 г. в нашу палатку зашел вольнонаемный, который объявил, что он является старшим механиком приискового экскаваторно-бульдозерного парка. Звали его Александр Васильевич, фамилия Филиппов. Он сообщил, что на прииске открылись курсы бульдозеристов. Желающие приобрести специальность могли записаться. Все курсанты расконвоировались. Желающих оказалось много, но записывали только тех, кто имел образование не ниже 8 классов. В список попал и я вместе с моим приятелем Володей Комаровым. Занятия начались через полмесяца. Первое занятие проводил механик Александр Васильевич, который тоже отсидел червонец на Колыме. Освободился, но выезд на материк ему не разрешили. Поэтому он вызвал свою жену, которая ждала его десять лет. Изучение трактора мы начали с двигателя. Кроме нас, пятнадцати зеков, на курсах учились вольнонаемные люди, которые прибыли на Колыму после войны. Они во время войны побывали в плену у немцев и называли их — спецконтингент. Они не имели права куда-нибудь отлучиться с прииска, обязаны были отмечаться у коменданта 2 раза в месяц.

Занятия заканчивались в два часа дня, остальное время твое — делай, что хочешь. В лагерь возвращаться очень не хотелось. Решили прогуляться, подышать вольным воздухом. По дороге я встретил знакомого паренька, который уже давно ходил без конвоя и работал в кузнице молотобойцем. Остановились, поговорили, он поздравил меня с первым днем бесконвойного выхода, потом предложил подзаработать. Я согласился. Обогнув несколько отработанных полигонов, мы подошли к небольшому озерку. Мой напарник — Иван Прищепка — ковырнул ногой снег, извлек оттуда ломик и два рогожных мешка. Иван колол ломиком лед, а я складывал лед в мешки. Когда мешки были наполнены, Иван опять спрятал ломик в снег.

— Запомни это место. Найди себе напарника и работай самостоятельно. Я это дело бросил, у меня есть другая возможность подзаработать. Я тебе специально показал это место, чтобы и у тебя был приработок. Теперь пошли.

Мы отправились в вольный поселок. Подошли к одному из домиков, постучали в окно. На стук выглянула хозяйка, мы предложили ей свой товар. Сделка состоялась. За мешок льда мы получили пачку махорки Томской табачной фабрики и мешочек манной крупы. Второй мешок мы загнали в соседнем доме.

Спрятав пустые мешки, я, счастливый, вернулся в зону. В нашей секции был праздник — курили до отвала. А мы с Володей Комаровым наварили полный трехлитровый котелок манной каши! На следующий день, как только кончились занятия, мы с Володей-танкистом (так все звали его) направились к заветному озеру. И так каждый день. Вскоре у нас появились постоянные клиенты-покупатели. Льда на озере было много, торговля наша процветала. Старые бесконвойники курево доставали у геологов. Геологическая партия стояла в трех километрах от прииска, она снабжалась непосредственно геологоразведочным управлением из

Магадана. Поэтому разведчики считались богатыми людьми. Там у них пачка махорки стоила 600 рублей, булка хлеба 200 рублей, а у нас на прииске в три-четыре раза дороже. Вот бесконвойники покупали товар у них, а у нас в зоне продавали в пять раз дороже. Так что, у старых бесконвойников деньги водились.

Однажды шли мы с Володей мимо приисковой столовой. Кто-то нас окликнул. Оглянулись — увидели Хасана, бывшего старосту зоны. Он в то время уже освободился. Остановились, поздоровались. Мы узнали от него, что он работал в столовой поваром.

— Вы что, ребята, на бесконвойке? Желаете поработать? — Он завел нас с черного входа в пристроенный к столовой сарайчик, выдал нам пилу и предложил распилить кучу бревен на дрова. Работа пошла. Часа через два Хасан вынес таз, из каких моются в банях, наполненный с верхом кашей, кусками хлеба, остатками котлет, обломками яичного омлета и т.д. Если бы сейчас меня спросили, за сколько дней я бы смог съесть такое количество еды, я бы ответил — за неделю. Но тогда мы вдвоем этот тазик опростали в один прием. Когда Хасан вновь вышел, чтобы забрать тару, он не удивился. После ужина Хасан опять вынес нам тот же таз, наполненный пищей. На этот раз тазик мы осилить уже не смогли, остатки еды сложили в мешочек и унесли в зону, угостили своих дружков. На прощанье Хасан вынес нам целую соленую кетину, пачку махорки и булку хлеба. Жизнь была прекрасна! Назавтра и послезавтра все повторилось.

Три месяца учебы пролетели быстро. Наступило время держать экзамен. Экзамены принимала комиссия, в которую входили: главный инженер, главный механик, начальник экскаваторно-бульдозерного парка прииска, наши преподаватели. Судя по составу экзаменационной комиссии, можно было догадаться, что руководство прииска придавало большое значение работе наших курсов. Первым сдавал экзамен наш танкист Комаров Володя. Сдал на отлично. Вторым пошел я — сдал на хорошо, а потом все остальные. Короче говоря, экзамены прошли на хорошем уровне. Экзаменационная комиссия была довольна: прииск получил 32 новых

- 197 -

специалиста-бульдозериста. Начальник прииска полковник Бобров решил отметить это событие банкетом. На банкет были приглашены все, кто имел хоть какое-то отношение к этим курсам. Были приглашены и мы, зеки. По этому случаю нам выдали новую одежду.

Гуляли в столовой прииска. Столы ломались от еды, вольные сели за одни столы, зеки — подальше, в уголок, соблюдая субординацию. Спирт разливал сам хозяин, начальник прииска, он первым и поздравил курсантов с успешным окончанием первых курсов. Потом выступали многие. После выпитых стаканов, как полагается у русских, пошли разговоры на равных. Спирт сделал свое дело. Все быстро опьянели. Потом заиграл патефон, начальник прииска пустился в пляс. Потом пели песни. Дошло до того, что хозяин начал всех курсантов и некурсантов обнимать и целовать. Он был пьян. Пир продолжался до глубокой ночи. Некоторые участники банкета, уронив голову на стол, крепко и безмятежно спали, похрапывая в такт музыке дребезжащего патефона. Пора по домам. Я, как староста группы, обратился к хозяину полковнику Боброву с просьбой о том, чтобы он позвонил на вахту и предупредил дежурного надзирателя о нашем прибытии. За появление в пьяном виде нас запросто могли запихнуть в шизо.

— Милые мои сынки! Да я тому, кто посмеет тронуть вас, шкуру спущу, — бормотал хозяин,

обнимая и целуя меня. Потом взял трубку телефона и предупредил вахту. — Сейчас придут люди, это мои гости! Понятно вам? Не вздумайте их обидеть, сукины вы дети, всех повыгоняю!

Он проводил нас немного, потом долго стоял, смотрел нам вслед, продолжая что-то бормотать, кому-то грозить, кого-то ругать. До лагеря мы добирались долго, многие были пьяны вдупель, падали, мы их поднимали, тащили на руках, некоторые пытались запеть песню. Нам было хорошо и весело, любое море нам было по колено: и амнистия нам была не нужна, и Советская власть подходяща, и сроки недлинные. Я впервые в жизни тогда напился и был пьян. Утром мы все были в парке, нас прикрепили к опытным бульдозеристам для стажировки. Я попал к бульдозеристу Ершову Ивану. Мой приятель Комаров Володя был отправлен на участок Верхний Беличан. Я его больше никогда не видел, он погиб там.

После месячной стажировки я все лето проработал на экскаваторе, а осенью, когда были закончены вскрышные работы, а экскаватор отправили на капитальный ремонт в сусуманский ремонтный завод, я оказался на участке Нижний Беличан, попал в бригаду Ивана Гончарова, который был известен своей беспредельной жестокостью по отношению к бригадникам. Наша бригада работала в шахте № 12 (бис), другой работы на участке не было. Меня поставили

- 198 -

помощником бурильщика, тоже бесконвойника. В мои обязанности входило: после работы оттащить буры в кузницу на заправку, а рано утром принести их обратно и спустить в шахту. В течение дня я занимался освещением лавы. В шахте электрического освещения не было, поэтому я набивал трехлитровые котелки мхом, заливал туда солярку, поджигал и расставлял их по всей лаве. И так каждый день. Бурильщик, закончив работу, уходил в зону отдыхать, я же брал буры, относил их в кузницу, потом поднимался на перевал, находил там сухостойное дерево, затем шел в центральный поселок, находил там покупателя, продавал дерево и с заработком возвращался в зону. Часов в 10-11 вечера я ложился спать.

Однажды наш бригадир подпил со своим дружкой и, пьяный, напал на меня с ножом. Я, опередив его, нанес ему сильный удар ногой в низ живота. Он, не ожидая такого отпора, упал, потрясенный ударом. Я вскочил с нар, еще несколько раз сильно ударил его, отобрал нож и предупредил:

— Если ты еще раз прыгнешь на меня с ножом, я твоим же ножом прирежу тебя. Ты понял меня, Ваня?

Инцидент был исчерпан. Вся бригада молча поддерживала меня: бригадир до этого безнаказанно терроризировал всех. Утром бригадир, не глядя на меня, распорядился, чтобы я работал вместе со всеми в забое. Так я опять оказался на общих работах, катал тачку в шахте. Чтобы видеть трап, тачкогоны привязывали к тачке факел — банку, набитую мхом и залитую соляrkой. Главный штрек шахты был длиной метров 200, высота кровли не более полутора метров, во многих местах и того меньше. Вот по этому штреку я гонял груженую тачку. В шахте ничего не видно: вся она была наполнена дымом от горевших факелов. После работы вылезешь на-гора, голова от угара раскалывается, некоторые падали, заходились в кашле, отхаркивая ошметки копоты. Придешь в зону, харю ополоснуть нечем, нет воды. Вот такой была жизнь шахтера на Колыме. Зиму отработал в шахте и — хорош. В награду выдавали тебе деревянный бушлат — это в лучшем случае, а чаще всего голого, с пробитым черепом бросали в шурф. Ты

свое отработал, зато страна получила золото, много золота.

Вскоре меня перевели на поверхность, гонял вагонетку с вынутым грунтом в отвал. Бригадир меня помиловал за то, что я отремонтировал ему сапоги. В шахте — дым, перемешанный с пылью, но зато под землей немного теплее и ветра никогда не было, а наверху мороз за -50 и пурга, бьющая колючим снегом в лицо. Вагонку не бросишь, не побежишь погреться.

Проработал я на откатке месяц и однажды чуть не погиб. Отвал имел небольшой уклон в ту сторону, где вагонетка разгружалась, поэтому откатчики ее не толкали,

- 199 -

она сама катилась по рельсам, а мы становились на раму — один впереди, второй сзади, а, подъезжая к месту разгрузки, стоящий сзади тормозил палкой, заложенной между рамой и чугунным колесом, постепенно снижая скорость до полной остановки вагонетки. И вот мы едем — я впереди, Иван Прищепа сзади. Вагонка набрала скорость, напарник резко нажал на тормоз, палка сломалась, мы продолжали с прежней скоростью нестись дальше. Мой напарник прыгнул, а мне куда было прыгать? Размышлять в то время было уже некогда, одна секунда — и я полетел вниз, за мной грунт, за грунтом рама с коробом. Я приземлился на спину, меня засыпал грунт, а сверху на грунт упала вагонетка вверх колесами. Мой перепуганный напарник кинулся к стволу и начал бить забурником по рельсам — сигнал тревоги. Подбежали стрелки, они все видели.

— А где же человек-то? Ведь летел, а тут исчез. — Сначала они увидели торчащую из-под земли мою правую ногу, потом, подскочив поближе, услышали стон. — Во! — удивились они. — Живой!

Очнулся я в больнице центрального лагпункта в той палате, где уже лежал с обморожением и откуда пошел на слабосиловку. Услышав мою повесть, все больные приходили посмотреть на меня, люди не верили, что я остался жив. А я вот он, голубчик, лежу себе спокойненько и даже улыбаюсь. Везло мне всю жизнь, я уже говорил об этом однажды. Я как-то считал, сколько раз я висел на волоске между жизнью и смертью? Считал, сбился со счета и до сих пор живу. А вот Володе Комарову не повезло. Его ударило концом лопнувшего стального троса, и он скончался в госпитале. Володя провоевал всю войну, горел в танке, тонул, но остался жив, а вот в мирное время погиб. Вечная ему память.

13 августа 1949 года я вышел на работу, а в 10 часов утра из лагеря прибежал посыльный из спецчасти и кричит мне: «Иди быстрее в контору лагеря, получай обходную и сегодня же отправляйся в Сусуман освобождаться». В тот день я не уехал — бухгалтерия не успела сделать расчет. Я решил последнюю ночь переночевать со своими друзьями, бесконвойниками-механизаторами, а утром попрощаться. Утром, часов в десять, мы с Иваном Прищепой покинули прииск Мальдяк. Мы ехали освобождаться, но почему-то нас сопровождал солдат с автоматом. Пока мы ехали эти 45 км до Сусумана, нас три раза останавливали оперпосты. Вот мы в Сусумане, в «столице» западного горнопромышленного управления. Автоматчик ввел нас в зону КОЛПа — Комендантского отдельного лагерного пункта. В спецчасти нам обоим вручили справки об освобождении и указали: Прищепа Иван может идти в милицию, получать паспорт, а я завтра должен явиться в спецкомендатуру, где мне дадут

разъяснение, что делать дальше. Назавтра я явился в здание МГБ, где мне вручили удостоверение личности и приказали ехать обратно на Мальдяк. Опять Мальдяк, опять Долина смерти. Через полмесяца получаю повестку. Прихожу в спецкомендатуру. Там пожилой человек достал бумагу с гербовой печатью и громко прочитал: «Особое совещание при Министерстве государственной безопасности постановило: избрать меру пресечения ссылке до особого распоряжения».

— А когда будет особое распоряжение? — спросил я.

— Когда рак на горе свиснет, — услышал я в ответ. — А теперь скажите, где вы работаете, где живете?

— Работаю в экскаваторно-бульдозерном парке на прииске Мальдяк, живу в общежитии.

Мой ответ он записал и, забрав мое удостоверение, сделал отметки у себя в журнале и в удостоверении. Вот так «освободился» — ссылка на вечные времена!

Так многие тогда «освобождались». Когда я каждый месяц 15 числа приходил на отметку в спецкомендатуру, то там каждый раз стояла очередь человек в 100. А сколько человек еще занимало очередь за мной — не сосчитать! Жизнь моя продолжалась по-прежнему, с той лишь разницей, что раньше я ночевал в бараке, который находился в зоне, а после освобождения я ночевал в бараке, стоящем за зоной. Все жильцы в бараке ходили на отметку за исключением двух человек, которые приехали по договору, оба были членами ВКП(б), но ребята хорошие. Они никогда не кичились тем, что были вольные, да еще коммунисты, а мы зеки. Оба регулярно ходили на партийную учебу, а конспекты по истории партии им писал я — «враг народа». Именно так. Отбыв положенный срок, я в глазах администрации по-прежнему оставался «врагом народа».

В этом я убедился, устраиваясь на работу. Когда я явился в отдел кадров прииска для оформления на работу, мне, как человеку грамотному, с хорошим почерком, предложили место экономиста на втором участке. Я согласился. Быстро написал заявление, без помех подписал его у начальника участка, в отделе кадров. Следующая инстанция — начальник прииска. Я бодро вошел в кабинет начальника прииска полковника Боброва и протянул ему свое заявление.

— Так, хорошо, — кивнул головой полковник, читая мое заявление. — Ваши документы. — Я подал справку об освобождении. Тут случилось неожиданное.

— Давайте паспорт.

— Паспорта нет, только удостоверение. — Полковник долго рассматривал мою справку об освобождении, лицо его окаменело, потом он с ненавистью спросил:

— Выходит, вам не нравится Советская власть, раз вы хотели поднять против нее восстание? Вы знаете, кто я? Я старый чекист, я всю свою жизнь боролся с врагами Совет-

ской власти. Я могу доверить вам только работу дневального в общежитии, другой работы у

меня для вас нет! Вы поняли меня?

— Понял, — ответил я и, схватив свои волчьи документы, поспешил к двери, — до свидания, папаша.

— Почему вы назвали меня папашей?

— Потому, что на банкете вы нас называли сынками.

Вот так встретил меня после освобождения старый чекист полковник Бобров. Я — враг по-прежнему, хотя уже и отбыл наказание, назначенное мне судом. В то время Колымой управляли чекисты. От начальника Дальстроя до самого последнего горного мастера все числились в штате МГБ. Так что таким, как я, ничего хорошего от них ждать не приходилось: живи тихо, не высовывайся, иначе расстреляют. А если не расстреляют, то отправят в шахты, где добывали уран или в Янстрой, где сооружали атомные станции. Конец один.

В конце концов, я устроился в приисковую кузницу и с работой справлялся успешно. Все заказы старался выполнить получше и побыстрее. Молотобойцем я взял своего дружка по лагерю Пескова Васю. Родом он был из Кемерово — земляк. Дело у нас пошло неплохо. Мой Вася приноровился подрабатывать не только себе на хлеб, но и на масло. Под осень, когда кончался промывочный сезон, а план сдачи золота был далеко не выполнен, администрация прииска обязывала всех вольных жителей поселка сдать по 5-10 граммов золота в приемный пункт. Сдавать золото должны были все, вплоть до домохозяек, и никто не интересовался, где ты его взял. Вася собирал старые бронзовые ступки, разбивал их на мелкие кусочки, складывал бронзу в чугунный горшок, ставил его на огонь, через полчаса бронза расплавлялась. Расплавленную массу он выплескивал на земляной пол кузницы, она превращалась в мелкую россыпь, внешне похожую на золотую. Собрав ее, он шел в вольный поселок и продавал все это добро как золото. Так мой Вася помогал выполнять план по добыче золота. Так делали многие, и всем эта афера проходила безнаказанно. Естественно, при химической обработке золота та бронза вся шла в отходы, потом списывалась как естественные примеси. На вырученные деньги Вася брал в магазине свиную тушенку, сахар, чай и все остальное. Мы сильно рисковали: если бы дело раскрылось, то четвертак был обеспечен, могли и расстрелять.

С наступлением холодов промывочный сезон кончался, всю технику ставили на прикол до весны. В кузнице работы тоже сворачивались. Моего молотобойца отправили в лагерь на прииск «Широкий», а я пошел на трактор. Из поселка я уехал в тайгу. Километров за 15 от прииска был участок, на котором работали заключенные — бесконвойники. Они заготавливали дрова для прииска. Меня послали на тот участок. Там был срублен небольшой домишко, где жила бригада

- 202 -

заготовителей. Они получали сухой паек, сами варили по очереди. Я влился в ту бригаду, вместе с ними питался, спал на общих нарах. Жили спокойной размеренной жизнью. Новости были свои, местные.

— Ребята, убили Собашника!

— Это того седого што ли?

— Да, его.

— А кто же его грохнул?

— Вывели троих отказчиков долбить помойку в дивизионе. А охранял их Собашник. Вот они-то и раздробили ему голову ломиком, забрали автомат и ушли. Вместе с ними ушел Якут, а Якут — он уведет людей. Колыма — его родина.

— Молодцы ребята! Его давно надо было угрохать, сколько он людей поубивал, гад!

Собашник — кличка одного из вохровцев, жестокого, хладнокровного убийцы. Когда случался побег, искать беглецов обязательно посылали его. Он старался, колымская стерва, — быстро ловил беглецов, приводил их к лагерю и всех убивал, а потом тела убитых бросали в запретку около вахты, чтобы видели все остальные. Не было ни одного случая, чтобы Собашник оставил в живых хоть одного. Поэтому мы и радовались, узнав о его смерти: собаке собачья смерть. А про тех троих так ничего и не было слышно. Обычно, когда беглецов ловили, то сообщали по местному радио, что сбежавшие пойманы, но при задержании оказали вооруженное сопротивление и были все уничтожены. На сей раз радио молчало. Во время похорон убитого Собашника вся вохра поклялась отомстить за него. И мстили весь год, наверное, не одну сотню людей убили.

В ту зиму у меня произошла интересная встреча, заставившая меня вспомнить 1941 год. Новосибирскую пересыльную тюрьму. Дело было так: ночь, на улице мороз за пятьдесят, в нашей избушке тепло, за стеной мерно тарахтел двигатель моего бульдозера, который я не глушил ни днем ни ночью. Я рассказывал сказку под названием «Приключение стрельца или три диковины купца». Эту сказку я впервые услышал в 1940 году в камере Томской тюрьмы от капитана Колесникова Афанасия Ефимовича. В нашу дверь кто-то тихонько постучал. Дверь мы не запирали, поэтому один из нас ответил: «Входите». Дверь распахнулась, в лачугу вскочили два вооруженных автоматами мужика.

— Не шевелиться! Иначе стреляем! Кто такие?

— Заключенные-бесконвойники.

— Что вы здесь делаете?

— Заготавливаем для прииска дрова.

— Для какого прииска?

— Мальдяк.

— Ночевать пустите?

— Конечно, пустим, какой разговор.

- 203 -

— Андрей, свистни ребятам, пускай заходят, здесь свои. Вошли еще четверо. Начался оживленный разговор, дежурный по кухне, подкинув в печь дрова, начал сооружать чайник. Мы, конечно, догадались кто прибыл к нам на ночлег.

— С какого лагеря ломанулись, ребята?

— Со штрафного прииска Линькова.

Когда они разделись и немного отошли от холода, я сразу узнал одного из них. Это был Андрей по кличке Хромой, с которым я сидел в Новосибирской пересылке в 1941 году.

— Андрей, помнишь драку из-за папирос в Новосибирской пересылке в 1941 году?

— Слушай, малый, откуда ты знаешь о той драке?

— Ты что, не узнаешь меня, Андрей? Я же тот деревенский пацан Данил Алин, который кинулся тогда на тебя с крышкой от парашаи.

— Да ты что! Это же надо повстречаться через столько лет, — засмеялся Андрей, — я бы никогда не узнал тебя. Ты был таким неуклюжим цыпленочком, хотя характер твой мне тогда понравился. Я помню, как ты схватил ту бандуру и кинулся на меня! Помнишь, я долго хохотал, когда ты признался, что хотел убить меня. Ты не испугался меня и сказал правду. Слушай, Данилка, ты что, все еще сидишь?

— Нет, в августе прошлого года я освободился, да что толку-то: выезда нет, дали ссылку на вечные времена. А ты тоже до сих пор сидишь?

— Нет. Я уже освобождался, на свободе пробыл недолго, теперь срок у меня 25 лет.

Он коротко рассказал, как они бежали со штрафного прииска.

— Наша бригада ходила на зарезку шахты. Бригада небольшая, охранников мало. Вот мы и решили сбежать. Однажды утром мы заварили чефир, пригласили в обогревку солдат, которые нас охраняли, решили угостить их чифирчиком. Когда они вошли, мы напали на них, отняли автоматы. Вооружившись, мы построили бригаду и повели всех в нужном направлении, солдат прихватили с собой. Когда отошли от прииска километров на 15, разделились: мы пошли дальше своей дорогой, а остальные вернулись обратно в лагерь. С нами увязались еще двое фраеров. Они не догадывались, что мы их взяли как «бычков». Дошло дело до голодухи, мы бы их съели.

Они держали свой путь на прииск «Калинин», от которого было рукой подать до Бурхалинского перевала, а там проходила центральная колымская автострада, соединяющая Магадан с Алданом. На дорогу мы дали им курево, чай, соль, пять булок хлеба. Попрощавшись, они двинулись в путь. Вскоре прошел слух, что беглецов настигли солдаты и в перестрелке всех убили. Тех убили, а может, каких-то других. В то время побегов было много. А что еще оставалось

- 204 -

делать людям, если сроки тоже у всех были максимальные — 25 лет? Ждать, пока срок кончится? Все равно не дождешься. Многие, потеряв всякую надежду, просто кончали жизнь самоубийством. Если материальная сторона лагерной жизни понемногу улучшалась, то морально все люди были подавлены до предела. В зонах жизнь становилась невыносимой. За любое неосторожно сказанное слово убивали беспощадно. Резня между уголовниками не утихала ни на один день. Всех ссучившихся воров наполовину вырезали, оставшихся в живых

собрали в один лагерь, где они и доедали друг друга. Все прииски превратились в воровские, а разве воры были лучше сук? Такие же людоеды. Идеология у них одна — жить за счет работяг: «Ты подохни сегодня, а я за счет тебя поживу».

Наступило лето пятидесятого года. Я пригнал трактор из тайги, сдал его механикам экскаваторно-бульдозерного парка. Со мной в общежитии жил пожилой человек с французской фамилией Бишеле. За такую фамилию он и отсидел десять лет. Его судили как шпиона, но почему-то не расстреляли. Когда у него закончился срок ссылки, начальник парка согласился его отпустить, но с условием, что он найдет себе замену. Замену Бишеле нашел быстро — я согласился работать вместо него. Так я попал на должность завхоза парка. В сентябре всех ссыльных, обретавшихся на прииске Мальдяк, в одночасье переселили на Сусуманский ремонтный. Через несколько дней Мальдяк был заселен новым, особым контингентом. Что это был за особый контингент? Это были люди, которые строили Челябинск 40. Все: кто строил, кто руководил стройкой, кто охранял стройку, — все очутились на Колыме без права выезда и без права переписки на два года. Некоторые молодые люди пытались бежать с прииска, их ловили и давали сроки 25 лет ИТЛ, 5 лет поражения и 10 ссылки. Вот так: живи и не рыпайся. По Колыме открылись сотни таких приисков. Наверное, кроме Челябинска были высланы люди и с других строек, именовавшихся потом почтовыми ящиками. В те годы «закрывались» не только города, но и целые края и области. Так что, «свободная» страна «процветала».

Пятого марта 1953 года во время обеда в столовой по радио заиграли Гимн СССР. Я выскочил из-за стола и пустился в пляс. «Все! Откинул копыта гуталинщик!» Все выскочили из-за стола и стали обнимать друг друга. Вот так мы встретили известие о смерти грузина. После обеда всех согнали на траурный митинг. Его открыл какой-то полковник МГБ, который сначала что-то плел про всенародное горе, а потом заплакал. После него еще многие, в основном в погонах, говорили про всеобщее горе и плакали. Но наша братия не плакала и не горевала. После митинга все разбрелись по домам.

- 205 -

1956 год. В апреле мы уже слышали о XX съезде, на котором был развенчан культ личности Сталина, но наша комендатура не спешила расставаться с нами. Только в мае хмурый комендант вручил нам справки на получение паспортов. В конце мая 1956 г. я впервые получил паспорт и военный билет. В конце июня на пару с дружкой Жорой мы выехали из Сусумана в Магадан, потом на пароходе «Дзержинский» 11 июля добрались до Находки. Ночевали на вокзале. Ночью я пошел в туалет, а там меня прихватили трое и всадили мне нож в грудь. Нож прошел рядом с сердцем и прорезал легкое на шесть сантиметров вглубь. Очнулся я на одиннадцатый день в больничной палате: ни документов, ни денег при мне не оказалось. По этой причине пришлось мне тормознуться в Находке, чтобы заработать денег на дорогу и снова получить документы.

Ровно через 18 лет ранним декабрьским утром я прибыл в Томск, где жили мои родные сестры. Не доезжая до Томска, я со станции Боготол послал телеграмму сестренке Шуре, в которой извещал о своем приезде. Выхожу из вагона, на улице темно, шесть часов утра. Прошел по перрону немного, вдруг слышу, по радио объявляют: «Алин Данил Егорович, подойдите к справочному бюро, вас ожидают». Мне показалось, что у меня разорвалось сердце. Я остановился, не зная, что мне делать и куда бежать. Перрон уже опустел, мимо меня проходили

последние пассажиры, приехавшие вместе со мной в одном поезде. В это мгновение я увидел мою дорогую сестру Стешу, которая бежала прямо на меня, приглядываясь к каждому проходящему человеку. Когда она подбежала ко мне, я схватил ее за плечи, от потрясения она потеряла сознание, а я, поддерживая ее, растерянно говорил: «Няня! Няня! Очнись!» Я не заметил, как нас окружила большая толпа людей, все улыбались, что-то кричали и каждый старался протиснуться ко мне поближе, пощупать меня руками. С правой стороны какая-то интересная молодая женщина била меня по плечу маленьким кулачком, подпрыгивала и кричала: «Даня, Даня! Ты что, не узнаешь меня? Я твоя сестренка Шура!» Когда меня арестовали, ей шел тринадцатый год, а теперь меня обнимала и целовала тридцатилетняя солидная и очень красивая дама, моя милая сестреночка. Я вижу, как пробирается ко мне огромный мужчина, он старается всех растолкать, чтобы обнять меня, это наш зять — муж моей сестры Стеши. Встречающих было человек сорок. Всей толпой мы ввалились в здание вокзала. Пассажиры не понимали, что это за столпотворение, кого так встречают. Кто-то из наших объявил, что сестры встречают своего брата, который просидел в тюрьме 17 лет. Многие пассажиры кинулись ко мне, чтобы посмотреть, что я из себя представляю, нет ли у меня рогов.

Потом мы вышли из вокзала на площадь. Посоветовав-

- 206 -

шись, решили пойти пешком, городской транспорт еще не работал. Все улыбались, что-то говорили, но никто никого не слушал. Вот таким образом мы дошли до барака, где жила Стеша со своим мужем Сергеем Николаевичем и детьми. Когда мы вошли в квартиру, столы уже были накрыты, это постаралась соседка Юлия Михайловна. Она была моей первой школьной учительницей. Застолье получилось радостным, веселым. Были и слезы, но радостные слезы, от избытка радостных чувств. А люди все прибывали. Квартира уже не вмещала всех родственников, кроме того, соседи тоже хотели увидеть брата их соседки и поздравить ее с его приездом. А потом, как положено, началась пьянка. Пока гуляли, отмечали встречу, меня успели женить и дальше уже вместе со встречей отмечали еще и свадьбу.

Прошло 20 дней нашего гульбища. Сколько можно гулять! Надо же ехать к родителям, которые жили в поселке Берегаево. Вместе с родителями жили еще две сестры. Поехали в аэропорт втроем: Паля, племянница, жена и я. Три дня не могли улететь в Берегаево из-за плохой погоды. Улетели только на четвертый день.

Прибыли в Берегаево. Самолет приземлился среди заснеженного поля, открылись двери, мы выбрались на волю. Я оглянулся, вижу — бегут две женщины. В одной из них я сразу узнал старшую сестру Анису. Она споткнулась, упала в глубокий снег, встала, побежала опять, стараясь догнать бегущую впереди молодую женщину. Когда они подбежали к нам, я не узнал ее. Это была моя младшая сестра Галя. Когда меня арестовали, ей шел всего седьмой годик, а когда я вернулся, ей было уже 25. У нее было уже двое детей. Обе сестры бросились ко мне, обнимали меня, целовали. От радости у нас перехватило дыхание, слов не было. Мы молча смотрели друг на друга, смеялись и плакали одновременно. Потрясенные встречей, мы пошли в поселок. Сестры вели меня под руки, жена шла впереди. Когда шли по улице, нас встречали знакомые и незнакомые люди, спрашивали: «Ну что, дождались брата?» Сестры улыбались, отвечали: «Слава Богу, дождались!» Наконец я увидел маму! Она шла к нам навстречу под ручку со своей родной сестрой, тетей Лизой. Опять объятия, поцелуи. Подошел тятя, я обнял всех троих: 18 лет не виделись. Господи! Какое это счастье, что все вновь встретились! Не успели войти в дом, как

он наполнился народом — шум, гам, мама суетится, не знает куда меня посадить, восклицает: «Бог послал нам второе солнышко!» Столы давно были накрыты. Сели за столы, первый тост сказал тятя: «Ну, дорогие мои дочки, дождалась вы своего брата...» 40 дней и 40 ночей наш дом гудел: пели песни, звучала музыка, была и пляска — все было! Слава нашему Господу Богу Иисусу Христу, спасителю всего человечества!!! Аминь...

Письмо П.М.Пластининой¹ в *Томское областное историко-просветительское общество «Мемориал»*

Прочитав статью «Голоса павших — совесть живых» в газете «Красное Знамя», я решила написать о своем отце, который был арестован в 1930 году, совершенно неизвестно, за что и расстрелян в Томской тюрьме.

Жили мы в деревне Каштаковой Зырянского района Томской области. Дедушка Гавриил Константинович, бабушка Екатерина Григорьевна, отец Алин Михаил Гаврилович, мама Ольга Ивановна и нас, детей, было семь человек. Старшему, Ване, было 17 лет, он окончил семилетку в Кольоне, я училась в седьмом классе, мне было тринадцать лет, все остальные дети были еще маленькие. В 1928 году отец начал организовывать в деревне Каштаковой товарищество по совместной обработке земли, его и избрали председателем этого товарищества. Объединились в товарищество десять дворов, обобществили рабочий скот, лошадей, объединили коров, сельхозинвентарь. Проработав год, образовали коммуну, мой отец опять был ее организатором. В 1930 году началась чистка, и моего деда исключили из коммуны. Все хозяйство, скот и инвентарь остались в коммуне. Потом отца лишили прав, нас выгнали из дома. Все что было — отобрали. Дед и бабушка не выдержали этого — умерли, а отца арестовали и увезли в Томск, в тюрьму. Вся наша семья осталась совершенно без средств к существованию. Жили в какой-то избенке на задворках, родственники нам кое-чем помогали.

Меня моя мама послала в Томск искать отца. Я приехала туда на пароходе «Тоболяк» - и пошла искать тюрьму, где заключен мой отец. Отыскала несколько каменных изоляторов по Иркутскому тракту, но сколько я ни просила тюремщиков дать мне свидание с отцом, никто мне не отвечал. Так я ходила вокруг ограды этих изоляторов целых две недели. Ночевала я на железнодорожном вокзале, а утром опять стояла у ворот тюрьмы. Из разговоров таких же горемык, которые также хотели узнать судьбу своих родных, я узнала, что скоро одних заключенных будут гонять на разгрузку леса на реке Томь, а других — на Каштак. Это место, где

¹ Полина Михайловна Пластинина — двоюродная сестра Д. Е. Алина, живет в г. Братске.

- 208 -

заключенные копали себе могилы. Однажды, как обычно, я сидела у ворот тюрьмы. Вдруг открылись ворота, и стали выводить по пятеркам заключенных. Первая партия прошла примерно в тысячу или восемьсот человек, вторая — то же, третья партия — то же, в четвертой партии в четвертой пятерке я увидела своего отца, рядом с ним шел наш чердатский священник Клавдин Сергей Федорович. В этой же пятерке был Алин Кузьма Иванович — наш каштаковский мужик — вечный батрак. Я сразу же побежала за этой партией заключенных. Их погнали к реке Томь. Они шли по гати, а я сбоку лезла по болоту. Конвоиры мне грозили и даже стреляли для острастки в воздух, но я лезла. И вот я на берегу, а заключенные на плоту разгружали лес. Я

увидела своего отца и попросила охрану, чтобы дали свидание. У меня было зашито золотое кольцо в пояс. Я сняла пояс, распорол его, достала кольцо и дала его начальнику конвоя. Тогда он мне разрешил свидание с отцом. Когда мой отец сошел на берег, он взял меня на руки и сказал, что его обвиняют в том, что он агитировал против Советской власти, статья 58 п. 10. Он просил меня, чтобы я вернулась домой и собрала подписи односельчан, подтверждающих, что он никогда не занимался агитацией, а наоборот, всегда был за Советскую власть. Нужно было собрать пятьсот подписей. Отец мне говорил, что их очень плохо кормят и сильно бьют на допросах, заставляют признаваться с тем, чего они никогда не делали. Потом конвоиры прервали свидание и меня прогнали с берега. Один пожилой мужчина из заключенных стал кричать мне: «Вот, дочка, все мы здесь сидим совершенно ни в чем не виноватые, а нас истязают и морят голодом. Дочка, расскажи всем!» Я всю жизнь помню этих страдальцев.

Я пошла на пристань и уехала на пароходе домой. Мы с мамой ходили по деревне Каштаковой, Малиновке, собирали подписи людей, которые знали моего отца. Когда я вернулась в Томск с этими подписями, я спросила, как мне увидеть отца. Мне в тюрьме ответили: «Михаил Гаврилович Алин убыл». Я спросила, куда, но мне не ответили, а люди, которые тоже искали своих родных, сказали: «Иди на Каштак, их возили туда ночью и расстреливали». Действительно, там были свежие могилы, но кто в них захоронен, никто не знал. Где мой отец, я до сих пор не знаю.

Наша семья бедствовала. Мама болела, дети разбрелись, кто куда. Двух девочек — Лену и Алю — я посадила в поезд и они уехали, я до сих пор ничего о них не знаю. Двое маленьких умерли с голода, мне пришлось очень долго скитаться, чтобы как-то уцепиться за жизнь, потому что без документов и без средств было невозможно. Я очень прошу, может быть, в архивах вы найдете, где погиб мой дорогой отец.

- 209 -

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Милая Полина! Твое письмо, такое неожиданное, хотя я искал тебя долго, я сначала читал вслух всей моей родне, а потом каждый перечитывал про себя. И мы единодушно переживаем то горе, ту катастрофу, которые обрушились на вашу семью в начале тридцатых годов.

А уж я-то, наверное, раз сто перечитал твоё письмо, и все никак не могу успокоить свою душу, каждый раз рыдаю. Такой уж я, Полина, уродился, что близко принимаю к сердцу горе других, с детства глубоко страдаю от всякой несправедливости, от жестокости людей друг к другу. Да и собственное горе — 17 лет по «сталинским» лагерям! — обострило мое сердце на чужую боль. Там, за колючей проволокой, мне пригодились мои юнкоровские навыки — я никогда не отказывал людям, чтобы написать жалобу в «высшие инстанции» и просьбы о смягчении участи. У меня было даже лагерное прозвище — Адвокат. И что ты думаешь, бывало не раз, что эти хлопоты увенчивались успехом.

Недавно я съездил в Томск, читал твоё письмо моим родным, твоим двоюродным сестрам (богатый я человек: четверо сестер у меня!) И все они тоже плакали, особенно над тем, как после ареста и расстрела твоего отца, а нашего дорогого дяди Михаила, трое твоих младших сестер и брат болели корью, а у вас с матерью не было ни еды, ни лекарств, ни денег...

И как двое малышей умерло, а двух сестреночек, Лину и Алю, ты по решению матери увезла в

Томск, посадила в вагон (без денег, без документов — ничего ведь не было) — и отправила в неизвестность, в расчете на милость судьбы и доброту людей.

Господи, кто же ответит за эти наши нестерпимые муки! Нет и не будет вовеки прощения виновным и в этом ни от нас, ни от наших потомков!

И ведь подумать, даже в лагере мы поначалу думали, что главный виновник репрессий — Берия и его сподручные, а что Сталин ничего этого не знал. А вот недавно я прочитал роман писателя Рыбакова «Дети Арбата». Он сам был репрессирован, ему можно верить. Так вот выходит, что Сталин все знал, что творилось с нами, со всем народом. Да и документальных публикаций теперь много об этом же. Что же это такое было, Полина? Ведь это же хуже фашизма! Одним я только утешаю себя — что дожил до времени, когда правда вышла наружу и восторжествовала.

Ты спрашиваешь, Полина, почему ликвидировали такую прекрасную деревню, как наша Каштаковка, после вашего отъезда оттуда. Я побывал уже после освобождения в тех

- 210 -

местах, понаблюдал, поговорил с оставшимися людьми и вот к каким выводам пришел.

По существу уничтожение нашей замечательной деревни, где нашим предкам так хорошо жилось не одну сотню лет, началось еще в 20-е годы. А тридцать первый год нанес ей сокрушительный удар. Почти треть ее жителей, в основном молодые мужчины — отцы семейств, хозяева земли, были расстреляны или сосланы в лагеря. Остались старики, женщины с детьми, больные. Они были не в состоянии вести даже небольшие личные хозяйства, не то что целый колхоз. К тому же после ареста дяди Михаила, твоего отца, к руководству колхозом пришли люди, которые трем свиньям не могли поровну разлить. Вот наша деревенька и стала приходить в запустение. Дома репрессированных были разобраны на бревна и либо увезены в поля для строительства культстана, либо пошли на топливо. Оставшиеся дома уныло торчали на семи ветрах. Молодежь начала исчезать из Каштаковки в поисках лучшей доли, не стало слышно песен, прекратились хороводы. Да и то сказать, чему же было радоваться тем немногим, кто еще оставался в деревне?

А в вашем замечательном, большом доме, Полина, с которым у меня связано столько светлых воспоминаний, были поселены худые люди. Ты помнишь их, наверное: бездельник Варфоломей, что жил раньше за вашим огородом в избушке, и Марья Дорофеевна, ее еще звали просто Марьюшка. Ее-то ты должна помнить: после ареста отца вас, восемь человек, переселили именно в ее избенку, известную всей деревне как забегаловка. Там по вечерам и ночам собирались бездельники и пьяницы. Это переселение произошло до моего с отцом ареста, я хорошо помню все это.

И вот именно этом-то людям и доверили колхоз и всю советскую власть в Каштаково! Да они с одним вашим домом-то не могли управиться! Пожгли на топливо все сараи, баню, взяли за крыльцо. Хорошо, что наш тятя вступился за ваш дом на правлении, и туда решили переселить школу. Старая-то, что стояла на горе, пришла в негодность. Так вот и было сохранено еще несколько лет ваше родное гнездо и послужило еще доброму делу.

Ну, а 1937 год доконал нашу Каштаковку. К 1964 году, когда я туда приехал, в ней осталось 5-6 жилых дворов да десяток уже брошенных — и все. Обрадовало меня только то, что сохранился

дом Федора Ильича — он по дяде Федору Михайловичу приходился нам дальним родственником. В этом доме жили жена Федора Ильича Марья Васильевна с дочерью Ниной. Я остановился у них, пожил несколько дней. А еще через год приехал — и тех домов нет, а на их месте шумит сплошной бурьян.

Вот так, Пана, исчезла с лица земли наша родина, наше теплое отчее гнездо...

- 211 -

ПИСЬМО ВТОРОЕ

... Расскажу, Полина, о моем брате Феде.

После окончания школы сельской молодежи (она была в Колыоне) Федя начал работать учителем в Дубровке Зырянского района. Но с учительской работой у него что-то не заладилось, и он поступил учиться в лесотехкомбинат в Томске. Он уже заканчивал учебу, когда администрация сделала запросы на всех студентов о их социальном происхождении. И вот на запрос о Феде приходит в Томск бумага, что его отец — кулак и бывший белогвардеец, а мать — дочь купца. Но так как Федя учился очень хорошо, то директор вызвал его, милостиво вручил диплом еще до окончания и посоветовал убраться на все четыре стороны.

И Федя убрался. Долгое время мы ничего не знали о нем. Но однажды от него пришла посылка и в ней письмо. Оказывается, он в это время жил в Свердловске. Потом опять года два от него ничего не было. А в 1935 году, в сентябре, пришла казенная телеграмма из города Бодайбо, в которой сообщалось: «Ваш сын умер», и больше ничего. И подпись «местком».

Мы тогда много писем написали в Бодайбо, просили сообщить об обстоятельствах его смерти. Но через год пришел только перевод на 200 рублей — и все.

Ну, а теперь напишу и о себе. В 1939 году я заканчивал школу в селе Чердаты, так как в Каштаково средней школы не было. И вот 13 сентября меня вызвали в кабинет директора школы, где находилось пятеро незнакомых мне людей, одетых в серые плащи с блестящими пуговицами. Мы уже знали, что это за плащи. Где они появлялись, назавтра многих людей[^] не досчитывались — исчезали навсегда.

И вот, по-видимому, старший из них обратился ко мне: фамилия, имя, отчество? Где проживаю? Повели меня на квартиру, где я жил, перетряхнули все мои вещи — да у меня и вещей-то почти не было. Так, деревянный ящичек с книгами, школьными тетрадями, несколькими журналами. И был у меня дневник, куда я записывал все события моей жизни, а также свои стихи и рассказы. Я ведь неплохо писала был деткором «Пионерской правды», кое-что было уже напечатано. Вот за этот дневник они и ухватились. Потом повели меня к сельсовету. Там стояла грузовая машина, как сейчас помню, ЗИС-5. Один из серых плащей велел мне залезать в кузов и лечь на дно.

Когда я влез, то увидел... что на дне кузова уже лежали мой отец, наш дальний родственник Федор Ильич и наш односельчанин Савелий Степанович — ты, Пана, должна бы помнить его. Ближе к кабине, на скамейке уселся конвой с револьверами, направленными в нашу сторону. Вот тут я и

ощутил со страшной горечью, как рвется окончательно вся наша жизнь, которая так хорошо начиналась. (...)

Потом нас с другими несчастными людьми, попавшими в эту страшную волну, везли в ужасном «столыпинском» вагоне, и привезли в Новосибирск, во внутреннюю тюрьму НКВД. Тут меня разлучили с отцом и односельчанами, поместили одного в холодный подвал — а ведь уже была осень.

И начались допросы, на которых меня несколько раз избивали до потери сознания, а потом раздетого догола бросали в подвал. На ночь в камеру зачем-то, наверное, для издевательства, затаскивали гроб, да-да, Полина, настоящий гроб, из толстых нетесаных досок. Дно-то ведь у гроба узкое, а к ногам еще суживается, спать в нем было очень неудобно, но все же лучше, чем на каменном полу, покрытом какой-то бурой плесенью.

Утром этот гроб зачем-то уносили, приносили 300 г хлеба и алюминиевую кружку холодной некипяченой воды. Потом двери закрывали, и я до вечера в мертвой тишине приплясывал, чтобы как-то согреться и не сойти с ума. А вечером опять приносили хлеб, воду и гроб.

Просидел я в этом подвале полтора месяца, потом перевели в одиночную камеру, потом в общую — так два года. За это время меня судили три раза, но на всех процессах я в пух и прах разбивал все их ложные свидетельские показания и хитросплетения. И все-таки на четвертый раз меня осудили. Прокурор просил для меня расстрел, но судья почему-то заупрямился и дал мне 18 лет концлагерей. Нет сил вспоминать, Полина, и главное — за что все это? Ведь совершенно не за что!

Вот так я очутился в Новосибирском концлагере. Всю войну работал на авиационном заводе им. Чкалова, а после войны, в 1946 году, меня выслали на Колыму, где я пробыл 10 лет, т.е. до 1956 года. И если бы не двадцатый съезд партии, я не уверен в том, вернулся бы я живой на родину.

Вот, Полина, в общих чертах все, подробнее — и тысячи писем не хватило бы описать. Десятки раз висел я на волоске от смерти, и ты права, что удивляешься, как это я выжил, когда тысячи людей погибли в этих лагерях. Я и сам не перестаю удивляться, что все еще живу на белом свете после всего, что довелось пережить. Мне 65 лет, но люди не удивляются, если я говорю, что 75, не удивятся, если скажу, что и 80. Если собрать все мои болезни, получится целый букет медицинских слов: холецистит, дуоденит... Вот уже три года я ем только хлеб, чай, манную кашу на воде и овсяный суп с курицей. Но — живу! Всем нашим врагам назло! И надо нам жить, Полина. Хотя бы только для того, чтобы вспоминать тех, с кем начиналась моя счастливая жизнь, тех, с кем прошел потом страшный путь страданий.

Полина, сестрица, ответь мне на следующие вопросы, которые не дают мне покоя. Известна ли тебе дальнейшая судьба Лины и Али, отправленных тобой в 37-м году на произвол судьбы? Неужели они так и канули в неизвестность? Еще: когда умерла тетя Ольга Ивановна, твоя мама, наш золотой человек? Я вспоминаю ее всю жизнь. Напиши подробнее о твоей единственной

оставшейся сестре Людмиле — где она и как живет?

Как хочется взглянуть на тебя, Полина, не только на фотографии. Я помню тебя такой, какой ты была почти 60 лет назад. Правда, судя по фотографии, характер у тебя остался прежний — решительный и в то же время веселый. Что же, Пана, сделали с нашей жизнью?

- 213 -

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Здравствуйте, наши родные, сестра Полина с семейством!

Получил твое письмо, Полина, не прочитал, а прожил его. И снова у меня появилось еще больше вопросов. Думаю, и тебе будет интересно повспоминать о нашей далекой прошлой жизни.

С твоим братом Валентином мы были друзья, и я много времени проводил в вашем доме. Зимой мы играли с утра до вечера, да и ночевал я часто у вас.

Так что картины вашего большого семейного дома живы в моей памяти. Спали мы с Валею на полотах или на русской печке. Это было наше любимое место.

Однажды зимой, наверное, на рождество, у вас в доме было большое торжество. Тогда ведь люди и работать умели, и праздновать тоже. Народу съехалось много — родня, знакомые. Дом-то у вас был огромный: прихожая огромная, комната направо, а еще дальше через дверь еще такая же, а еще дальше — огромный зал. И все это было занято гостями! И все были веселы, рады друг другу и жизни, празднику. Целый день в доме кипели веселые застолья — с воспоминаниями, рассказами о прошлом и об отсутствующей родне. Потом начались песни, пляски — кто во что горазд! И старики, и молодежь — все вместе.

А мы с Валею лежим на полотах, все видим и слышим, все в себя впитываем... Помню такой случай. Ты, Пана, в шутку кому-то из парней — помнится, Дмитрию, брату Игнатия Васильевича — зашила на швейной машине рукав у тужурки, пока он спал, выше локтя. И вот под вечер, когда местным, не приедем гостям пора была расходиться по домам, Дмитрий сунул руку в зашитый рукав. Как все смеялись!

- 214 -

А однажды утром, когда все гости и хозяйева заспались, по нашему с Валею мнению, мы устроили адский концерт: я на тазике, а он на жестяном ведре. И вот выходит твой старший брат, Иван Михайлович, — и пустился в пляс под «эту музыку»! Вошла твоя мама, Ольга Ивановна, и с улыбкой наблюдала за нами. Никогда я не видел ее злой или хотя бы сердитой! Она нам позволяла и прощала все наши кордебалеты. Понимала: молодые мы, и пошуметь и подурить хочется.

Но помнятся мне и другие, уже лихие времена. Вы уже живете далеко от нас, в доме Григория Агузанова, в одной половине, а в другой какая-то слепая старушка. Я в то время каждый день бывал у вас. Иван Михайлович, твой брат, которого я тоже очень любил, почему-то скрывался в

лесу, и я все ждал, что он вот-вот выйдет из-за деревьев. А потом вы и вовсе уехали в Каштаково. И я скучал по вам всю жизнь! Все мечтал, что друг мой Валя живой и что мы хоть под конец жизни встретимся с ним.

Приезжал я как-то глубокой осенью со своей матерью к вам в Колыон на лошадях. Помню, как ты прибежала к нам на квартиру — раскрасневшаяся, запыхавшаяся. Ты была красивая девочка, тебе ведь было тогда лет 12-13. Как ты меня обнимала и целовала! Видать, и тебе помнились счастливые годы, когда я был вашим даже не гостем, а настоящим домочадцем. Потом ты с братом Федей провожала нас...

Домой мы вернулись, как ни спешили, уже по первому снегу. А на следующий день рано утром к нам кто-то постучался. Это был твой брат Иван Михайлович. Я не спал, но притворился спящим и слышал его разговор с отцом. Не все я понимал, но уловил, что речь шла о тревожном, уловил и страшное слово — ОГПУ. Особенно страшным оно было для жителей нашей Каштаковки — ведь деревня наша считалась чуть ли не повстанческой, якобы оказала сопротивление в гражданскую войну пятой армии, которая шла по пятам отступающих колчаковцев. В общем, после этого темного осеннего утра я никогда больше не видел этого прекрасного человека — Ивана Михайловича. Пусть будут прокляты его убийцы!

- 215 -

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Милая сестрица Полина! Ты спрашиваешь, виделся ли я после ареста со своим отцом. Представь себе, что я виделся и даже посчастливилось мне еще 11 лет пожить с ним вместе. Вот как все было.

Месяцев через пять после моего ареста мне сменили следователя. Новый следователь уже не дубасил меня каждый день, следствие вел по-человечески. Это, Полина, очень важно не забыть нам всем, что и среди работников ГПУ встречались порядочные люди и сколько жизней и судеб они если не спасли, то хоть немного облегчили — часто ценой своей собственной жизни и судьбы.

И вот однажды вызывает он меня на допрос и говорит, что я могу написать письмо домой и попросить выслать мне вещевую посылку, так как я был арестован летом, а теперь была уже зима. Дал он мне ручку, бумагу, предупредил даже, чтобы я в письме ничего лишнего не писал.

Через месяц опять вызывает меня. Я вхожу в его кабинет, вижу на столе запечатанный ящик — посылка. Следователь (вот забылась его фамилия — не могу простить себе!) взял нож и вскрыл посылку. На самом верху лежало письмо. Он, к моему удивлению, сразу отдал его мне, даже не просмотрев предварительно. Это было письмо от тяти! Я заплакал, а следователь начал рыться в своем столе, будто ничего не замечая. Значит, понял я, тятя дома. Подумалось, что выпустили Федора Ильича и Савелия Степановича, с которыми мы с отцом проделали путь в том грузовике под дулами револьверов. Но, как выяснилось потом, выпустили только моего отца, а при каких обстоятельствах, это, Полина, целая отдельная история.

Ну, а встретиться с отцом и со всеми моими родными мне удалось только после XX съезда партии, когда развенчали культ Сталина и осудили его за массовые преступления против нас, народа.

Вот как все это было, Полина. В декабре 1957 года возвращался я с Колымы в родные места. На станции Боготол в поезд вошла почтальон, принимала телеграммы от пассажиров. Ну, и я отправил в Томск телеграмму на имя моей младшей сестры Шуры: дескать, завтра рано утром приезжаю, целую, Данил. Телеграмма моя пришла к сестре в 2 часа ночи. Шура, не помня себя от радости, полуодетая побежала к другой сестре — Стеше. А еще через полчаса вся моя томская родня была на ногах. В том же бараке, где жила Стеша, жили четыре наши тети: Лора, Лиза, Гена и Маруся. И у каждой было по несколько детей — моих двоюродных братьев и сестер, которые уже родились и выросли без меня. В общем, весь барак загудел, как улей, кто плакал, кто

- 216 -

смеялся, стали спешно думать, как меня встречать. Додумались даже о букете из живых цветов. А на дворе-то — 3 декабря, мороз 40.

И вот в пять часов утра вся эта гурьба моих родных людей двинулась пешком на вокзал, благо, было близко. Поезд подошел к вокзалу в 6 часов утра. Было совсем темно, конечно. Я специально вышел из вагона последним, боялся в толпе встречающих и приехавших не узнать своих. Ведь я не видел их 20 лет. А многих вообще не видел. Да и они — узнают ли меня? Ведь не с курорта я возвращался. И страх был даже где-то в уголке души: как-то меня встретит моя родня?!

Ну, одно из моих опасений подтвердилось. Мы не узнали друг друга. По почти пустому перрону я через ворота стал входить в город. И вдруг услышал по радио: Алин Данил, подойдите к справочному бюро, вас ожидают!..

Мне показалось, что у меня остановилось сердце. Я встал, как вкопанный, и не могу идти. Но радио вновь повторило это же сообщение, а я все продолжаю стоять. Вокруг меня несколько раз пробежали какие-то люди, видимо, тоже кого-то разыскивали. Они внимательно присматривались ко всем, а на меня не обращали внимания. И вокруг я увидел, что прямо на меня, но не узнавая меня, бежит женщина — и в ней я узнал свою дорогую старшую сестру Стешу. И только когда я кинулся к ней и обхватил ее, она узнала меня и обвисла у меня на руках, как будто даже потеряла сознание. Пока я пытался привести ее в чувство, меня обступили все эти люди, человек сорок, моя незнакомая мне родня. Все тянулись ко мне, в темноте всматривались в меня, старались прикоснуться ко мне. А справа пробивалась ко мне какая-то солидная дама, в шикарном, по тогдашним моим понятиям, пальто с чернубурой лисицей. Она трясла меня за плечо и сквозь слезу кричала громко: «Даня, Даня! Ты что, не узнаешь меня? Я твоя сестра Шура!»

Окруженный этим плачущим и смеющимся родственным хороводом, я не помню, как дошел до квартиры Стешы. Там уже были накрыты столы — это постарались Стешины соседи. Кстати, одна из них оказалась моей первой учительницей из Каштакówki.

И начались рассказы, воспоминания, и смех, и слезы... Вот, Полина, какая награда была мне за все эти двадцать лет мучений и одиночества! Это еще не все...

Прожил я в Томске с полмесяца, немного отъелся, отдохнул душой среди моей дорогой родни. И самолетом отбыл в поселок Берегаево, в леспромхоз по реке Чулыму, не доезжая Тегульдета. Там в аэропорту меня встретили сестры Аниса и Галя, самая младшая, В тридцать втором, когда

меня арестовали, ей было только 7 лет. Снова были слезы и крики радости. Обвешанный своими сестрами, шел я по

- 217 -

поселку до того дома, куда всей душой стремился все эти страшные десятилетия. И вот знакомый поворот — я увидел, что навстречу мне идет моя постаревшая, исстрадавшаяся за меня мать, а в стороне растерянно стоит отец...»

Вот, Пана, ты говоришь мне, что я настоящий писатель. А я вот не могу описать все это, эту нашу встречу. Глаза моих родителей, их слезы, их ласковые слова — нет для этого у меня слов!

А вокруг стояли наши родственники и соседи, ждали своей очереди поприветствовать меня, обнять, познакомиться, сказать добрые слова. Постепенно наш дом стал наполняться людьми, с которыми мне теперь предстояло жить. В доме становилось все шумнее, и мне этот шум казался настоящей музыкой, эталоном человеческой радости и любви друг к другу. Много раз там я предвидел эти встречи, но что все произойдет именно так, я не предполагал. Ну разве я не счастливый человек, Полина, несмотря на страшное и незаслуженное испытание?

Вот только жаль, что с тобой мы так недавно, под конец жизни разыскали друг друга!

- 217 -

ПИСЬМО ПЯТОЕ

Здравствуй, дорогая Полина. 20 марта получили от вас письмо, где сообщается, что все в семье благополучно, а то я уже забеспокоился. Я вожу твои письма, Пана, в Томск, читаю всей родне, так что они все о тебе знают и любят тебя, как я, по-родственному. Когда я читаю твои письма, они часто восклицают: как хорошо она пишет! Наверное, она очень грамотный человек! Да, говорю, Полина умный и грамотный от природы человек, такой ум учение только развивает, а не создает.

Об этом же говорит и твой вопрос, которым сейчас немногие задаются, к сожалению! Ты спрашиваешь, как поживает наша родина, наша тайга, в которой уместилась и наша родная деревня. Это большой вопрос, Полина. Нашей прекрасной тайги, к сожалению, уже нет. Все варварски вырубил под каток, и на том месте, где шумели действительно вековые сосны, дарившие нам и чистый воздух, и тень, и красоту, и прокорм, — теперь один чертополох. Хоть в сводках лесоустроителей эти места числятся засаженными новыми деревьями, но никто даже и не пытался их садить. Помнишь, какие чудесные заливные луга были в пойме Чулыма? Какое богатое разнотравье там было! Какие покосы! А красота-то какая! Теперь этих лугов нет, заросли кочками, мелким тальником, бурьяном. Да оно и понятно:

- 218 -

деревни, которые тут были когда-то, ликвидированы, весь скот согнали в одну кучу в Чердаты, причем процентов шестьдесят этого скота уничтожили, так как кормить-то нечем.

Правда, в последнее время, когда не стало ни молока, ни мяса, спохватились, да что теперь поделаешь? Где взять средства, чтобы вернуть все обратно?

Ах, Чулым, наш Чулым! Сколько веков кормил он людей всякой рыбой и поил чудесной водой!

А теперь, если катер идет в верховье, то обслуга берет с собой питьевую воду — вода Чулыма отравлена отходами нашего «прогресса». Вот и делай вывод: какая же рыба может жить и плодиться в этих местах?

А исчезла тайга — стала меняться и вся местность. Того места, где стоял ваш дом, теперь уже нет — все исчезло на берег. А от нашего бывшего дома до Чулыма теперь можно добросить палку. Вся улица в речку сползла. Пошел я к горе, на выезд из Каштаковки — горы уже почти совсем не было, осталась незначительная возвышенность. А ведь мы с этой горы в детстве катались на санях! Наша деревня всегда была сухая, каждая улица состояла из проходной, проезжей части посередине, а обочины с двух сторон до самых построек всегда были зелеными газонами. Теперь по улицам пройти было невозможно: кругом был зыбун, и у меня создалось впечатление, что я иду по моховому болоту.

Я вначале думал, что это Чулым веснами, в половодье, смывает нашу деревеньку. Но ведь тогда те луга, в сторону Малиновки, должны бы уменьшиться. Я побывал там — луга по площади те же. Значит, вся местность просто сползает в Чулым.

Своими наблюдениями я поделился со специалистом, другом моего детства, Игнатовым Гавриилом Ивановичем. Он сейчас преподает гидрологию в Томском университете. И он со мной согласен — в природе случаются такие явления.

Изменился и сам Чулым. Помнишь, Пана, как в наше время по нему ходил огромный пассажирский пароход под названием «Тоболяк»? Ведь он ходил с ранней весны до поздней осени, а посадку имел не менее двух метров глубины. Теперь по Чулыму ходят лишь маленькие буксирные катера с посадкой сантиметров в семьдесят, и уже в августе они бороздят своим днищем песок. Вырубили тайгу — и река обмелела. Вот так и мы разрушаем нашу прекрасную природу!

Мне даже в голову приходят такие тяжелые мысли. Осуществилась недобрая мечта жителей Малиновки стереть Каштаково с лица земли. За что? За то, что каштаковцы пришли в Сибирь лет на сто раньше малиновских и, естественно, заняли лучшие земли, пастбища, покосы. Помнишь, каштаковская земля была степная маслянисто-черная, много

- 219 -

чистых лугов. А у малиновцев земля буроватая, твердая, таежная. Не было в том нашей вины. Но я не таю зла на малиновских. Ни их, ни нас не пощадило суровое время, и их, и наши деревни исчезли с лица матушки-земли как неперспективные.

А когда я приезжаю проведать своих сестер в Томск, мне кажется, что я попал в большой грязный гараж — дышать совершенно нечем, а люди дышат — как-то живут. Однажды мне пришлось ждать автобус возле ограды кладбища, часа полтора так, и вот за это время мимо меня провезли 17 гробов! И это в таком небольшом городе, где жителей едва наберется полмиллиона! И ты, Полина, пишешь, что и ваш Братск тоже сильно загазован. Что же это мы делаем с нашей землей, сами себя губим! Хорошо, что об этом теперь стали много писать в книгах и журналах, может быть, и пойдет еще все к лучшему...

- 219 -

ПИСЬМО ШЕСТОЕ

20 марта смотрел по телевизору передачу. В.В.Блюхер рассказывал о своем отце. Что-то не верится мне, что десятилетний мальчик мог спросить у отца, верит ли тот Сталину. И я бы не придавал большого значения ответу В.К.Блюхера «да»: разве бы решился отец в то время поделиться с сыном своими сомнениями, даже если бы они у него и были. Кроме того, возникло у меня такое подозрение, что Василий Васильевич и сейчас еще верит Сталину и сожалеет о нем больше, чем об отце. Дай бог, конечно, чтобы это только мне показалось. А что касается отца, то что же он не видел, как его соратников, верных ленинцев, убивали ни за что? Что он, не знал, что ли, что Тухачевский не виновен, когда подписывал смертный приговор. Ведь он же в то время был председателем военной коллегии, которая судила Тухачевского!

Милая Пана, твои письма полны горечи при воспоминании о тех страшных временах и при мысли о том, что многие и многие люди, которых непосредственно не коснулась черная рука ГПУ, все еще верят в справедливость сталинских репрессий. И ведь таких людей у нас еще очень много. Они кричат со страниц некоторых наших журналов: кто вам дал право порочить имя Сталина? Они до сих пор уверены, что, если бы не гений Сталина, мы не победили бы в войне. И это несмотря на многочисленные публикации разоблачительных материалов в прессе!

Но мне кажется, Пана, что в большинстве этих статей и воспоминаний речь идет о том, что происходило в верхних

- 220 -

этажах, а что происходило в нижних слоях человеческого бытия, особенно в деревнях, еще никто ни сказал ни слова — ни в публицистике, ни тем более в художественном произведении. Во всяком случае, я таких не встречал.

Недавно, Пана, со мной случилось вот что. Сажу я в городской библиотеке, читаю статью «Феномен Сталина». Подсаживается рядом со мной мужчина, увидел, что я читаю, и спросил меня, верю ли я в то, что сейчас пишут о Сталине. Верю, ответил я, ведь я сам жертва репрессий, сам прошел через концлагерь и тюрьму. Незнакомец этот так странно взглянул на меня, как будто перед ним внезапно вырос снежный человек. И знаешь, что он мне сказал? «Так вот почему вы так злобствуете на те времена, — сказал он,

— потому что вас больно отстегали ремешком». Я не злобствую, ответил я ему, стараясь быть спокойным, я сожалею! Сожалею о миллионах загубленных и искалеченных человеческих жизней. И о миллионах искривленных душ и умов! Так что и неизвестно, как их теперь выпрямлять!

Человек этот промолчал, потом резко поднялся и демонстративно удалился. Видимо, нечего ему было возразить мне, не по его зубам оказался орешек. Спустя некоторое время ко мне подошла одна из сотрудниц библиотеки и сказала, что я разговаривал с редактором нашей районной газеты. Не знаю, на какую мою реакцию она рассчитывала, но я подумал про себя: да холера с ним, что он редактор, мало ли дураков у нас работает во всех сферах! Ему так, наверное, спокойнее жить: ничего не вижу, не слышу, ни во что не верю. А если бы этому редактору пришлось, как мне, все увидеть своими глазами в ранней юности, увидеть страшные

факты нашей истории — раскулачивание, коллективизацию, ОГПУ, НКВД! Разрушили, раскатали по бревнышку такую прекрасную нашу жизнь, отправили на тот свет десятки родных и знакомых, смели с лица саму нашу деревню, буквально вычеркнули двадцать лучших лет жизни! Я уверен, он думал бы сегодня так же, как я.

Пана, люди, как этот редактор, верят той клевете, той напраслине, которую возвели на всех репрессированных: враги народа: вредители, японские, немецкие, не знаю еще какие шпионы... Помню, что и в тюрьме, и в лагере нас, политических, старались тщательно отделять от уголовников, чтобы мы, не дай бог, не сделали и их «контриками», как нас тогда называли. А когда началась война, те уголовники называли нас фашистами. А ведь мы, несмотря ни на что, так же, как все советские люди, переживали трагедию войны, всей душой хотели победы, работали «для фронта, для победы». Как же горько было слышать кличку «фашист».

На этом закончу, Пана. Знаешь, мыслей у меня очень много, все сразу и не выскажешь. Вот ты советуешь мне в каждом письме написать про все, что я пережил. Но мне

- 221 -

это видимо, уже не под силу. Вот, если бы нашелся умный человек, из писателей, я бы ему порассказал и про тюрьму, и про лагерь, про людей, которых повстречал там и по ту, и по другую сторону. Хватило бы на несколько томов. А так вот только тебе, родному человеку, все высказываю, ты меня не упрекнешь за возможные несуразности, все поймешь с полуслова. И все-таки, Полина, мы дожили до наших дней, до народного суда над нашими палачами. Будем жить, и помнить всех, кто погиб в те годы, и рассказывать о них нашим потомкам.